КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1931

КНИГА
ДВЕНАДЦАТАЯ

ДЕКАБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ'ЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

ДЕКАБРЬ

№ 12



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

Отпечатано в 13-й типо-цинкографии «Мособлполиграф» Б. Дмитровка, 26, в количестве 19000 экземпляров. Ст. ф. $Б_5$ — 176 × 250. 10½ п. л. 65000 знаков п. л. Сд. в наб. 11/XI. Под. к печ. 20/I 1932 г. Выпускающий К. Санникова.
Уполномоченный главлита
№ Б — 1535.
Зак. 3278.

Три рассказа

Всеволод Иванов

1. Хранитель могилы Тимура

Глубоко погрузите ваши руки в песок! Перед вами не желтый песок московских рек, не голубовато-серый песок морских побережий, перед вами, — вспомните, — стлался песок средне-азиатских пустынь. Вспомнили вы ощущение мгновенного холодка, когда вы едва погрузили руку до кисти, холодок, который быстро переходит в сухую теплоту, а затем в онемелую неподвижность всего вашего тела? Песок течет у вас между пальцев и вы пытаетесь определить его цвет, хотя бы для того, чтобы задержать в себе мгновенное чувство отчужденности и ненависти к нему. В яркий полдень вы поднимаетесь на бархан-холм. С бархана песок совершенного тигрового цвета, а когда вы спуститесь с бархана, низко опять склоните голову, может быть даже ляжете на него, он опять вспыхнет перед вами всей своей неуловимой сущностью. Вы опускаете в него ваше зрение и все ваше внимание. Его ослепительная тревожность и сладость подобна сказке, слышанной в детстве и теперь, когда у вас подросли дети, поднятой из глубин вашего сознания для передачи им. Они открыли глаза, их ротишки полуоткрыты, они ждут...Он совсем не круглый, пытаетесь определить вы, в нем вы видите различные формы от цилиндра до шара, различные цвета от медно-брусничного до серо-суконного и, наконец, он не так многочислен: если рассортировать все его формы, то их наберется два-три десятка. Каждая из этих форм, соединившись вместе, представила б единую непреодолимую мощность, единый камень, но несмолкаемый ветер совершенства гонит их вперед. Спешите приглядеться, спешите епределить свое чувство, — ветер, угрожающе подняв широкую костлявую ладонь, увенчанную колючками, ждет за соседней горой! Таково, приблизительно, первое чувство при встрече с песком, властителем пустыни, ее волей. Но у него есть сестра: это благодетельная лессовая пыль. Он бежит людей, он озлоблен, одинок, холоден. Она всегда с нами, она отяжеляет арыки, она течет на нивы, она дает хлопок и рис, она смягчает дороги, она спорит с ветром, она овеществляет вашу тень, она делает ее грозной и высокой, она всегда одного цвета — цвета созревшего колоса.

Точность извиняет ошибки стратегии, беллетристической, конечно. Вот отчего я считаю нужным датировать вышеприведеный абзац. Он записан 5 апреля 1930 г.

Пятнадцать лет назад я вступал в Самарканд другим человеком. Во-первых, я входил босой и пеший, то и другое при горячей лессовой средне-азиатской пыли чрезвычайно неприятно; во-вторых, я искал чудес, вернее я искал, как мне научиться делать чудеса. Тогда я был факиром, то есть выступал на грошовых подмостках, показывая различные удивительные вещи. Так как учителей у меня не было, приобрести их за отсутствием средств я не могу, а даром из-за моей застенчивости и молчаливости меня никто учить не хотел, то все эти удивительные вещи я старался придумать, изобрести сам. В Средней Азии я рассчитывал найти их множество! Я прошел пешком от Семипалатинска до Верного, по

всему пути, где теперь лежит Турксиб, от Верного я прошел на Ташкент, от Ташкента на Фергану оттуда на озеро Иссык-куль и затем обратно, на Самарканд и Бухару. Пищу я себе зарабатывал тем, что в наиболее крупных городках поступал в типографию наборщиком. Жара была такая, что мы непрестанно лили в «кассы» — ящики, в которых лежат буквы,— воду, иначе буквы жгли руки. Весь этот путь я проделал совершенно напрасно, я не нашел чудес, и от жары, должно быть, сам не изобрел ни одного чуда. Могилу Тамерлана в Самарканде я тоже не видал, — по малым моим знаниям я не знал даже, кто такой Тамерлан и почему нужно смотреть его могилу, площадь Регистана мне не понравилась: слишком толкались, а туземный город был совершенно отвратительный, к тому же меня там за ногу укусила собака. Я обошел весь город, ночевал в караван-сарае за три копейки, с'ел плов за семь копеек порция, всю ночь не спал, потому что в дрянном войлоке водилось неимоверное количество блох, а туземцы, спящие вокруг меня на кошмах и коврах, так неимоверно храпели, что заглушали даже рев дерущихся ослов вокруг «хауза» — пруда, водоема, заменяющего здесь колодцы. Утром я ушел из города.

И вот пятнадцать лет спустя 5 апреля 1930 года я под'езжал к Самарканду. Я уже многое знал, я уже понял, что чудес без книг не бывает, что самые лучшие факиры выходят из Германии, где для них приготовляют прекрасную аппаратуру, и самое главное было то, что мне уже не была нужна ни аппаратура, ни факирство, ни чудеса. Я уже знал, кто такой был Тамерлан и почему мне немедленно же по приезде необходимо ехать на его могилу. У меня было с собой две пары башмаков, я ехал в международном вагоне, для того чтобы не забыть свои мысли, я имел «вечное» перо, пишущую машинку, запас бумаги, а если б моих мыслей мне б не хватило, со мною были умные, многосведущие книги, а вокруг меня не менее многосведущие сидели мои приятели. Прекрасная, животворящая средне-азиатская пыль стлалась над городом, солнце походило на медный кунган, из которого льется мутная аму-дарьинская вода. Иначе говоря, мне было тридцать пять лет.

Все извозчичьи экипажи на советском Востоке парные. Тому есть, наверное, важные причины, но я их не знаю. Из беседы с извозчиком я понял, что Самарканд больше чем могилой Тимура— «Железного хромца» — гордится новой гостиницей в три этажа и гигантским водохранилищем, которое строится возле города, в горах.

— Все туда ездят. Смотреть, — добавил возница. — Ты тоже поедешь?

— Непременно, — ответил я ему. — И я не обманул его гордости, я, точно, ездил и жил в его любимой гостинице и пил «ай, какой хороший кофе».

Древняя Азия уходит. Да ей и пора уходить, она заметно зажилась на плодоносных лессовых полях. Уходят халаты, меняясь на прорезиненные пальто московской выработки; уходят чалмы, особенно быстро зеленые — признак хаджи, паломника, побывавшего в Мекке; уходят бесстрастные «азиатские» лица, ибо бесстрастность вырабатывалась безнадежностью, а сейчас надежд сколько угодно и в любой отрасли; уходят примитивные орудия: мотыги и «омачи» — плуги. Могила Тамерлана числится за Музейным управлением, а мулла, который ежедневно совершает намаз на могиле Тамерлана, питается тем, что продает открытки. У меня с ним был любопытный разговор.

— Ты важный человек или не важный если, то просто умный? — спросил он меня, лениво рассматривая темно-зеленую нефритовую плиту Тамерлана. Во мне есть много восточной крови, поэтому я люблю (иногда!) прихвастнуть, а кроме того я сам пристал с расспросами к мулле и еще, я понимал, что мулла спрашивает не столько для совета, сколько для того, чтобы вслух разобраться в тех мыслях, которые его мучают.

— И важный и умный, — ответил я ему.

Мулла, конечно, мне не поверил, но, повинуясь своим мыслям, сказал:

— Сын у меня желает учиться и не верит ни в аллаха, ни в Магомета. Он говорит — ни того ни другого не было,.

А самое главное, они — аллах и Магомет — мне мешают учиться и быть другим человеком. Я хочу отказаться от тебя, отец, но где мне найти такого человека подешевле, который бы мне написал прошение, что я отказываюсь от отца. Может быть, ты, раз ты умный и важный, напишешь мне прошение?

— Нет. Тебе лучше итти в юридическую консультацию.

— Сколько же они возьмут за совет?

— Рубль возьмут за совет.

— Рубль можно. И напишут за этот же рубль прошение? Дешево стало судиться, очень дешево. — Мулла оживился, потянул меня за рукав. — Будет тебе смотреть. Здесь, я тебе скажу по правде, нет совсем Тимура. И камень не тот. Одни открытки остались. Пойдем со мной в консультацию.

Признаться сказать, я удивился.

— Где же Тимур?

— Тимур где? Тимур в Париже.

Я удивился еще больше.

— В каком Париже.

— В городе Париже. Есть такой город в «улькун Европа» (Большая Европа)? Есть. Так вот, когда Ак-Паша (Белый царь) Николка увидал, что у него пушки не хватает и одежи не хватает воевать, то написал Ак-Паша большое письмо в город Париж: так, мол, и так, помогайте, за помощь все что хотите отдам. А они оттуда пишут: поможем, если ты нам прах Тимура отдашь и камень нефритовый с его могилы и все знамена, которые здесь хранятся. А я тогда был главным муллой при могиле и сколько было тогда знамен, ах, если б ты видал, сколько было знамен, ты бы был еще важнее, урус! Ну вот, Николка Ак-Паша думает: что же мне пропадать из-за могилы и праха Тимура. Пишет им обратно в Париж: хорошо, отдам вам прах и камень Тимура, присылайте только побольше оружия. А видишь, есть предание такое, что кто владеет прахом Тимура, тот непобедим. А Ак-Паша Николка был неученый и глупый, он об этом предании не знал, он и отдал прах и камень, а вместо этого из Парижа прислали поддельный камень. А я в те дни сильно хворал, большим тифом хворал. Пока я хворал знамена и сняли. Встал я, смотрю, камень не тот и Ак-Паши Николки нету, а вместо него исполком, а большой город Париж всех победил.

Старик, повидимому, тифозный бред свой спутал с действительностью и воровство знамен приплел к бреду.

— Одни открытки остались.

Мимо нас в европейском платье, с портфелем быстро прошла узбечка. Взглянув на муллу, она улыбнулась и затем кивнула ему головой. Мулла важно и с почтением ей поклонился.

— Ты посмотри. Очень умная баба прошла. Зовут ее Кызымиль. Механиком служит в кинематографе, жалованье получает. Моя бывшая баба.

— Как баба?

— А так. Жена бывшая. Большой калым за нее заплатил во время нэпа. Очень ее любил, хорошие туфли покупал. Глаза стали болеть у ней, к доктору водил, очки стала носить, книжки читала, очень красивая стала ото дня в день больше. Паранджу только не любила: зачем, говорит, женщина в сетке ходит — и неудобно и глупо. Нельзя, говорит! Я ее по морде с'ездил и книжки отобрал. Ой, какая советская власть хитрая в Москве. Что там бабы сидят, что ли, мужикам столько неприятностей. Устроила праздник для баб, 8 марта, очень хитрый праздник. Бабы соберутся, про мужей сплетничают, паранджи снимают и на площади жгут. Вот моя баба Кызымиль говорит: ты на меня, мужик, не сердись, я тоже буду паранджу снимать и от тебя совсем прочь уходить, потому что ты кровью народной живешь. Как же это так, говорю, кровью народной живу, когда я за вас всех, глупых, аллаху молюсь и для вас могилу Тимура храню, чтобы вы на ней молились? А она мне: плевать мне, говорит, на твоего аллаха и на могилу Тимура плевать. Я ее опять по морде. Тогда она к дверям и от дверей к воротам. Ну, у ворот я ее удержал, но баба сильная, крепкая, я ее кормил хорошо, каждый день мясо жрала, ухватилась она рукой за столб, никак я ее оторвать не могу от столба. Кричит: пусти, все равно уйду и паранджу сниму. Очень я рассердился, я горячий, топор тут лежал неподалеку, я тот топор схватил и ее по руке — раз. Так три пальца и отскочило. Но до чего ж сердитая баба, с отрубленными пальца-

ми пошла на площадь и все-таки паранджу сожгла. Бабы сильно ругались, пришли к нашему дому, били меня по морде и хотели совсем убить, а у нас в городе отличная милиция. Очень отличная милиция, взяла она меня и совсем не била.

— Что, судили тебя?

— А как же, судили.

— И что тебе было?

— Три года в тюрьме работал. Циновки в тюрьме плел, отлично зарабатывал, лучше чем дома. Кормили хорошо. Выслать хотели в Сибирь, а затем говорят, очень стар и глуп, помрет скоро, пускай в Самарканде доживает. Оставили. Я про них ничего плохого не скажу; пустили опять к могиле Тимура молиться. А вот теперь еще сын Аматкул бунтует. Такого сына прирезать бы надо, обязательно прирезать, но ведь опять неприятности будут. Посадят в тюрьму, а может быть и парни, его тамыры» (друзья). убьют. Плюнул я на все, пускай уходит

— Что же, у тебя еще жены есть?

— Еще две было. Тоже ушли. На фабрику в Ашхабад поступили. Шелк мотают. Жалованье хорошее, говорят. Я им писал, вышлите хоть мужу. Не отвечают. Бабу совсем избаловали.

Я провел старика в консультацию. Об'яснил, в чем дело. Ему написали прошение. Старик был очень доволен. Видимо, он надеялся, что за такую сговорчивость сын ему будет помогать. Мы расстались. Юридическая консультация помещалась на площади Регистана. Вы знаете, наверное, эти гигантские скосившиеся купола мечетей; эти огромные своды; эту толпу — кричащую, звенящую — на площади, эти лавки, в которых работают кузнецы; эти чайхане с коврами и с медными кунганами; этих мшистого цвета осликов; это тигривое небо; и затем, если пройти немного переулком, перед вами станет Биби-Ханым, мечеть, которую, говорят, Тамерлан соорудил в честь любимой своей супруги. Вы помните, там на дворе есть каменный пюпитр для Корана, в его развернутые доски может лечь конь вместе с всадником, — и над всем этим реет золотая лессовая пыль. Я шел в этом грохоте умирающей, уходящей Азии, в этом крике веселом и простом, — в этой пыли, шел с величайшим наслаждением и довольством и мне думалось, что все-таки самое главное из всех чудес, которые я нашел на земле, это то, что жизнь неустанно движется вперед, неустанно украшается и неустанно совершенствуется, и чем дальше, тем быстрее и легче пойдет это совершенствование. Всадник на вороном коне — длинноногом карабаире — проскакал мимо меня. Это был узбек. В его петлице был ромб. Принцы и сам эмир бухарский в царское время не поднимались в чинах выше полковника. Проскакавший мимо меня, по прежней терминологии, назывался бы генералом. Я знаком с этим всадником. Его зовут Мустафа Юсупов. Он командует бригадой — и отлично командует! По происхождению он бывший пастух, а его дед был раб, захваченный туркменским племенем «теке» в Персии. Мустафе Юсупову двадцать восемь лет.

2. Четырехглазый

Пятнадцать лет назад я вступал в Бухару другим человеком...

Самое главное в моем бухарском прошлом — это молодость, огромная, нескончаемая, казалось. Мне теперь не жаль этой молодости, она была довольно беспокойна и суматошлива, но что в ней было прекрасно, так это наблюдательность, беспощадная наблюдательность, которой у меня сейчас нет, несмотря на записные книжки и беспрерывные упражнения. Достаточно сказать, что, приехав теперь в Бухару, 10 апреля 1930 г., я не нашел ничего лучшего, как взять, при осмотре города, огромный справочник. Жара продолжалась. Я устал. Кроме справочника на мне были громадные ботинки, пальто и размышления, вроде таких: «Что же, ты уже перестал надеяться на свои глаза, на свою способность расспросов? Что это, неверие в с в о й разум, если ты хочешь смотреть в толстую книгу?» Я присел на обрыве у развалин эмирского дворца. У подножия обрыва тарахтела электрическая станция, вдали голубовато плыли минареты, в крытых базарах торговались узбеки. Застучал барабан. Из ущербленных лун базарных лавок вышли пионеры. Рыжеволосый человек запнулся о камень, остановился, задумался. Я

окликнул его. Он поднял близорукое лицо и недоуменно смотрел. Этого человека звали Семен Кузьмин, узбеки прозвали его Терт-Козь (Четыре глаза). История его жизни чрезвычайно занимательна. Мне хочется рассказать часть этой истории, о том, как Терт-Козь помогал строить бухарский водопровод.

Дворец эмира, расположенный на высоком холме, посреди города, разрушен и сожжен восставшим народом в 1919 г. Еще и посейчас мальчишки роются в развалинах, добывая обломки посуды, железную утварь, монеты. При мне один нашел зеркальце в оловянной оправе с дворянским гербом и с робким вензелем «НБ». Так вот, против остатков этого дворца, на площади воздвигнута громадная водонапорная башня. Башня эта поставлена года два-три назад. Европейцу, наверное, покажется смешным желание поставить башню на главной площади города. Но всякий, кто знает Восток, тот поймет восторг людей, поставивших башню на главной площади, а кто был в Бухаре, кто видал эти «хаузы» — грязные пруды, из которых и посейчас еще водоноши таскают в турсуках — бараньих шкурах — воду по домам, кто видал эти миазмы и кто нюхал эту вонь от прудов, тот знает, что в ином месте башню поставить невозможно: вода для Бухары самое важное для жизни, самое дорогое.

Терт-Козь родился в Казани. Он знал слегка татарский язык, а в татарском языке есть отдаленное сходство с узбекским. Терт-Козь провел войну на западном фронте, он служил в одном из тех полков, которые Николай II послал через Владивосток во Францию. Там, попав в газовую атаку, Терт-Козь потерял зрение. Через год оно слегка восстановилось, так что если носить очень сильные очки, то Терт-Козь мог видеть кое-какие крупные движущиеся предметы. Но читать ему было нельзя. После долгих мытарств, Терт-Козь возвратился в Казань. Здесь он работал, под городом, в совхозе, заведующим конюшней. Должно прибавить, что Терт-Козь был хорошим рассказчиком и обладал прекрасной памятью. В Казани, еще до войны, Терт-Козь имел приятеля, узбека, Мурата. Приятель этот давно уже возвратился в Узбекистан, работая там по ирригации, по распределению и изысканию воды. Потеряв способность писать, Терт-Козь еще больше чем прежде полюбил печатное слово, книги и особенно переписку. Он писал, то есть вернее диктовал секретарю ячейки письма ко всем своим прежним друзьям. Многие отвечали ему и в числе этих многих ответил Мурат. Мурат был человек «конкретный», он попросту предложил Терт-Козю приехать работать к нему в Узбекистан. «А что ты подслеповат, пустяки, во-первых, у нас воздух целительный, а, во-вторых, здесь столько отсталости и душевной темноты, что зрячему жить труднее». Возможно, что последний довод был для Терт-Козя самым убедительным, потому что, несмотря на отговоры, Терт-Козь собрался в два дня.

Терт-Козь приехал в кишлак Байбиче, неподалеку от Дюшамбе, верстах в пятистах за Бухарой, в горах подле бешеной реки Вакш. Но Мурат уже не жил в кишляке Байбиче, Мурат был переведен на работу ближе к Бухаре. Нужно сказать, что деньги иссякали у Терт-Козя, тратиться ему на железную дорогу не хотелось, и так как была весна, так все цвело и благоухало, а Терт-Козь очень любил природу, то он направился просто пешком, по тропам. Итти ему вначале было легко, дорога была торная, многолюдная, его часто подсаживали на высокие узбекские арбы, он двигался медленно, не утомляясь, и быстро стал осваиваться с языком. На его беду, у одного дехканина, который его вез, сломалось колесо, арба упала, вывалив седоков. Терт-Козь уронил и сломал очки. Запасных у него не было, он опять ослеп. Дехканин довез его до ближайшего чайхане, помог слезть и сказал: «Мне обратно». Терт-Козь вошел в чайхане, попросил чаю. День был праздничный, чайхане было набито битком. Чайханщик по профессии своей должен интересоваться жизнью своих клиентов, поэтому чайханщик с отменной вежливостью спросил:

— Чем ты промышляешь, путник?

— Рассказами, — ответил Терт-Козь.

— Э, сказки нам надоели, путник. Притом самая удивительная сказка произошла на наших глазах: эмир многие

годы бедствует в Афганистане, а нам без него куда легче. Во всех сказках эмиры мудры, а этот полный дурак: ему давно сдохнуть пора, а он этого не понимает.

— Моя сказка о моей жизни.

— И лжецов мы давно умеем распутывать.

— Так попробуй распутать меня!

— Расскажи свой клубок.

— Знаешь ли ты такого Мурата, работника по ирригации?

— Нет. Чем же он знаменит, что я должен знать его?

— Он знаменит тем, что я, слепой, найду его так же, как если бы был зрячим.

Чайханщик захохотал. Смеялся он — все из отменной вежливости своей заразительнейше.

Вокруг Терт-Козя собрались дехкане.

Раньше при эмире в Бухаре не было регулярной армии. Русское правительство разрешало эмиру держать две сотни бухарских казаков и батальон пехоты, причем для упражнений всему этому воинству выдавалось по о д н о м у патрону на человека в год. В 1912 году, по свидетельству полковника Лагофета, человека в средне-азиатских делах очень авторитетного, царское правительство подарило эмиру горную батарею. Но снарядов было отпущено тоже по одному на орудие. Естественно, что во время гражданской войны бухарцы порезвились и постреляли вволю. А так как биваков было много, много и бесед и рассказов, то и сказки все скоро иссякли, поблекли и надоели. А узбеки очень любят сказки. Вот чем, — отчасти конечно, — можно об'яснить недоверчивость чайханщика к словам Терт-Козя.

— Знаете ли вы, какие страны лежат за Москвой?

— Знаем, — ответил один из дехкан, самый опытный, уже побывавший в Ташкенте и Баку: — Там лежит Герман-страна, там лежит Француз-страна, там лежит много стран и все они нас хотят слопать. Мы все знаем!

— Вот и прекрасно, что вы все знаете. Слушайте, какую я видел войну, узнайте, как нас хотят слопать, от одного, которого лопали; узнайте, какие там поля, какие кишлаки, какие колодцы и как я там воевал...

Терт-Козь начал рассказывать. Собственно имя Терт-Козь пошло за Кузьминым с того вечера, он по привычке доставал сломанные очки и все накрывал ими свою переносицу. Вначале дехкане посмеивались: «вот, дескать, повезло, шутник забрел в чайхане, есть о ком бабам рассказать дома», а так как в рассказе Терт-Козя не было ни чудесных ковров, ни золотых птиц ростом выше верблюда, ни царских дочерей, влюбляющихся в бедных пастухов, ни хитрых визирей, а было только неустанное мученье тысячи тысяч людей, которых оторвали от родного крова, кинули в чужую и злобную страну и заставили убивать неизвестных мужиков, гнать пожар по их пашням, взрывать их хаты и резать скот, были чудовищные машины, истребляющие людей, была полная и беспросветная несправедливость, то дехкане, глядя на это истерзанное, с л е п о е лицо, сами начали испытывать страдание. Терт-Козь, начиная свой рассказ, думал, что люди послушают его, выскажут одобрение, а затем кто-нибудь из знающих Мурата об'яснит точно, где же этот Мурат находится. В чайхане было тихо, слышно было, как плескался чай в пиале (чашке) рассказчика, когда он окончил свой рассказ.

— Разошлись что ли? — спросил Терт-Козь.

— Сидят, — ответил чайханщик. — Все рассказал?

— Не все, но главное.

Толпа мгновенно вскочила на ноги. Кто-то крикнул:

— Остальное по дороге расскажешь, давай винтовки.

— Какие винтовки?

— Такие винтовки. Бить будем, — которые войну такую придумали. Этих самых главных, о которых рассказывал. Зачем нам арыки проводить, хлопок сеять, если прилетит машина и всех убьет? Давай нам винтовки! Зачем тебе иначе приезжать?

Терт-Козь уверял меня позже, что он струсил. Терт-Козь любил несколько приукрашивать свои рассказы, но в общем он был человек искренний и простой. Если он говорил, что струсил, — я верю ему. Нужно сказать, что дехканство во время гражданской войны пере-

несло невероятные муки: эмирские нукеры, белогвардейцы и просто бандиты платили за свои боевые неудачи полной монетой беззащитному населению, и теперь, когда Терт-Козь пришел и стал рассказывать неумело, на чужом, еще не вполне освоенном, языке про империалистическую войну, не предупредив, что рассказывает о прошлом, то дехкане подумали, что война еще продолжается, что пришел раненый с войны, что война скоро подойдет к Бухаре и кто-то скрывает от них эту войну, а раненый проговорился. Дехкане кричали друг на друга, кто-то кого-то упрекал в трусости, кто-то отказался итти, а кому-то непременно было нужно две винтовки, он был, видите ли, столь ловкий и смелый, что желал стрелять из обеих рук! Терт-Козя тормошили, перетаскивали из угла в угол и он окончательно потерял оправу своих очков.

— Дайте мне сказать, — попробовал кричать он.

Чайханщик оказался самым красноречивым и самым воинственным, все из вежливости. Он хотел итти впереди всех. На просьбу Терт-Козя он ответил:

— Но ты же сказал самое главное, теперь и нам дай сказать. Мы тебе об'ясним, почему мы желаем воевать.

Терт-Козь признался мне, что самой блестящей мыслью во всю его жизнь была та, когда он вздумал попросить чаю, покрепче, у чайханщика. Чайханщик заторопился, а Терт-Козь успел проговорить:

— Я вам сказал, верно, главное. Ну бейте меня по уху, если то, что я вам скажу дальше, менее интересно, чем сказанное мной прежде.

Когда дехкане узнали, что войны еще нет и что Терт-Козь был ранен давно, то мгновенно Терт-Козь был признан самым замечательным рассказчиком. Мгновенно все решили, что самое любопытное он не высказал, и что теперь пойдет истинный рассказ о его любви и о его женитьбе на иностранной девушке. Терт-Козь об'яснял мне это желание дехкан просто жаждой послушать более легкое и более веселое: освободиться, так сказать, от своего воинственного и, главное, смешного теперь желания воевать. Они очень горды эти дехкане подле Дюшамбе!

— Ну и что же, вы им рассказали о своей любви? — спросил я Терт-Козя.

— Но у меня не было никакой любви на западном фронте, так же как и на восточном. Меня женщины вообще мало любили, вернее совсем не любили. Я угрюмый.

— Однако вы им рассказали?

— Рассказал, — стыдливо сказал Терт-Козь: — пришлось употребить один из вариантов сказки. Без выдумки не обошлось. Я им рассказал давно известную сказку о том, как царская дочь влюбилась в бедного пастуха... этим пастухом был я, извините... Они и не заметили, что я им рассказываю давно известное. Правда, я приставил несчастный конец: бедная принцесса утопилась во время свадьбы, она гуляла со своим женихом по саду, переходила ажурный мостик и свалилась и так как была вся увешана тяжелыми драгоценностями, то немедленно пошла ко дну. А царь меня сразу же выгнал. Сказка им очень понравилась.

— И вас повезли от кишлака к кишлаку, Терт-Козь?

— Не совсем так. Меня привезли сначала в соседний кишлак и познакомили с кассиршей из кооператива Айгузой Нуранбековой. Она считалась страшно передовой и ученой женщиной, а важнее этого — недоступной. Мои друзья и, особенно, чайханщик решили, что если я покорил принцессу, то Айгуза Нуранбекова не устоит. А в общем им всем хотелось попировать на свадьбе. Я полтора недели жил и рассказывал в кишлаке Учум-Кале о западном фронте... и прочем. Днем, в свободное время, конечно, Айгуза читала мне любопытнейшие книжки.

— И вы женились на ней, Терт-Козь?

— Женился, — стыдливо сказал Терт-Козь: — женился, а затем мы вместе поехали искать друга моего Мурата. Собственно, не искать, а просто поехали к нему.

— Так вы точно уже узнали, где он живет?

— Точно, — опять застыдился он: — Здесь, видите ли, самое странное в этой истории — Мурат, собственно, долго

ухаживала за Айгузой, а она раздумывала: итти за него или нет. И книжки-то, которые лежали у ней, принадлежали Мурату. Вначале, когда он узнал, что Айгуза вышла за меня, он, признаться сказать, дал мне по уху, но затем раздумал и согласился, что сам виноват, не дождался моего приезда.

— Вы с ним рассорились, Терт-Козь?

— Нет, зачем же. Мы с ним еще больше подружились. Он вскоре тоже нашел себе невесту и мы все пировали у него на свадьбе. А когда я нашел подходящие стекла к моим очкам, то я поступил в Ирригационное управление и помогал ему проводить воду в Бухару. Меня по кишлакам любят и мне легче было организовывать разные земляные окопы. Мне на воде легче работать, я ее больше вижу, она больше движется, чем, скажем к примеру, кони в конюшне, возле Казани, знаете...

— Знаю.

Вот он каков кусочек огромной истории о Терт-Козе и его друге Мурате, истории, которая еще ждет своего описателя. Мурат, показывавший мне сооружения бухарского водопровода, когда я его спросил о Терт-Козе, сказал восторженно:

— Ох, какой это человек. Какой это дальновидный человек, вы только присмотритесь к нему, ялдаш, и вы сами ухнете как обвал!

„3. Логик"

Я познакомился с ним на вокзале. Я люблю бродить с ним по Москве, слушать его длинные речи, после длинной прогулки наблюдать усталость на его лице: сон, наверное, приходит к нему мгновенно.

Существует легко об'яснимая прелесть вокзалов. Прекрасны, бесспорно, улицы с льющейся толпой, но лицо улицы всегда обыденно, трудно уловимо, а потому мало понятно. На вокзале же эта обыденность слетает, даже дачное лицо приобретает некоторую возвышенность. Один мой приятель, долгий «странствователь по суше и морям», приглядываясь к вокзальной суматохе многие годы, всегда поражал меня своей проницательностью. Он, иногда, подводил меня к пассажирке, ревниво стерегущей свои узлы и чемоданы, и спрашивал: «У нас спор. Разрешите его нам. Вы уезжаете к отцу, так как вы расстались с мужем?» Или: «У вас умерла мать. Вас выселили. Вас перекинули на периферию?» Нередко, женщины особенно, отказывались ему отвечать, бранили его, но чаще всего ему сочувственно улыбались, искали в нем знакомое лицо (иначе бы его проницательность устрашала) и говорили: «Да, вы правы». Это мой приятель научил меня открывать многое в простых людях вокзалов. Вот идет старик, пенсионер, старомодный кожаный чемоданчик в его руках; он едет навестить сына, далеко, чуть ли не в Уссурийский край (про который все знают только, что там водятся тигры). Он весь переполнен предназначенной встречей и будущие задушевные разговоры уже молнией пересекают его лицо. Вот группа девушек, студенток, ищет свой поезд. Они приезжали на экскурсию. Они трещат о музеях, о театрах, о высоких сводах универмагов, о памятниках, о Минине и Пожарском, которых громадный кран тащил за шиворот с центра Красной площади и которые трясущейся рукой все же хотели показать на Кремль, несвязно бормоча: «здесь наше прошлое». А навстречу всему этому вливается новая толпа, оттуда, из провинции, вернее, из таких же столиц как и Москва, но несколько поменьше. У этой толпы широко распахнуты глаза, только одни глаза с пыльными дорожными ресницами. А над всеми ими, сквозь тусклые верхние светы — совсем жестяные — видно особое, непередаваемое небо вокзалов. Поезда непрестанно разрывают его, и оно непрестанно смыкается. Поезда разносят отцветы этого неба во все концы нашего Союза с покорностью, присущей только поездам.

Однажды, размышляя подобным образом у «камеры хранения вещей», я приметил «ушатого» человека. Он был одет в темное, еще не заношенное сукно, необычайно плотно застегнутое у подбородка, и хотя была ранняя осень, но голову его прикрывала ушатая шапка с длинными тесемочками. Шапка эта резко оттеняла бледные и узкие, наполненные какой-то деловой настороженностью

ши. Он простер ко мне эти уши, в профиль лицо его показалось мне необычайно добрым, — и он спросил писклявым голосом: «Вы торопитесь?» — он уступил мне свою очередь, явление, само по себе настолько замечательное, что с таким оригиналом непременно стоило разговориться. Мы вышли с ним рядом. Он глубоко надвинул шапку, я даже подумал, что он опустит наушники, но он, поняв мой взгляд, ухмыльнулся:

— Вы правы, мне привокзальный шум трудно выносить. Суматоха, знаете. А в вокзалах есть своя точность и ясность. Свернемте в переулочек.

Мы свернули. Он взялся проводить меня до дому.

— Вы многосемейны?

— Это вы насчет привокзальности. Нет, дети мои уже в поезде. Они со мной не живут.

Квартиры нет? Или жена другая?

— И квартиры нет и не будет. И жены нет и не будет. Я логик.

— Логик.

— Да. Логик, то есть плохой семьянин. — Голос его построжал. Ему стало легче говорить, так как он видимо повторял это уже много раз: — Я плохой семьянин и в силу того, что занят невероятно, и в силу того, что считаю, при всем несовершенстве наших детских домов, они все же детей воспитывают лучше, чем девять десятых теперешних отцов и матерей.

— А раньше разве лучше воспитывали?

— Вы меня плохо усваиваете. Раньше они воспитывали еще хуже...

— Сколько вам лет?

— Вы угадали, — неторопливо ответил мне мой «ушатый», — вы угадали. Молодость моя ушла давно и я часто спрашиваю себя: сколько же тебе лет, Егор Матвеич. Ибо то, что ты проделываешь, не есть ли поиски молодости. Я думаю нет. Она найдена эта молодость. Она постоянно со мной. Видите ли, у нас с вами разговор в длинном переулке... поэтому я вам кое-что расскажу. Я был взят в царскую армию молодым и здоровым. В течение трех лет бесполезной и беспощадной бойни я потерял многое. И друзей и родных. Я видел издевательства и мучения. Я, видите ли, из так называемого Привислинского края. Я понял, что так жить невозможно... да, да, совершенно невозможно! Это убеждение не продлило моей молодости, а скомкало ее окончательно, и, борясь против войны, я все же заставил себя продолжать ее, в ином виде, вы понимаете, — еще три года октябрьских боев, пока я не выбрался на большие просторы и не мог вздохнуть. Вы понимаете, когда человек выходит и вдруг узнает, — ему казалось, что молодость зря утрачена, а оказывается нет, не зря, она при тебе и ты с ней. Вы понимаете? Отлично, назначают меня в Москву. Мне дали комнату. Навернулась жена, дети. Год, два и я начинаю понимать, что ненавижу, понимаете, полностью ненавижу отдельную комнату. Жена моя назвала меня «логиком», то есть человеком, который до конца продолжает свои мысли, пришедшие к нему в царском окопе. Назвала так, успокоилась и — ушла к другому. Она и по сие время относится ко мне хорошо, но «жить с тобой не стоит возможности». И для нее и для окружающих меня стало ясно, что мне незачем иметь комнату, комод, письменный стол, в который бы прятались бумаги, пресс-папье и примус. Мне скучно все это видеть. Я понял, что общежитие, кабинет или даже комнатешка в учреждении для моей работы мне милее и ближе. Я переселился в общежитие. Странно, не правда ли?

— Почему странно?

— Да нет, странно. Разве вы встречали таких людей?

— Конечно, встречал.

— Я рад. Я тоже встречал, но мало. В общежитиях передо мной проходили люди. Я знакомился, разговаривал, пил пиво, читал с ними книги, бранился насколько я умею. Хотите, я вам дам рукопись.

— О чем?

— Я там изложил многое. Я там говорю, что жизнь уже переделывается, но мы плохо видим эту переделку. Общежития скоро раздавит квартиру, комнату отдельного человека. Вы не подумайте, что я проповедую, что квартиры исчезнут и что всех будем стричь под одну гребенку. Я понимаю жизнь во всем ее разнообразии и при самом полном ком-

мунизме вряд ли не будет квартир, но в квартирах будут жить чудаки, странные люди, одиночки, настолько, насколько чудны такие вроде меня сейчас. Вы обратили внимание на то, как так называемая художественная литература (как будто существует какая-то нехудожественная) замалчивает общежития, а если и пишет, то пишет глупости. Все оттого, что пишут люди, сидящие и любящие кабинеты. Книгу необходимо написать в общежитии. Я ее называю «Камера хранения». Я в ней говорю, что нет ничего легче как сдать ваши вещи на хранение — и успокоиться. Перевести свою жизнь, жизнь вещей, в два чемодана, в которых лежат ваши книги, которые вам сейчас трудно достать, скажем в провинции, лишние штаны, табак, какое-то особое ваше белье, запасную трубку. И вы свободны, вы легки...

— Художественная литература, грубо говоря, отличается от нехудожественной тем, что помимо общественных вопросов она разрабатывает вопросы чувств, биологию... И так же грубо говоря, вдруг вам необходимо встретиться с любимым человеком наедине? Что говорит об этом ваша книга?

— Здесь неустанно встречается моя молодость, — сказал он, замолчав мой вопрос, со свойственной ему, видимо, добротой простив мою грубость, которая, как казалось ему, стояла на грани того понимания быта общежитий, о котором он говорил, когда коснулся «художественной» литературы. — Мне тридцать девять лет. Если я заболею, меня положат в больницу, и так как для полноты ощущения переделки мира мне необходимо постоянно соприкасаться с людьми, постоянно питать свою жадность, то и здесь я не буду одинок. Многие люди, замкнутые в своих комнатах, склонны думать, что люди однообразны, что их можно классифицировать хотя бы по темпераментам. Какие пустяки! Недаром, все классификации произведены врачами или людьми, близко стоящими к медицине, то есть над больным человеком. Это и понятно. Здоровый человек разбивается на два основных класса: угнетатели и угнетенные. На этом точка. Но классификация характеров, чувств, отражение их в мире, — что бесконечно и это не устанешь наблюдать и этому никогда не научишься. Для меня, к счастью, выяснилось, что я не обладаю писательским даром и поэтому не обязан контрастировать, то есть прибегать к врачебным классификациям характеров, к работе на уже заданные темы. Почему на заданные? «Художественная литература» — это работа с огромным количеством уже приготовленных методов, которых избежать невозможно, иначе она станет непонятной. Методы уже включают в себя факты. Возьмите отрасль современной художественной литературы: историю. Проследите работы историков! Вспомните, как вначале, много веков назад, историки только описывали героев, как затем эти герои утопают в массе народа настолько, что вы, читая позднейшие книги, должны знать и первоначальные, иначе события для вас будут непонятны. Теперь посмотрите, с каким трудом современные историки вынуждены искать иные, настоящие пружины, двигавшие массы. Историки молчат, они собирают материалы, а художественная литература говорит, не отрицая методов прошлого, и оттого она ложна. Писатели еще не умеют показывать причин, так как для понимания причин у них нет ни наблюдений, ни ума. Их современная работа не приспособлена для кабинета, современная работа должна вытекать из общежития. Я вам просто принесу свой дневник для того, чтобы вы могли подумать...

Он точно принес мне свою рукопись. Это была очень сложная книга, об'емистая и путаная. Мне трудно было ее читать вначале, но затем я увлекся. Гигантский говор общежитий захватил меня. В ней было много необычайного, веселого и страшного. Он не скрывал ничего. Он говорил и про любовь, и про работу, и прошлое. Он рассказывал проделки и вытекающие отсюда страдания. Он часто извинялся, так как невольно он все же классифицировал людей. Но главное, он был музыкант. Он чутко и разнообразно улавливал звуки: Москва у него звучала по-иному чем Самарканд и Самарканд по-иному чем Тула. Я видел на страницах его бледные и внимательные уши, его наклоненное лицо и короткие пальцы, помахивающие в такт

словам странствователя по общежитиям. Он злобно издевался над норкой, в которую прячется зверек, таская зимние припасы. И норка уже не нужна и припасы уже надо тащить в другую сторону, потому что почва глинистая и ураганы скоро размоют ее.

При чтении этой книги мне вспомнилась самая странная пара «норковых», которую я когда-либо знал в своей жизни. Это были два старичка, ничем особым не отличаемые от других старичков, разве что один старичок походил на плохо написанную цифру 6, а старушка на 9. Обоим им было за шестьдесят, они доживали свои дни в комнатушке на Трубной. Район этот несколько лет назад совсем не славился своим спокойствием, старички поэтому по вечерам предпочитали не выходить, они раскладывали пасьянс, пили чай. Существовали они на средства, которые им давали дети, а отчасти и на то, что старичок вырезал из дуба набалдачники для тростей в виде полногрудой девушки с распущенными волосами, а старушка плела из волоса цепочки для часов. И вот однажды, когда старушка ушла по каким-то делам, старичок рылся в вещах и наткнулся на пачку писем, перевязанных выцветшей лентой. Мимо окон шла музыка: не то хоронили кого-то, не то радовались приезду. Марш явно военный. Старичок подумал о войне. И он сражался когда-то и получал отличия и писал о войне домой, молодой жене. Ему захотелось перечитать письма: действительно ли он был отважен на той войне, сорок или тридцать лет назад. Он, умиленно думая о своей бережливой старушке, развязал пачку. Старичок раскрыл первое письмо и тускло охнул. И чем дальше, тем яснее и отвратительнее ему было понимать, что сорок или тридцать лет назад старушка изменяла ему! И мало того, сорок или тридцать лет берегла свою измену, перевязанную голубой лентой. Он встретил ее бранью. Она оправдывалась. Он не понимал ее: как, он воевал, а она путалась с какими-то штатскими! И старик, несмотря на все протесты детей, взбушевал и потребовал развода. Они развелись. Но уезжать из комнаты ни ему, ни ей некуда. И перегородку им воздвигнуть было и не на что и невозможно по техническим условиям. Они решили разгородить комнату, проведя в ней черту — мелом. Управдом любезно провел им эту черту. Но тут возник другой вопрос. Необходимо комнату мести. Каждый из разведенных мел свою половину, но мел так, чтобы не перешагнуть через меловую черту, оставляя на вершок или полтора пыль и грязь подле черты. На черту постепенно наседала пыль, прилипала грязь, окурки, селедочные кости, картофельная шелуха, а затем щепки и, наконец, спичечные коробки, скорлупки от яиц. Черта возвышалась и росла. К концу месяца она уже четко реализовала себя, а к концу полугодья это было нечто осязательное и обонятельное и под чертой с большим удовольствием гнездились крысы. Черта начала издавать резкий и неприятный запах, напомнивший соседям, что старички довольно неприятные и сварливые люди. Соседи, как и всякие соседи, скучали по сплетням. Вопрос о старичках глубоко взволновал всех: на самом деле, кто же должен уносить сор и мусор? Кто должен изгонять крыс, проложивших в ней свои ходы? Крысы уже устремились на кухню и здесь одна, обозленная на плохой прием, укусила соседку за икру. Соседи подали в суд. Я присутствовал на этом суде. Судья, человек лишенный юмора, усталый от квартирных склок и дрязг, ежедневно заливавших его, присудил старичков, — за антисанитарию, — к пятирублевому штрафу. Но дело на этом не закончилось. Старички убрали черту, но она опять быстро выросла, и они, сидя на табуретах, каждый по свою сторону траншеи, уже не зевали, уже не вырезали набалдачников и не плели цепочек, а неустанно бранились, припоминая обиды прошлого столетия. Жизнь их пресеклась значительно быстрее, чем можно было ожидать. Когда траншеи в их комнате были срыты новыми жильцами — студентами, то пол под мусором и грязью оказался прогнившим до наката. Втесали новые плахи и началась иная жизнь.

Мы с «ушатым» шли по Трубной. Я рассказал ему о старичках. Он рассмеялся. Он понял мой рассказ по-своему и, наверное, правильно понял:

— Пройдемте по Тверской на Пресню,

а оттуда на Красную площадь... дорога длинная, но мне может быть удастся выговорить из вас неправильное понимание моего дневника. Вы беллетрист и быт общежитий вы поняли как новую усложненную беллетристическую схему. А я, попросту, видимо, старый холостяк, который в дневнике все свои мысли приписал всем своим встречным. Вы поняли, что я предлагаю превратить все квартиры в общежития, то есть из пяти комнат сделать одну и расставить всюду кровати. Вы предлагаете напечатать мою книгу? Я не буду ее печатать, ее необходимо переписать, переделать, как и всю Москву.

Я начал его уговаривать.

— Мне нравится жить вместе, но это совсем не значит, что я хочу всем приказать немедленно выбираться из отдельных комнат. Тогда и в больнице должны быть упразднены отдельные палаты. Чепуха! Таких книг нельзя печатать. Будущее, говорите вы? Будущее... Приятно было б думать, что книга моя это спор будущего, но это такой же спор, какой ведут сейчас московские улицы. Вглядитесь сюда! По следам ее прежних стен, былого Белого города, где теперь Тверские бульвары и теребится кольцо «А», или по следам Зеленого города, где теперь кольцо Садовой улицы (разрешите вам напомнить, что стены эти срыты в конце XVII века, к великому протесту тогдашних главмузейщиков), — то вы явственно поймете, вглядевшись, что Москва имеет форму расплывчивого калача. Из центра этого калача шли дороги: в Смоленск, Тверь, Орду... По краям этих дорог лежали шесть фортов, военные боевые монастыри, там где лежат теперь фабрики и заводы. Дороги эти превратились в улицы. Улицы эти очень отличны друг от друга. Они как беллетристы со своими книгами. Вот это коммерческие тома, здесь жизнь мещан и домовладельцев, вот это купеческие книги, а вот громадные барские усадьбы с садами и церквами. Здесь Тургенев, Толстой со своими фолиантами, а возле церквей стоит Константин Леонтьев. О, эти церкви! Они напоминают колокол мне, из-под коего выкачивается и воздух и свет. Они так или иначе варьируют эту форму колокола, но сущность, духовна сущность их, всегда едина. Они высасы вали разум. Они превращали человека в послушного слугу особняков. И во теперь этот расползшийся калач, эт жирная петля на шее угнетенных, разор ван, разрублен, уничтожается. Перед нам в последние месяцы с необычайной си лой развернулась мощь нового мира, ег потрясающее единство и воля! Моски становится и станет твердыми ногами другой быт, в другое устройство свое жизни. Почти молниеносно, запыленная заваленная булыжником, с узкими тро туарами, с облезшими домами, — Мо сква перешла в другой план, и улицы с открыли свои архитектурные сокровищ и свои возможности. Возможности эт заключаются в том, что громадное ко личество улиц будет перестроено и уж перестраивается, а еще более громад ное — переулочное и окраинное — бу дет застроено заново!

Мы спускаемся с приятелем по Твер ской.

— Где Охотный ряд, это прибежищ об'едал и лакомок? Где лавочки с гру дочками и маринадами, где «на дутых лихачи с непередаваемыми шеями, г белая церквушка Параскевьи-пятниц прославленная искусно подобранны колоколами? Перед нами широкая бл стящая асфальтовая улица, залитая св том. Идет громадная толпа. В силу ос бенностей нашего климата почти в одеты в черное. Они медленно и споко но возвращаются с работы. Мы работа много, мы устаем. Против нас ощери весь капиталистический Запад и Вост свое спокойствие мы можем заработа только трудом, — только труд созд силу!

Мы направляемся к Пресне.

— Здесь рабочий центр и здесь прошлое и настоящее можно сравнить потрясающей силой. Отсюда можно в деть, как Москва наполняется театра для рабочих, клубами, механизиров ными кухнями, здесь вы еще увидите р бочие дома дореволюционного пер да — спешите их осмотреть, они ско исчезнут. Здесь бывший особняк Про ровых — знаменитых мануфакту стов — окружают дома спальни-ка мы, тесные, грязные, с длинными ко

дорами: дом-тюрьма, дом-кладбище, дом-каторга. И рядом стоит только что отстроенное здание театра на 1400 зрителей. Это пятилетка показывает себя и она покажет еще больше. Она перевернет всю страну, проложит асфальтовые дороги от Кремля до Владивостока, обогнет Ледовитый океан железной дорогой, — мы с легкостью сможем совершать экскурсии к Обской губе, в становище остяков и самоедов, мы увидим северное сияние!..

Но ваша книга...

— И самое главное, — прервал меня «ушатый», — исчезнет теснота и в мыслях и в домах. Человек должен жить открыто, крупно, широко сообщая всем свои мысли, должен быть весел, говорлив и опрятен. Конечно, противодействия и чепухи, вредной и низкой, много, но не зря же существуют «герои труда» и не зря же всякое дело, свежее и отважное, даже само желает противодействия, так как человек не любит и не уважает все легко дающееся, все легко доступное. Какой-то писатель сказал: «спокойные народы не имеют истории», исходя из этого нужно думать, что наша страна будет самой богатой нивой для работ историков. Вглядитесь в эти новые дома, в эту другую Москву! Так же как форма минарета пошла от кипариса, а вспышка египетской колонны от пальмы, так новая архитектура идет от машин. Вглядитесь в эти новые дома, говорю я вам. Разве это не отблеск воли Кремля, разве это не тени ротаций, бумагоделательных машин, домен... машина человеком притиснута вплотную к его сердцу, и кузов автомобиля разве не отразился в форме новых домов и разве балкон, который был такой редкостью в прежних московских строениях, разве он не выкинут в простор улицы, как стекло перед лицом шофера, как подножка, через которую пролетариат вступает в иное существование. Что книга! Вы неправильно поняли мою книгу, дорогой.

Мы вышли на Красную площадь. Была уже ночь. Цилиндрические очи прожекторов сияли, опрокидывались, скользили по седой брусчатке площади. Мавзолей казался покрытым малиновым бархатом, елки за ним как воткнутые стрелы, а кремлевская стена как воротник тулупа часового, — и кремлевские башни как штыки.

— Уже банальным становится утверждение, что жизнь сейчас перегоняет сказку, но всегда это утверждение хочется повторить, хотя бы потому, что мы сейчас не читаем сказок! Как быстро проносится старый быт, быт, наполненный булыжниками, грязными переулками, невзрачными домишками. Мы еще совсем молоды, но у нас такое чувство, как будто века промелькнули перед нами. Давно ли на Красной площади стоял деревянный мавзолей с прахом величайшего из величайших? И вот теперь перед вами гранит, а булыжные камни мостовой разбежались в переулки, откуда им тоже скоро придется убежать. Каменные трибуны вкруг гранитной могилы, как крылья, и гул этих крыльев несется над всем миром. Красная площадь летит! Ее металлический полет сотрясает весь мир, миллионы угнетенных смотрят в небо. Северные крылья становятся их родиной. Посмотрите, сколько людей с разными говорами проходят ежедневно через Красную площадь и на каждом лице вы увидите отражение этих крыл...

Я приглядывался к «ушатому». Он был весел и доволен. Он тянул меня дальше. Он уже забыл о своей книге. Через неделю его направили на Северный Кавказ. Он зашел ко мне проститься. Я напомнил ему о его книге. Она пухло возвышалась на моем столе. Он ухмыльнулся.

— Пускай полежит, к тому же у вас кабинет, места много... а под старость любопытно наверное будет просмотреть свои прежние мысли. И вам и мне. Мало ли мы совершили стратегических неточностей... в беллетристике, конечно.

Белый камень

М. Чумандрин

...Приехали гости на больших санях,
Стукнули топоры по зимней березе.
Улетели птицы, боясь чужих...

Средне-карельская Гойга

I

Вагон третьего класса. Немного освещены только верхние полки, где сидят и лежат люди. Изредка из темноты вынырнет чья-либо голова и скроется опять. В проходе стоит человек. Он высок, молчалив, худ.

В вагоне идет неторопливый разговор.

Первый *(поднимается на полке, не открывая глаз, опирается на локоть)*. То есть невозможно тебе рассказать, поскольку там выгоняют... Бож-же-ж ты мой!.. То есть, нет сил рассказать, провались ты...

Голос из темноты. А конкретно?

Первый *(засыпая опять)*. Придешь — увидишь.

Сразу разгорается оживленный спор

Голоса. Факт. По семнадцать, по двадцать рублей в день. Да вот, вот мой лично свояк, — в чем дело? Ну, а где он теперь? Вот и еду к нему! Ну и поезжай... Вот и еду!

Голос из темноты *(покрывая все остальные)*. Чего разорались? Если не врет, — значит правда.

Первый *(опять привставая и опять не раскрывая глаз)*. А дальше?

Голос из темноты. Ты знай свое дело дрыхнуть. Будешь расстраиваться — молоко испортишь.

Сразу тишина. Кто-то фальшиво насвистывает „Тореадор“. Из темноты поспешно возникают опять голоса.

Один *(тонкий, почти мальчишеский)*. Да мне бы чего... Мне двадцать не надо, мне бы и червонца хватило.

Другой *(уверенно)*. Ну и дура...

Мальч. голос *(не слушая)*. Ей-богу, по восемнадцать часов соглашусь горбатиться.

Стоящий в проходе *(вдруг поворачивается)*. А ты знаешь, что это значит — «восемнадцать»? Деревня-матушка.

Сразу шум.

Голоса. Откуда такой дворянин взялся? Фабрикант — лыковые полсапожки... И сколько этого хитрованца развелось. Ты смотри, голубушка моя, деревня-то — она всех кормит.

Стоящий в проходе *(насмешливо)*. Так-так... Ну еще на копейку...

Исчезает в темноте, начинает шуршать бумагой.

Мальч. голос. Очень уже здесь ночь удивительная. Смотришь, — ни единой звездинки. Так что ночь фактически и считать не станешь: полчаса и того нету. Как вы думаете, — отчего? Видали, светает. О, господи-господи...

Первый *(опять не открывая глаз)*. Полночь? С минуты на минуту — солнце засветит, такой порядок.

Мальч. голос. О? И то...

Опять несколько мгновений тишины. Потом стоящий в проходе неожиданно запевает:

Зачем ты машешь мне платочком,
Зачем зовешь к себе на двор?
Тебе известно, что за глухой оградой
Идет полуденный дозор.
Меня увидят часовые,
Вскричат мне раз, вскричат мне два.
Взведут курки они свои стальные,
И вот убьют они меня.
Так не ходи ты по коридору
И не стучи подборами!
Катись ты . . . . . .
С такими разговорами!

В конце песни первый садится на полке, свешивает ноги и смотрит в окно. По окончании песни, требовательно.

Первый. Откуда ты ее взял такую?
Стоящий в проходе (*молчит*).
Первый. Не слышишь или нарочно?
Стоящий в проходе. Нарочно.
Первый (*ложится опять*).

В вагоне почти светло. В окно видно зеленое небо. Изредка ревет паровоз. Ветром доносятся далекие звуки гармошки.

Мальч. голос. Мне много не надо, у меня дома все работают. В колхоз меня весною взяли, — а провались ты! Мы все плотники, что был дед, что отец, что дядья. Да что, допустим, бабы, — у меня, допустим, и то плотничают...

Первый. Да, коготок-то в тебе востер.

Мальч. голос (*восторженно*). Как разговор: — Чьи бабы? Плотниковы... Ей-богу, хотя фамилие мое — другое. Плотниковы и плотниковы.

Первый. Подумать только, как врет человек...

Мальч. голос (*радостно*). Никак нет, не обучен этому. У меня сейчас две избы, одну-то — девять на четырнадцать — матка с женой собственнолично ставили, ну, конечно, я другой раз топором стукну, а то — сами... С какой радости врать? У кого хочешь спросите...

Первый. А какое мое дело?..

Стоящий в проходе (*насмешливо*). Значит, хозяйство у тебя — догнал и перегнал?

Мальч. голос. Жизнь у меня — она у меня была очень, все-таки, ублаготворительная, я лишь только землей не имел понятия, я курей разводил, поскольку плотницкая профессия — что земля? Однако подал: господи, да если две красненьких в день, — какой же дурак не поедет?

Стоящий в проходе. Урвать от горячего пирога?

Мальч. голос. Уважаемый, не я — так другие. Ведь сами знаете, какой у нас народ.

Поднимается. Сказывается, он высок, широк в плечах, красив, пышная шевелюра, баки, точно у Александра II.

Мальч. голос. Везде происходит такое строение, — никакого глазу не хватит. Если сейчас не обеспечиться, — когда же тогда? Как по вашему?

Стоящий в проходе (*не отвечая, тонько поет*).

А я отвечу, что я давно бродяга,
Не помню родины своей . .

Совсем светло. Стоящий в дверях подходит к окну, с ним вместе — его приятель.

Стоящий в проходе. Он — скот. «Пло-отник»... Он — сукин сын. Хапуга. Он — разводит курей. Он — туполобая скотина, которая уткнулась носом в опоганенное корыто и, конечно, не видит над собой нисколько небо.

Приятель. Все мы люди, все человеки.

Стоящий в проходе. Неверно. (*Воодушевленно.*) Ведь смотри, какие здесь края! Четверть первого ночи, — а солнце? Я в Крыму не видел такого солнца... (*С гордостью.*) Уж если в этом краю да не жить, — то где же тогда и жить?

Приятель (*стараясь попасть ему в тон*). В самом деле, неужели ж я на Путиловом за четыре сорок буду ломать хребет? Избавь меня от лукавого...

Стоящий в проходе (*сдержанно*). Ты не допонимаешь. Я говорю: край-то богатейшая, очень богатейшая сторона. Я на своей жизни много перечитал разных литературных романов, — получается все равно — Америка. Здесь человек может жить, как бог и царь. Я собственными зубами возьмусь за все это, я вырву свое, у меня, брат, трудно забаловаться.

Приятель (*как бы вспомнив что-то нехорошее*). «До конца пятилетки»?.. А где же ей конец?

Стоящий в проходе (*не слушая, вытирая белоснежным платком каждый палец в отдельности*). Здесь человеку столько простора и столько свободного места, что негде даже заблудиться.. Здесь только мертвец и только последняя сволочь не может работать...

Поезд задерживает свой бег, в вагон ворвалось солнце, оно залило весь коридор, оно освещает людей. Люди спят. В окно все слышней и слышней гармошка. Под окнами проходит большая толпа гуляющих. Немного грустная, яростная песня. Стоящий в проходе провожает гуляющих продолжительным взглядом.

II

Опочинский был отличным работником, мастером на все руки, трижды премированным за свои изобретения. Если вы помните, это о нем писали в газетах, о его приспособлении для заводки тракторов. Сколько было вывихнуто рук, переломано паль-

цев, растянуто жил,— но вот пришел Опочинский со своей «гитарой», как он называл свое приспособление,— и мгновенно забылись трудные времена. Теперь даже девочка могла бы без труда пустить самый упрямый мотор.

Или, скажем, история с этой штамповкой малых шестерен диференциала. Освободились станки, освободилась мастерская от завали, обрезки пошли в ход,— кузница шутя и легко выкидывала шестеренки. Так-то вот обстояло дело. Опочинский знал себе цену, но уж зато был и порядочным гордецом. Он не со всяким якшался, и если б не продолжительная дорога — разве он когда-либо вступил бы в разговор с этим Сиделкиным?

«Все люди, все человеки»... Много он понимает, этот философ. И Опочинский до мелочей, всю, точно разложенную на ладони, начал припоминать свою жизнь. Ему нельзя было пожаловаться на однотонность ее и серость. Нет, он каждому мог пожелать такой жизни, только не всякий ее выдержит. Еще и сейчас, в последнем отделении бумажника, лежала вырезка из «Голоса бойца», где командование армии в приказе об'являло его, Андрея Опочинского, героем пролетарской революции.

Это верно, он был захвачен на разведке, он отбивался до тех пор, пока группа его товарищей не была изрублена в мякину.

Его расстреляли, сбросили с крутого берега в Хопер, неправдоподобно-бурый в этом несчастном месте, и с веселыми песнями вернулись в деревню.

«Меня разве так скоро кончишь... Меня не израсходуешь понапрасну».

Нашлись свидетели его расстрела. Прогнав белых, товарищи поставили памятник своему эскадронному: скамейку, окрашенную красным цветом, с вырезанным именем командира, скамеечку над самым обрывом, под которым шумел Хопер. Так себе, в сущности пустяковый памятник, даже не памятник, если говорить всерьез.

Однако Опочинский чуть не разрыдался, когда потом, уже через несколько месяцев, весь поседевший и высохший показался в памятной деревне, пошел на берег реки и присел на скамью. Он прочел свою фамилию, прочел число и месяц,— и он чуть не разрыдался повторно. Ничего странного не было в этом, хотя он и не принадлежал к числу людей, привыкших попусту беспокоить себя.

Он никогда не состоял в партии.

«Я дрался не хуже всякого, я не жале своей крови,— зачем мне билет, который иной раз достается прохвостам»,— так думал он, не желая замечать, что приятел удивленно пожимали плечами и тихоньк при этом барабанили по столу.

Опочинский полагал (и думал, что полагает безошибочно), что своей кровью о купил неоспоримое право жить не так, ка жили другие. Ему казалось, что немног надо уменья прожить налегке, не задумываясь о происходящем вокруг. Поэтом свою жизнь он нес как винтовку, не опуская штыка, не ослабляя ремня. Он хоте отвечать только за то, что было принят им единогласно.

Поэтому, когда его фамилию поставил в список тех, кого надо было отправить н Сталинградский тракторный завод, — Опочинский немедленно заявился в завком.

— Может быть, уже меня сочли за погибшего, что мною распоряжаются з глаза?

Он спросил это так, словно был челове ком, которому дано право требовать о других ответа. Он присмотрелся хорошень ко к председателю завкома — Опочински не первый день знал его, — но сейчас о присмотрелся к председателю и сразу п нял, как тот устал, измучился и как в су ности нехорошо заниматься с ним пустя ковыми разговорами. Однако свою марк Опочинский ставил высоко.

— Я работал не хуже других, я име свое уважение, незачем пошвыриваться т кими людьми...

И он удалился, с достоинством вытира руки своим отглаженным платком.

На Сталинградский завод он не поех

Сейчас, когда Опочинский пытался об снить этот поступок, в котором он не б заинтересован и сам, — он становился в пик: что же толкнуло его на отказ?

От'езд из Ленинграда, связь с семье неизвестность,— нет, это были об'ясне не для него. Так об'яснялись просто в кие трусы и всякая мелюзга.

III

Опочинский вышел из вагона на ст цию, которая еще отчетливо пахла свеж лесом и желтела своими сосновыми сте

ми, источавшими золотую смолу. Впоследствии много таких строений видел он, — город вырастал быстрее, чем в любой Америке,— но сейчас горожанина поразила именно эта мелочь: представьте, новенький станционный барак, сверкающее, легкое дерево стен, смолистый сок, вырывающийся из трещин.

Опочинский снял немного смолы, задумчиво покатал ее между пальцами и подхватил чемодан. Сзади подходил Сиделкин. Андрею не хотелось говорить с ним. Он легко и свободно зашагал по утлым мосткам, которые пружинили под ногами и выжимали жидкую белую грязь.

Кое-где, около самых мостков, росла береза. Но что это была за береза, одно удивление: ну, вот на столько от земли, трехлетний ребенок свободно достанет ее вершину. Кстати, здесь было немало ребят. Вдали, на синих склонах горы, меж редкой, тощной сосны, белели шалманы, временно принявшие поселенцев.

Уже потом Андрею стало известно, что город «Белый Камень» в среднем вырастал на сто человек в день. Где было сразу достать жилья на новых жителей?. Шалманы,— громадные палатки, в которых помещались десятки людей, — душные, низкие шалманы,— это был тяжелый, но единственный выход.

Пока что Опочинский видел шалманы только издали. Они играли своей ослепительной парусиной, они блестели слюдой своих окон, около ходили взрослые, копошились дети. И всюду, куда только хватало слуха, звенели топоры, настойчиво посвистывали электрические пилы, гудели колеса вагонеток,— чорт возьми, да это Клойндайк! — вспомнилось Опочинскому из полузабытых книг.

Сзади торопился и что-то говорил Сиделкин, но его попрежнему не хотелось слушать. Что он может понимать, глядя на все это? Между тем, кругом творилось нечто невообразимое.

Горы окружали долину, из которой поднимался город. Невысокие, однако, со снеговыми вершинами горы. Тысячи ручейков звенели на солнце, они радостно срывались вниз, то есть в озеру Белого Камня, — а озеро темнело, и как ни черно было оно, — горы все же отражались в нем, замечательные горы, все равно, как на японских рисунках.

«Фудзияма»... — опять припомнилось Опочинскому. Вообще-то он любил прихвастнуть своей начитанностью, но сейчас он подумал о знаменитой горе безо всякой задней мысли, растроганно и радостно от того, что вот есть же на свете такие немыслимые места, и никто не знает про них, и мало кому они интересны.

Он мимоходом коснулся грубой березы, сорвал тугую почку (хотя уже стоял конец июня и в Ленинграде давно отцветала черемуха...), размял ее и почувствовал крепкий запах, чем-то напомнивший Андрею очищенный спирт.

На берегу обрывистой речки, мчавшейся, как на пожар, они остановились. Сиделкин тихонько вздыхал и матерился,— видимо, его громадная корзина давала себя знать.

С горы, на том берегу, медленные спускались облака. Они были так ощутимы на глаз, что кажется их ничего не стоило погладить рукою. Облака растекались по зеленому склону, скрывая сверканье ручьев. Речка заглушала своим шумом и отчетливый топот топоров, и дребезги пил, и ржание коней, и даже рев «Катерпиллара».

Внизу, у самой воды, в глубине ста или больше метров, качались женские фигурки. Точно бобры, плескались они в воде, на бревнышках, кое-как накиданных с берега: полоскали белье.

Берегом, над водою, шла железная дорога.

Опочинский глядел на все это жадным взором завоевателя, пришедшего чорт знает откуда в этот непробованный еще мир. Ноги завоевателя должны стоять куда крепче любых радиомачт, а рук обязательно должно хватить на всю жизнь.

Их устроили в большом бараке, окна его выходили в молодой сосновый лесок, между деревьями кое-где еще лежал снег. Июньское солнце грело стекла, глухо слышались какие-то шумы с улицы. Андрей пренебрежительно огляделся: на нарах расположился неизвестно какой народ, новичка покоробило, нечто вроде раскаяния тронуло его сердце.

Все же он не подал вида, сбросил со своих нар чьи-то сапоги и поставил чемодан в изголовье, предварительно пощупав замок.

Люди сидели, спали, лежали просто так. В дальнем углу звенела трогательная домра. Поблизости играли в козла, громко щелкая костяшками по табурету.

«Это уже хужее»...— беспокойно думал Опочинский, вторично осматриваясь кругом. Непохоже, чтобы он мог прожить здесь долго. Только подумать, слесарь по шестому разряду, один из лучших путиловских рабочих,— от хорошей работы, подходящей квартиры и своих ребят — попал в эту ночлежку.

На нового постояльца никто не обратил внимания даже тогда, когда он распахнул окно и сказал, чтобы слышали и в самом дальнем углу:

— Чтобы у меня не закрывать! А то я знаю скотскую натуру...

Вызывающий тон новичка не затронул старожилов, и это было для него известным утешением.

Сделав самое необходимое, следовало позаботиться и о хлебе насущном. Сиделкин, имевший нюх на такие дела, быстро привел Андрея в столовую, в которой господствовали самые отличные и разнообразные запахи. Конечно, было грязно, — но не в чистоте счастье.

За столом, по соседству с тем, куда сели приятели, их внимание остановил рыжий человек, с одним глазом, с кожаной повязкой на другом. Он во время разговора, точно заяц, барабанил руками по краю стола и хохотал, совершенно независимо от того, что говорил.

— Да... Ипостасьев... Был человек — и в небытии. Vпостасьев, поймите же, через ижицу! Где теперь сия ижица? Друзья и содружники! Уничтожена не только буква, литература, иероглиф,— человек стерт с лица горизонта, стерт без следа, без горечи, волною морскою...

Опочинский пренебрежительно усмехнулся. Он не любил чудаков и беспредметных мечтателей,— что же можно сказать о человеке, погибающем через ижицу?

— Поел? Освободи место, с колокольни долой,— грубо приказал он Ипостасьеву, хотя в столовой было просторно.

Тот без малейшего колебания сдвинулся вместе со стулом в сторону и снова забарабанил по столу.

— Последняя буква в бывшем алфавите? Любезные, ложь! Она имеет право на первое, она не середняк, всего пять слов начинается ею! — и он растерянно оглянулся. И вдруг — стерли?

Он не был пьян. Вообще, пока что Опочинский не заметил ни одного пьяного. Или чистый случай, или что еще, но город шел мимо Опочинского подозрительно трезвым.

По улицам торопились рабочие. Они подчас ругались и шумели, но это было здоровое, отчетливое возбуждение.

Опочинскому казалось, что тут не хватает чего-то. Быть не могло, чтобы открывалась новая земля и заселять ее начинали люди светлые, как стекло. Не могло этого быть.

IV

Утром Опочинский пошел в трест, в отдел кадров. Его послали на обогатительную фабрику.

— Говоришь, не работал по монтажу?— спросили его.— Брось шутить, ведь с Путилова все такие...

Заведующий насмешливо распрощался с Андреем, дескать, меня не проведешь. В самом деле, без слесарей фабрика пока жила, сейчас она форменно погибла на монтаже.

В незаконченном, крупном здании гулял ветер. Он гулял и внизу, и между лесами, и под железо-бетонными сводами. Под ногами,— чего только не было навалено под ногами! Только одно название, что монтер. Приходилось заниматься чем угодно: разгружать тракторные сани, размечать площадки для фундаментов, таскать на себе тяжеленные трубы, всякую чертовщину. И это называется, завоеватель...

Никогда не оказывался Андрей в более глупом положении. Он делал всегда только то, что нравилось ему, а тут происходили самые непонятные вещи: сколько времени, например, отняла одна только шаровая мельница. Целую историю можно было написать, пока удалось установить мельницу на главные подшипники.

Инженер был молодой парень, только что из ленинградского втуза. Никаких инструкций не было, мельницу монтировали на-авось, время не ждало. Правду сказать, этот инженер Колосков был отчаянным парнем. Он чертыхался, как ломовик, не взирая на лица. Сам управляющий трестом боялся вмешиваться в работу инженера, хо-

тя легко было заметить, как иногда хотел управляющий вмешаться.

Он подолгу смотрел на небольшую кучку людей у мельницы и только нетерпеливо переступал на месте.

— Готово!..— возгласил однажды Колосков, отходя в сторону и расстегивая кожанку, изодранную в клочки. Он впервые увидел мельницу такою, как она должна быть. Громадный барабан с люком в стене, с люком, который мог свободно пропустить самого крупного человека. Подшипники, мощностью своею подобные мостовым быкам, стояли во всей красоте, эти гордые главные подшипники.

Самый барабан имел диаметром двойной человеческий рост, представьте себе колосса, опрокинутого набок, связанного по рукам и ногам.

— Чортова мать, еще какая-нибудь пара недель...— инженер ревниво похлопал ладонью по холодному металлу.— Теперь я пропал на двое суток. Во-первых — спать.

Когда на электрической станции беспокойно прокричала сирена — Колосков с Опочинским вышли из ворот обогатительной фабрики. Леса еще заслоняли ее легчайший, однакоже прочный облик. Нежно-серый бетон очень неясно проступал из-за дурацкой путаницы почерневших бревен и корявых досок.

— Уберем, все уберем...— убежденно говорил инженер, не разбирая грязи, не глядя под ноги.— Она у меня загудит, она тогда загудит у меня, что твой Путиловский!..

В глазах Опочинского молодость была извинительной слабостью, вот почему он промолчал: Путиловский завод!..

Навстречу попадались люди.

— Ну, как?

— О-о! — грозился Колосков. Сегодня кончили первую мельницу. Вот мой помощник. Товарищ Опочинский.

— Скоро, значит, в ход? — спрашивал Колоскова другой встречный.

— А транспорт? — ядовито возражал инженер.— Допустим, вместо трех тракторов на круглые сутки, мне дают — два. Один — сразу же идет в гараж, не в порядке. Другим дразнят! Вчера мое оборудование свалили у пакгауза! Послали трактористов за бревнами! Не идиотизм?

— Вредительство...— подсказывал Опочинский.

— «За бревнами!»...— издевательски усмехнулся Колосков.— «За бревнами»...

Перед тем, как распрощаться друг с другом, Колосков и Опочинский поднялись на крылечко одного из стандартных домиков и облокотились на перила. Внизу, в глубине, мчалась речка, та самая, над которой так долго стоял Андрей в первый день приезда.

— Заметьте, никто не использует...— задумчиво произнес инженер.

— Что и говорить, местностя исключительные.

— «Местностя»!..— нежно повторил Колосков, перебирая пальцами перила.— Жутко представить, что будет здесь через пять лет. Будь я щенок, если мы не запряжем эту речушку. Терек, Дарьял, — сколько об этом пролито чернил, а ведь эта — она сто очков даст и Тереку, и какому угодно Дарьялу. Слышите, как грохочет, а?

Он хвастался этим грохотом, точно своей собственностью. Он толкнул ногою круглый камень, случившийся под ногою, камень перевалился через ступеньку, сорвался вниз и катился чорт знает как долго, а куда скатился — так и не увидели этого ни Колосков, ни Опочинский.

— Видели? — торжествующе закричал инженер.— Нет, мы тебя, голубушка, мы тебя еще захватим, и та-ак захватим!..

— Исключительные местностя...— снова повторил Опочинский, доставая отглаженный платок и задумчиво вытирая один палец за другим,— это была старинная его привычка.

V

На правах внезапного «помощника», Опочинский свободно расхаживал по фабрике, замечая, как много еще здесь безобразий. Однако ему не хотелось ни во что вмешиваться: Колосков был вызван в Ленинград, — что-то не клеилось с импортным оборудованием,— приедет, пусть наводит порядок сам, это его инженерское дело.

Сиделкин работал в гараже и, работник не из важных, был уже назначен старшим слесарем.

«Ты бы у меня не получил и старшего подметалу»...— пренебрежительно думал Андрей, втайне обижаясь тем, что он лично оказался в дураках.

— Однако с заработками — липа... — продолжал Сиделкин.— Ну, восемь, ну уж если на простое — от силы девять монет! Куда это к лысому?

Движимый горечью и обидой за свои золотые руки, Андрей заявился к заведующему кадрами. Он заявился, как говорится — не по команде, но ведь Андрей никогда не прибегал к разной там мелкой сошке.

Он разложил на столе, покрытом надколотым с угла на угол листом бемского стекла, он разложил на столе разные свои документы, из которых выходило, что он — мастер на все руки, рабочий-изобретатель, активист,— и спросил:

— Если человек добровольно, сам, по личному своему смыслу приехал сюда, в место вашего расположения, — то как вы к нему отнесетесь?

— А например? — возразил заведующий.

— Семь рублей в день — это как? Жить в бараке со скобарьем — это как? Наконец, работа, как у распоследнего босяка! Или я не применю полностью своей собственной, довольно-таки высокой квалификации?

Словом, он стукнул кулаком по столу, собрал свои документы и пред'явил условия: а) работа по специальности, б) не меньше пятнадцати бумажек в день, в) отдельная комната.

— По какой специальности?

— По какой угодно,— гордо ответил Андрей, подтверждая свои слова вторичным ударом кулака, размахивая белоснежным своим платком.— У меня их — тысячи! Только чтобы меня отсюда из'ять!

Заведующий почесал подбородок, закурил, хотел было угостить приятного собеседника, но раздумал и спрятал папиросу в портфель.

— А тебя не за рвачество струганули с Путилова? — вдруг неожиданно спросил он и усмехнулся, предупреждая Андрея. — Ты не обводи меня вокруг пальца, мы сами оттуда, мы сами со второй механической...

Прямо сказать, Опочинский ошалел. То есть, кто это его и откуда это его струганули? Он покраснел и тихонько опустился на стул.

— Не место заниматься дешевой демагогией.

— Какая может быть демагогия?.. — оживленно и дружелюбно заговорил заведующий. — Приходит человек, он якобы с Путилова, — и чем же он позволяет себе заниматься?

— А чем?

— А тем...

Короткое молчание. Опочинского мутило странное чувство. Чорт его знает, чего ему было стыдиться? Все же он не мог вот просто так: подняться и уйти.

— Значит, так и ничего? — напоследок спросил он.

— Ты у нас, как и все. У нас есть работнички полезнее тебя, — а посмотри-ка на них...

Опочинский до самой глубокой ночи не заходил домой. Он спустился к реке и по шпалам пошел куда глядели глаза. Он перешагивал через камни, сорвавшиеся сверху и легшие между рельсами, обходил дрезины, брошенные дорожными бригадами, он шел вперед, не разбирая пути. Временами полотно пересекало легкий лесок, взбиралось на отлогий пригорок, покрытый серебряным мохом, шло по топкому загаженному болотцу.

Неподалеку, в сторонке, раскладывался целый стандартный городок. С высокой сосны гремел громкоговоритель. За столами, прямо под деревьями, в строгом порядке сидели плотники, вечные бродяги новостроек. Над медными котелками поднимался жгучий пар и даже сюда доносился заманчивый его запах.

Плотникам приходилось много видеть, и их, вероятно, не удивляло то, что творилось кругом них и что делали они сами.

Андрею хотелось подсесть к ним и по душам побеседовать с ними. Но тут на память ему пришел разговор в вагоне и, показалось, будто вон там, с самого края, сидит, обжигая рот и жадно дыша, плотник, бородатый человек с мальчишеским голосом, — ну, тот самый плотник, который еще у себя дома занимался курями.

Мир и тишина окружали эту полянку. На болоте дымился костер, около него с полной ответственностью сидел пес, великолепно молча и вытягивая морду навстречу дыму. Опочинский даже с некоторым сожалением покинул эту картину.

Пошатавшись еще (и пошатавшись довольно долго), Опочинский повернул к своему, так сказать, очагу. Не доходя до барака, он услышал голоса, донесшиеся из

придорожной канавы. Он остановился над нею. Откинувшись на невысокий откос, пачкая спину в белой глине, расположился, напевая, Сиделкин в окружении нескольких сезонников. Все они громко шлепали картами по плоскому камню, в чьей-то опрокинутой фуражке был свален банк, — серебро, медяки, бумажки.

Так, видимо, водилось всегда и везде: завоеватели жили разгульною, вольною жизнью. Однако Опочинский без единого слова повернулся и зашагал к бараку. Этой ли жизни, канавы ли этой, дурацкой ли этой игры хотела беспокойная натура Андрея?

Еще издали он увидел яркое платье уборщицы на крыльце, которая ожесточенно мыла швабру.

Со стороны гор глухие доносились взрывы, — это работал динамит. Эхо добросовестно перекатывалось по узкому горизонту, и взрывы раздавались опять.

— Я так не могу...—неожиданно для самого себя вслух произнес Андрей. Он отступил в сторону и дал дорогу «Катерпиллару», волочившему за собой широкие сани с ржавым котлом на них, гудевшим на каждом ухабе.

На озере легко и пронзительно шумела электростанция, слышались негромкие песенки, завезенные сюда с юга, — с Ленинграда там или откуда еще.

Полярная белая полночь подходила вовсю, а Опочинский все еще сидел на пне, шагах в тридцати от барака. Картежники как-то разом указали Андрею его место. Нет, он не из таких. Он не Сиделкин, — тот безразличный, неразборчивый человек.

— «А что — я?» — строго спростил сам себя Опочинский.

У него до революции была своя мастерская. Ничего не значит, что даже ученика не мог он взять себе — зато сам себе старший, сам себе младший. Вот уж именно — слуга и хозяин. До самого пятнадцатого года, до призыва на позиции.

«Так и не пришлось жениться»...— определенно подумал он.

Ой, и потрепало же его, и поломало же, чего он только не перевидал! А результаты?

— Я — мелкая, неустойчивая буржуазия...

Он опять заговорил вслух. Эти слова были произнесены авторитетным тоном. Ему стало неловко при воспоминании о последнем своем разговоре о Ленинграде с председателем завкома.

«Разве я на необитаемом острову?»

Перед ним предстали опять столы между деревьями, бородатый плотник с краю, канава у дороги, картежники, — хоть бы провалилось все это!

Третья смена землекопов шла мимо него, поблескивая отточенными лопатами.

Щегольские часы Опочинского показывали четвёрть первого ночи. Солнце стояло над самой высокой, сахарной вершиной, в горах раскатывались взрывы, одуряюще пахла свежая щепа под ногами, щелкала какая-то птица, — одним словом, все было, как в соответствующих книгах.

Когда Опочинский пообжился в своем неприютном жилище и примирлся с необходимостью оставаться пока что на этом месте (в самом деле, людей было мало...), он начал присматриваться к тем, кто заселял барак.

Большинство для Опочинского, чистоплюя и гордеца, не представляло никакого интереса. Чем свет уходили они на работу, возвращались с нее, пообедав по дороге, и сразу заваливались спать. Спали они тяжело, стонали во сне, часто поднимались, приникали к кружке, звякавшей на цепочке у горячего бака, спросонья расстегивали вороты рубах и как были, не снимая сапог, так и ложились на место.

Конечно, сезонники, — с них Опочинский не мог ничего и спрашивать. Между прочим, здесь же, неподалеку от входных дверей, поместился и Иглов, тот самый человек, который охал в вагоне на верхней полке, тот самый мрачноватый, малообщительный человек.

Он, видимо, хорошо запомнил Андрея, но помалкивал. Это особенно понравилось Андрею: человек с таким характером не мог быть трепачом и гадом. Опочинский сам сделал первый шаг. Он однажды пошел следом за Игловым, когда тот, следуя своему вечернему обыкновению, направился на крыльцо: он курил только на воздухе.

Сейчас он был в галифе из чортовой кожи. Они порыжели на коленях и лоснились. На ногах — сандалии. Подтяжки спускались с плеч и невозмутимо свисали вдоль бедер.

— Ночь...— неуверенно начал Опочинский. — И это, между прочим, называется — ночь?

Он указал куда-то в сторону. Слов не-у, ночь была, по местному обычаю, очень удивительна и походила больше на нежаркий полдень.

Мимо, по дороге, которая скрипела под ногами от несметного строительного мусора, прошел заведующий кадрами. Он мельком взглянул на крыльцо. Потом что-то вспомнил и поднялся по ступенькам.

— Иду было домой с бюро... — заговорил он, подсаживаясь на перила и закуривая от папиросы Иглова. — Стоп: иди, мол, в гараж, шоферам моча в голову ударила. Иду, хотя это дело начтранспорта. Что, почему? Да... А там — пьянка, полным темпом. — Заведующий весело рассмеялся. — Прямо, не стыдятся: на грузовике — табуретка, сидят на бортах, как в Летнем саду, чокаются, все честь-по-чести.

— Такой сукин кот завелся. Старший слесарь. Говорит — также о Путилове... — с неожиданной силой сказал он. Опочинский понял, что речь о Сиделкине. — Одним словом, завтра двоих-троих — к чортовой матери.

Он замолк, покатал папиросу между пальцами и добавил серьезным и вдумчивым тоном:

— Ну — погоню. Ну — ладно. А кто — работать?

— Надо гнать, Василий Антоныч... — твердо сказал Иглов.

Оказывается, они были знакомы, Опочинский не знал этого.

— Гнать-то гнать, тезка... — неопределенно согласился Василий Антоныч, комкая окурок и щелчком забрасывая его в траву.

Все молчали.

«Так это значит — Сиделкин?»—подумал Андрей. Ему стало тоскливо, словно это его самого собирались гнать отсюда: «Меня никто, никогда ниоткуда еще не гнал»...

Перед тем, как пойти спать, он спустился с крыльца, чтобы немного пройтись. У самой дороги молодой сезонник выправлял лопату, зверски погнутую, вероятно, от какого-то страшного удара или, может быть, по ней проехалось тяжелое колесо. Парень с размаху ударял лопатой по большому камню, так что от него летели горячие осколки. Вряд ли такой прием помогал делу: ясное дело, слабеет насадка, лопата зубрится, и вообще это безобразие обращаться с инструментом хуже, чем с поленом.

Он вернулся на крыльцо, где все еще сидел Иглов, окутанный тихим дымом.

— Сколько еще дикого подхода... Да же лопата — и то мы не научились беречь ее, хотя чего же проще? Чего же спросить с таких вот!... — осуждающе заметил Андрей, обмахивая сапоги шваброй.

Иглов, как показалось ему, насмешливо усмехнулся.

— Из яйца сразу никто еще не вылуплялся, сват... В каждом из нас всякой начинки!..

Опочинский плохо понял Иглова. Уже на топчане он припомнил заведующего, Василия Антоныча, его веснущатые, рыжеволосые руки, его беспокойную улыбку.

«Тебе не сидится на месте»... — одобрительно сказал про себя Опочинский. «Что ж, здесь такая работа»...

Сиделкин точно живой стоял перед ним. Андрей приподнялся на локте: постель Сиделкина не была даже примята.

«Сукины дети, приехали за тысячи верст, — а что они привезли с собою?»

Он даже был рад, пожалуй, что Сиделкина погонят отсюда.

«Ты — просить-проси, короток твой целковый — добивайся большого, расшибайся в лепешку, — но работу, обязанность — ты не кинь, не брось»... — хотелось сказать Опочинскому, но ведь постель Сиделкина даже не была примята.

Нет, по мнению Андрея, так не завоевывали незнакомые страны.

«У тебя нет выдержки до последней, до окончательной драки. Как все равно махновец, ты обегаешь домишки, затребаешь барахло, тащишь с собой на тачанке, — а ведь оно отяжеляет нас»...

Голова Опочинского работала уже довольно смутно, он отвернулся к стенке и мгновенно заснул.

Мимо барака опять прошел заведующий, он громко рассказывал что-то человеку, который сопровождал его. Если б Опочинский не спал, он, наверняка, услышал бы:

— Нет, в гараже сплошной Вавилон. У меня есть один человек на-глазу. О, ну только это и парень, домовой бы его взял...

Около электростанции заливалась звонкая рельса, на ней отбивали часы, сейчас можно было насчитать двенадцать.

Беспокойный день Василия Антоныча как будто подходил к концу.

VI

Придя с обеда в барак, Опочинский увидел в руках уборщицы синий конверт.

— Спляшите, а то не отдам...

Но Андрей предпочел обходиться без шуток. Он взял вздрагивающую от приглушенного смеха женщину за кисть правой руки, легонько нажал ее и взял письмо. Писали из Ленинграда, председатель завкома.

«У нас многие читали о тебе, как о шкурнике, который не понимает свою пролетарскую задачу для индустриализации, поскольку мол ты отказался от Сталинградского завода. Но когда мы узнали, что поехал на еще более узкое место, количество неудовольствия резко упало вниз, хотя я считаю, что это мелкобуржуазный анархизм выбирать узкие места по своему вкусу, не считаясь с ВКП(б) и профорганизацией нашего Тракторного завода.

Однако ж одно дело неудовольствие, но это факт, что ты не оказался дезертиром, как признаться сказать думал и персонально я, теперь дело только в том, чтобы ты и на ударной стройке показал соответствующую марку, что такое из себя путиловский пролетариат, как вождь и путеводитель соцсоревнования и ударничества, тем более такой спец, как подобно тебе.

У нас как тебе известно, работы — до-захлеба, отдай все да мало, есть отдельные ребята, да ведь им мы прямо приказываем в порядке дисциплины уходить по домам — по шестнадцать, по восемнадцать часов работают каждый день, а разве это не влияет на здоровье? Влияет.

Вот такие-то у нас дела, дорогой Андрей Ильич. Ты в общем голова с мозгами, ну тяжелый характер — так это можно поднаправить, а я не ошибусь, когда скажу, что наш путиловский передовик не подкачает себя, а пойдет авангардом»...

Андрей еще раз перечитал последние строки. Теплое, удивительное чувство охватило его. Никто и никогда не писал ему ничего подобного. Оказывается, он остался в памяти товарищей, и они внимательно и любовно следили за Опочинским. За ним следили с надеждой и гордостью. Разве это пустяк?

Он аккуратно сложил письмо и пошел на работу. Уборщица посторонилась, весело и смущенно глядя на него. Он тихонько коснулся головою ее локтя и одобрительно улыбнулся, показав почти полный ряд золотых зубов (они понадобились ему после белой контрразведки, — большевистских зубов там не жалели).

У самых ворот обогатительной фабрики Андрей увидел Василия Антоныча, который, нагнувшись, снимал щепкой грязь с болотных своих сапог.

— Здорово! — словно старому другу, закричал он Опочинскому, далеко отбрасывая щепку. — Ну, как у тебя?

Андрей сдержанно поздоровался и протянул заведующему письмо. Тот начал читать с тем смешливым выражением на лице, которое бывает у человека, смотрящего на тебя, как на очковтирателя и прохвоста. Но по мере того как письмо подходило к концу, Василий Антоныч мрачнеет и понемногу сдвигает кепку на затылок.

— Да... — тем не менее преспокойно заметил он. — Значит поработаем на этой самой ударной стройке? Сверхударной, добавил бы я.

Только и всего. Андрей сердито отобрал письмо и, как пришлось, сунул его в карман.

Однако эта встреча скоро забылась. Что же касается письма, то Андрей перечитал его еще дважды, с каждым разом по-новому осмысливая самого себя. О нем никогда не говорили, — ничего плохого, ничего хорошего. Ну, написали раз в армейской газете, — еще бы не написать, не каждый же день расстреливают человека. А вот так, спокойно, заботливо и дружески, — кто говорил так?

Устанавливали вторую шаровую мельницу. Опочинский уже привычно делал свое дело, и когда Колосков отлучился, рабочие обращались к Андрею. Ему помогала его счастливая способность с полувзгляда понимать самую чужую и самую тяжелую машину. Уже с оттенком некоторой скуки и даже отчасти неприязни, Андрей собирал мельницу. Ну, вот он, барабан, обшитый заклепками, точно со вкусом подобранными пуговицами, вот зияющий люк, вот мар-

ка фирмы «Southwestern Engineering Corp». Все на месте.

Опочинский не мог забыть о письме.

«А не за рвачество ли тебя струганули с Путилова?» — краска вдруг бросилась ему в лицо, когда он припомнил эти обидные слова.

— Кто это меня струганул? — громко сказал он, хлопая себя по карману бушлата, где как самое крепкое опровержение лежало письмо.

К счастью, никто не слыхал странного вопроса Опочинского.

Перед самым шабашом забежал Колосков. Он был бледен, только воспаленной краснотой отличались глаза, он шатался, точно после тифа.

— Я и здесь, я и на флотации... — отчаянно прошептал он, вытирая рукавом совершенно сухой лоб. — Немыслимо. Как кончу монтаж — уйду, я успел позабыть, как это люди спят...

Потом он добáвил, уже забывая о сказанном только что:

— Однако мы, пожалуй, всю эту машину пустим пораньше. Минимум, мы выиграем неделю. На меньшее — ни-ни.

За ним пришел монтер, прибывший с Мурманска вместе с оборудованием, и инженер, шатаясь и сбиваясь с шага, заторопился за ним.

После работы Андрей пошел на озеро. В такую погоду было бы неплохо посидеть на бережку, посмотреть под ноги, в зеленую, веселую воду. Обходя станционный барак, Опочинский увидел бородатого плотника. Он тащил круглую кошелку, в которой возились и шумели куры. Плотник, ничего не видя перед собою, нежно улыбался и успокаивал птиц, тихонько, влюбленно похлопывая ладонью по кошелке.

«Достукался, окаянная сила»... — с непонятной радостью подумал Опочинский, ускоряя шаг, но все же оглядываясь на плотника.

На берегу Андрей сел на бревно, одним концом ушедшее в воду, разулся и опустил ноги в озеро. Стиснув зубы, он ощущает, как холод захватывает все тело, поднимаясь по нему, точно масло по фитилю.

«Не всякому будут писать такие обращения»... — с удовлетворением подумал Опочинский, хотя и не понимая, почему это ни с того, ни с сего председатель прислал письмо.

И он внезапно вздрогнул: а если и Сиделкину написали то же самое?

Он немедленно выдернул ноги и начал обуваться, не попадая ногою в сапоги, без толку дергая их за ушки так, что они жалобно поскрипывали.

Уже поднявшись, Опочинский оглянулся на озеро, спокойно разлегшееся между горами.

VII

Какие-то странные вещи творились на этом проклятом месте. Андрей никогда не мог думать, чтобы заведующий кадрами вызвал его к себе, усадил в свое кресло и сказал, радушно раскрывая коробку с сухумским табаком, кем-то привезенным ему с юга.

— Закуривайте, товарищ завгаражом.

Андрей пропустил было мимо ушей эти насмешливые слова, но потом вдруг нахмурился и пристально посмотрел на Василия Антоныча.

— Да-да-да! — попрежнему насмешливо и весело продолжал тот. — Вот тебе вожжи, садись, подтягивай эту развихлявшуюся бражку, завинчивай гаечку...

Опочинский обиделся, стряхнул с колен пепел и поднялся уходить. Чорт его не знает, этого завкадрами. Если вызывать Опочинского только для неумных этих шуток — не многого стоит такой заведующий.

— Чтобы шутки шутить, я еще не пообедал...

— Какие могут быть шутки? — прежним тоном отозвался Василий Антоныч. — Вот приказ треста...

И он протянул Опочинскому синеющую копию приказа, где под § 11 стояла фамилия Андрея.

— Принимай дело, искореняй партизанщину и всякие, знаешь, сахалинские настроения. Здесь, брат, тебе не американские золотые прииска, а пролетарский, я бы сказал, очаг...

Получилось так, словно Василий Антоныч имел в виду как раз недостатки самого Опочинского. Он упал духом, — да, заведующий не шутил.

— Я, пожалуй, тронусь отсюда в Ленинград... — однако не показывая вида, даже притворно зевая и презрительно щурясь, словно мимоходом, сказал Андрей.

— Что-то рано соскучил?... — иронически отметил завкадрами.

— Да так...

— Мало погостили...

Этого Опочинский уже не мог вынести. Он вскочил, надвинулся на Василия Антоныча и заорал, дрожа от бессильного возбуждения:

— Так вот и пропадает человеческий капитал!

— Никуда не пропадает, — дурашливо заметил Василий Антоныч, опять дружелюбно раскрывая перед ним коробку с табаком. — Главное, когда будешь принимать гараж, — все внимание на состояние парка, ты изучи его по имени-отчеству...

— Ничего не приму!

— ...потому, что там собралися все шкурники и самолюбивцы, но ты подвергни все это чистому ветерку.

«Он вцепится, как бульдог»... — безрадостно, постепенно мирясь с неизбежностью, думал уже Опочинский. Он взял приказ, обвел карандашом пункт о себе и, вздохнув и взяв на прощанье щепотку хорошего табаку, — вышел из управления.

Он вернулся на обогатительную фабрику, где вторая смена монтажных рабочих уже разошлись по местам. Андрей остановился в дверях и, знаете, сердце его легонько сжалось: как быстро, оказывается, создаются привязанности. Давно ли он заходил сюда с неохотой и злостью, а сейчас вот заявился не в очередь, сейчас вот стоит здесь, как бы прощаясь с тем, что здесь поставлено, и что не сегодня-завтра встанет еще.

Андрей прошел к бригаде, которая устанавливала ведущую шестерню мотора. Ее стрельчатые зубья отливали синим, блестя под солнцем. Головки шестигранных болтов отчетливо выступали вдоль мощного шва. Шестерня густо была покрыта маслом, распространявшим вокруг какой-то особенный, такой душный запах.

Соберут мотор, — и оживет мельница. Тогда только подавай ей минерал, который пойдет в размол, — красивый белый камень, впрочем, сияющий яркими черными блестками. Немного издали камень кажется нежносерым, — похожим на шкурку шампанского кролика. Вот только временами по нему пробегают розовые, почти молочные жилки.

Опочинский расправил плечи. Так вот и вырастет эта фабрика. Еще немного — и сердце забьется, как и полагается биться сердцу. Тогда над озером безостановочный пойдет гул, шутя покрывая детскую суматоху электростанции, — куда она годится?

Ему до сих пор как-то не довелось видеть фабрику издали. Он вышел за ворота, поднялся на железнодорожную насыпь и окинул взглядом светлые корпуса, уступами идущие вдоль озера, многорядные линии окон, горящих солнечными, багровыми красками, эстакаду, решительно спадавшую к железной дороге.

Ну что ж, он не на век уходил отсюда, у него еще будет время притти сюда и, сколько влезет, налюбоваться фабрикой. Она стоит того, потому что бедная руда, полубросовая добыча — стараниями этого отличного сооружения будет превращаться в полноценное сырье, а ведь это!..

Но тут Опочинскому на память пришел разговор с Василь Антонычем и сбил Андрея с толку. Он, расстроенный и растерянный, направился в клуб. Он давно собирался туда, потому что, отличаясь замкнутым характером, все же не был запеченным тараканом. Наоборот, он не мог без людей, хотя всегда был против опрометчивых и непрочных привязанностей.

Первым долгом он зашел в читальню. На столах не было ни газет, ни журналов, ни всего того, что должно быть в читальне. Вокруг столов, на подоконниках, на столах сидели люди. У многих из них на фуражках блестели внушительные очки горняков.

У старика-лектора тоже были очки, но уже обычные, в золотой оправе. Они горели, точно отражение звездочек в беспокойной воде. Старик говорил, широко разводя руками и несколько задыхаясь, как человек, сам с трудом охватывающий то, что он сообщал слушателям.

— Перед войной что мы имеем? На гектар германцы тратили сто семьдесят кило фосфоритного удобрения. Разумеется, урожай был блестящим. А Россия? — и он торжественно ответил, ввинчивая указательный палец куда-то вниз: — С е м ь килограмм, то есть семнадцать с половиной фунтов на гектар! Вы понимаете, что это была архиголодная подачка нашим нивам...

Старик кашлянул, сплюнул в платок с желтенькой каемкой и протер очки.

— И вот... — продолжал он, неуверенно рассматривая их, — перед нами сложнейшая, понимаете ли, проблема: перевооружить наше сельское хозяйство. Здесь, на-

ши рудники... — старик ткнул пальцем в грудь ближайшего человека... — Они должны целиком обеспечить фосфоритами наши поля. Представьте, десятки миллионов золота идет за границу. Кому это, понимаете, нужно?

Старик опять откашлянулся в платочек.

— Мы в результате всей нашей деятельности не только сэкономим известную сумму валюты, это само собой. Мы своими средствами заставим нашу землю давать тройные урожаи. Больше того, наш фосфорит будет самым дешевым в мире и мы повезем его туда...

Старик указывал на окно.

Запад будет его брать, потому что мы — лучше Северной Америки, лучше Марокко! Да, я не шучу: мы гораздо богаче их фосфорным ангидридом. Товарищи-слушатели, я не оратор, я геолог, но хочу верить, что я помог вам понять то, зачем мы здесь с вами находимся и тратим свою энергию...

Опочинский с сожалением посмотрел на лектора. Обидно, что не пришлось услышать начала.

Уже неподалеку от своего барака Опочинский вторично вспомнил о своем назначении. Завтра, вероятно, предстояло об'яснение с Сиделкиным. Ну что ж, Андрей знал, как поступают в подобных случаях.

Иглов курил на крыльце и разговаривал с каким-то человеком.

— Так ты завтра собери бюро.

— Сделано, — согласился собеседник.

Иглов зевнул и поправил подтяжки.

Немного помолчав, Андрей вспомнил лекцию. Спору нет, старик говорил правильные и нужные вещи, но вот он, Опочинский, — он бы сказал не так.

— Я бы совсем по-другому...—оживленно заговорил он, разглядывая свою темно-коричневую с[illegible]ченную ладонь. Иглов с недоумением быстро взглянул на него, но промолчал.

— Он, действительно, фактически прав, — до последней мелочи припоминая внешность старика, продолжал Андрей. — но у него нету того, ну что ли особого такого настроения. Я бы показал, все равно как на карте: вот смотрите, одинокая, холостая земля. На ней — мох, на ней лед, снега, морошка, всякая глупость. Тут человек — как идол, один на тысячу верст, кругом никого. Он так и спит со своим зверьем, а подохнет — его начисто обглодает мошкара, и никакого следу не останется от такого земного жителя. Он никогда в своей жизни, он никогда не видел не только что, скажем, тисков! — Ему незнаком какой-нибудь ручник... — Опочинский, с обидой за подобного жителя, произнес эти слова. — Наши соседи из западного буржуазного слоя, они очень прекрасно понимают, что к чему. Но мы тоже давно перестали быть маленькими. Мы берем этот громаднейший земной шар, который сейчас под тундрой, под мохом, под всякой маломощной березкой, — и мы идем версту за верстой! И вот мы — приходим...'— Опочинский перевел дух. — И вот здесь-раз: дорога! Раз — рудник! Раз — станция! Вот как делаем мы, это необходимо понимать.

Иглов сдержанно слушал его, торопливо похрустывая пальцами.

— Я вот смотрю кругом и думаю: мы не умеем рассказывать и поднимать дух. Честное слово, вот вроде этого старика.

Андрей упустил из виду, что ведь Иглов-то не знал ни о каком старике. — Ну и что? У нас не особенно много такого элемента, который дрался бы здесь, как за свое добро, не как наемный скот, а так: идет, понимаешь, разведка, а он — в ее числе, самый боевой и самый отчаянный. Не бандит, не пьяница.

Потом он смутился: разболтался не к добру. Он виновато и искоса взглянул на Иглова и молча засвистал.

В сущности, когда Опочинский ехал сюда и думал о завоевании этого края, то обязательно выходило, что, собственно, завоеватель — это он, Андрей Опочинский. Но что же у него получалось сейчас? Идет разведка, — а что значит «разведка»? Ведь это же приходили завоеватели на одинокую землю, они оттесняли одиночек (вроде тех, как Опочинский раньше думал о себе) и создавали здесь боевую и тревожную жизнь.

И вот уже тебе — город. Вот — фабрика. Вон там — рудники.

И как раз все те качества, которые еще вчера Опочинский приписывал только себе, — они ведь принадлежат теперь всем, и вот именно поэтому они были иными. Сердце мозг и рука завоевателя — они ведь принадлежат всем, то есть тем, кто нашел эту беспризорную землю, кто разглядел ее, по-

слал сюда разведку, проложил пути, рвал сейчас динамитом горы, хотел обогатить бескрайние деревенские поля, кто переворачивал мир и завоевывал его для сотен и сотен миллионов безземельных, обездоленных, ограбленных озлобленных людей.

«Может быть, это и есть коммунизм?» — спросил он самого себя и немедля ответил: «Все равно, я боролся за это. Я не отступлюсь и сейчас»...

Иглов задумчиво пускал дым.

— Нынче в восемь открытое партсобрание, — ты не пройдешься?

— Надо переодеться... — возразил Андрей, удивленно поворачиваясь к этому молчаливому собеседнику: вот как, этот незаметный человек зовет его на собрание ячейки.

— Пустяки, не на вечеринку.

— Нет... — строго сказал Андрей. — Я так не могу. Я должен привести себя в надлежащую форму.

VIII

Странная вещь, несмотря на все происшествия, Андрей начал сближаться с Василием Антонычем. Фамилия его оказалась знакомой, — Отделкиным был старик отметчик на Путиловце, в мастерской, где работал Андрей.

— Ну-да, ну-да, — отец! — радостно согласился Василий Антоныч. — Не захотел на пенсию. Я, говорит, лучше в сторожа пойду...

— Значит отец?..

— Знаменитейший был разметчик, — конечно, теперь с него песок.

— Ах, значит, отец...

Ну, так ведь со стариком Андрей был в хороших отношениях. Несколько раз ездили они на Ладожское озеро, — Опочинский когда-то был завзятым рыболовом. И он начал припоминать старика. Отделкин слушал Андрея с видимым удовольствием и даже как бы не веря, что у него такой занятный отец.

— Сидит над водой — спит. Я, говорит, проснусь, пусть только клюнет. И ведь что? — Просыпался!

— Просыпался? — польщенный, удивлялся Отделкин.

Потом он добавил, становясь серьезнее:

— Вот выписал его сюда, старухи-то у него нет, чего ему в Питере? А он у меня парень бедовый.

Он говорил о старике так, будто они поменялись возрастами и ролями.

— У меня Антон Фомич — малый бедовый... — повторил Отделкин и спросил, как встретили Опочинского в гараже.

Опочинский пока не заметил ничего такого. С машинами, верно, было плохо, — но, кто знает, виноваты ли были в этом люди, что работали на них?

Отделкин искоса взглянул на Андрея.

Да, Опочинский определенно считал, что в гаражных безобразиях люди не виноваты. На этом он настаивал.

— Значит, дисциплиной не пахнет, — они не виноваты?

— Зачем же? — ответил Андрей.

— Они пьянствуют — и не виноваты?

— Виноваты.

— С машинами обращаются, как со скотом, — не виноваты?

— А кто же?

Отделкин только развел руками. Да, Опочинского было и мудрено понять. Между тем, Андрей был прав вот в каком смысле: у шоферов и трактористов не было заинтересованности в уходе за машинами. Цела машина — он работает, он зарабатывает, он получает прилично. Испортилась — он сдает машину в ремонт, кладет руки в карманы, получает по среднему и ничего не теряет. Что она возит руду, что стоит на домкрате — ему не один леший?

— Что ж, по-твоему?

Опочинский не предлагал ничего особого. Он только говорил так:

— Ты сохранил машину — тебе зарплата по сдельному, это как и всегда. А вот в конце месяца—премия. При трех днях простоя (скажем, ты машину поломал) — никакой премии, два дня—двадцать пять целковых, один — тридцать, ни одного — тридцать пять.

— Но простой оплачивается — как? По среднему?

— Зачем же, по голой ставке.

Отделкин несколько мгновений пристально смотрел в лицо Андрею, потом самодовольно усмехнулся и потрепал его по коленке.

— Я не знаю — что бы наш путиловец да не придумал! У него, брат, голова работает, она, брат, не ветром подбита...

Василий Антоныч мигом достал из портфеля блокнот и через минуту передал Опо-

чинскому листок из него, сплошь покрытый цифрами.

— Например, какой-нибудь Иванов или Сидоров... Смотри...

Получалось, действительно, интересно. Опочинский теперь только полностью понял, что может означать его нововведение. Вот, например, посмотрите:

Фамилия	Ставка в день (в рублях)	В месяц (в рублях)	Сдельная выработка в день (в рублях)	В месяц (в рублях)	Дней простоя	Премия	Дней по ставке	Дней сдельно	Итого	
									Раньше	Теперь
Иванов	6	150	14	350	3	—	3	22	350	326 [1]
Сидоров	6	150	14	350	1	30	1	24	350	372 [2]
Петров	6	150	14	350	—	35	—	25	350	385 [3]

Если раньше эти трое получили бы тысячу пятьдесят рублей, сейчас им надо выплатить тысячу восемьдесят три рубля.

Действительно, разница в оплате хорошего и плохого шофера была налицо.

— За машиной смотреть будет?

— Будет, — согласился Отделкин, с уважением оглядывая приятеля.

— Ну, выкину в месяц на тысячу рублей премий. А сэкономлю?

— О-о!.. — Отделкин даже не хотел и слушать.

— На простое экономлю — раз, на ремонтной мастерской — два, на качестве машин — три, да тут нечего и считать!

— Не говори...

Они вышли из столовой, но перед тем, как распрощаться, Василий Антоныч задержал Опочинского.

— Когда я вижу такого откровенного горлодера, как ты, — я говорю так: чем хуже, тем лучше, с тихоней я говорить не могу, а с горлодером мы кашу сварим.

Опочинский нахмурился: ничего себе похвала.

— Бывает горлопан — гад, бывает — от своей гордости. Ну, с таким мы споемся, у такого — котелок не звенит.

Андрей пошел в гараж, выбирая сухие места: утром шел дождик.

Отделкин посмотрел ему вслед, улыбнулся и засвистел какой-то отчаянный мотив: своим слухом Василий Антоныч никогда не хвастался и, сказать правду, хорошо делал.

Тем же вечером, поздно проходя мимо гаража, Отделкин увидел яркий свет в окне красного уголка. Он подошел и заглянул в окно. Человек двадцать сидели в самых разнообразных позах, — на полу, на подоконниках, где придется.

Стройный паренек, с лицом, обезображенным оспой, затянутый в ладно-пригнанную кавказскую рубашку, что-то говорил, подчеркивая свою речь решительными жестами.

Отделкин решил зайти. Он пристроился у самых дверей и увидел Андрея, который сидел у окна, обхватив руками колени и уставясь глазами в пол.

— Бывало, нападет за ночь снег... — с болью и удивлением говорил паренек (впрочем, вблизи он не казался таким молодым)... — Значит, дорогу замело, а между тем — надо ехать в карьеры, надо выбирать и везти руду. Ну что ж, вот до семи часов, до начала работы, я возьму и говорю: — Рабочее время терять не приходится, наш СССР не виноват, что нынче снег, СССР не может страдать... — и вот мы идем по двое, пара за парой, протаптываем путь, дальше-больше... Ну, конечно, потом-то лошадь — пройдет.

Он укоризненно оглядел товарищей. Опочинский еще ниже опустил голову.

— Мы, бывало, руду — мы ее вешали, как золото, на десятичных весах. Я знал каждую лошадь, как не знал, например,

[1] За три дня по 6 р. — 18 р., 22 дня по 14 р. — 3 8 р., всего 326 р.

[2] За один день по 6 р., 24 дня по 14 р. — 342 р., премии 30 р., итого 372 р.

[3] 25 дней по 14 р. — 350 р., плюс 35 р. премии, итого 385 р.

родного брата. Какая погода, снег, оттепель, мороз — я все знаю, какая сколько возьмет. Это я знал все! — с наивной хвастливостью добавил он. — Ну, а потом прислали нам трактора, а потом — машины. Конечно, раз-два и обчелся. Но мы даже не верили, что такая нечеловеческая глушь — полярный край, а ведь идет же трактор или, например, трехтонка! Ей-богу, не верили. Бывало, встанешь на сиденье, оглянешься вокруг, да куда же я попал, а?! Снег, он весь зеленый, как в кино, ему глубины — не две сажени. До чего дико — даже не верится: «А не во сне?» Другой раз ведешь машину, фары у меня зверские, знаешь — ацетилен, ведь, как чорт!.. Бывало, дашь свет, — а на дороге — зайцы. Прямо пятнадцать, двадцать штук, даже больше. Они, паршивцы, никогда огня не видали, не то что моих фар. Им, верно, интересно, но только и мне их жалко давить. Верно, хотя и не человек, а жалко. Даешь им, даешь сигнал, — а потом: э, не ходи босиком! Хожу, — но только они опять ни с места. Ну, вылезешь, шуганешь их палкой. Вот до чего были места дикие... — растроганно заключил он.

После некоторого молчания он продолжал.

— Сейчас что, я это и за дорогу не считаю... — он пренебрежительно высморкался. — А было? Я даже себе не верю сейчас, а ведь уж я ли не мучился: одиннадцать часов до раз'езда, а? Это двадцать-то километров? Не поверите.

— Да что одиннадцать, Костя... — заговорил высокий шофер, сидевший на подоконнике и обутый в щегольские желтые сапоги на шнурах. — А помнишь, как выехали в семь утра, приехали в девять вечера? Да нет, в десять!

— Пожалуйста, — обрадовался Костя. — Вот, Лисовский-то жив, он помнит...

— «Форда» на лошадях тащили... — с легким смехом подсказал Лисовский.

— «На лошадях»! — издевательски перебил его Костя. — Это что! А помнишь, как мы ввосьмером взяли твою машину на буксир и прямо на руках тащили два километра, — я еще потом три недели в больнице лежал...

— Всего было...

Тут только Опочинский заметил Отделкина и молча указал ему место рядом с собой, но тот только мотнул головой.

Наступило короткое молчание. Только рассказчик не мог успокоиться, он возбужденно, хотя и вполголоса, переговаривался со щеголем Лисовским.

Опочинский встал.

— Зачем мы затеяли все это?—заговорил он. — Все слыхали, как работали первые наши товарищи, ну что ли пионеры этого дела. Как они уважали наш транспорт и были фактически самыми передовыми ударниками. Не так ли? А ведь у нас в данный текущий момент ты не встретишь того энтузиазма, — это никуда не годно.

Он осуждающе посмотрел в правый угол, и Отделкин увидел там двоих шоферов, которые глядели на Опочинского засыпающими глазами. Отделкин знал этих людей, это были самые заядлые волынщики и буэотеры Салов и Малкин.

«Он раскусывает человека в один прием»... — одобрительно отметил Василий Антоныч, радуясь тому, что он не ошибся в Опочинском, хотя и пошел на риск. — «За путиловца трех других дают, да и то не берут»... — чванливо подумал он.

— Я слесарь, я рабочий, как и вы... — продолжал между тем Андрей. — Я был на всех фронтах, а послушал, что говорил здесь товарищ Локотов, и меня по коже продрал мороз: сидели на треске, работали, как звери, — а работали. Что же сейчас у нас? Да неужели же мы позабыли, где мы живем, на какой земле и в какое о с о б о е время?

IX

Опочинскому, как выдвиженцу, дали комнату в только что отстроенном рубленом доме. Комната была невелика. Она выходила окнами на озеро Белого Камня, второй этаж, квадратные окна, — веселенькая комнатка. Обставлена она была скупо, но зато все новое, пахло свежим жильем и той самой неуютицей, которая как бы приглашает тебя войти и обжить этот уголок.

Опочинский с удовольствием прошелся из угла в угол, потрогал стены, топнул ногой об пол и кашлянул: голос гулко отдавался по комнате.

Вечером того же дня к нему заглянул Иглов. Он сел на подоконник и закурил, перевешиваясь в окно.

— Как в ячейке? — спросил Андрей, не переставая передвигать с места на место

кровать, пустой шкафик, стол, — они были расставлены не по его вкусу.

С ячейкой все было в порядке. Иглов односложно ответил Андрею, замял окурок, бросил его в окно и собрался уходить.

— Ну, мы с тобой теперь соседи... — сказал он напоследок, уже держась за дверной крючок.

— Это как?

Оказывается, Иглова взяли работать в городской комитет партии, вот о какой переброске говорил он тогда, на крыльце барака.

Кровать Опочинский поставил у самого окна. Холод не пугал Андрея, наоборот, он не терпел спертого воздуха. Кровать заняла довольно много места.

«Двухспальная, так сказать... — самодовольно ответил он. — Чего доброго, женюсь»...

Вынося на кухню обрывки бумаги и всякий мусор, Опочинский увидел там Ипостасьева, того самого чудака, который, помните, тогда в столовой сокрушался об ижице. Он варил варенье, приплясывая вокруг примуса, поминутно облизывая ложку и обжигаясь. Громадная, рыхлая женщина двигалась около него, не занятая ничем.

— Да, Алеша же! Да спокойнее же! Обожешься! Квартиру спалишь!

Но он не слушал ее, продолжая увиваться около медного тазика. Тем не менее, Опочинский был замечен.

— Как будто знакомы? Проживаю здесь в качестве заварxивом треста. Очень рад встретиться.

Опочинский, промолчав на это и не задерживаясь, вышел из кухни, спустился вниз и направился в гараж. Дом был расположен так счастливо, что до гаража было всего минут пять ходьбы. У самых ворот внимание Андрея остановила машина. Радиатор ее был смят, левая фара снесена к чортовой матери, под колесами валялись большие куски стекла.

— Чья это работа? — даже побледнел Опочинский, входя в гараж. На плахе, поставленной стоймя, сидело двое шоферов, Салов и Малкин, закадычные друзья, и похабно беседовали о женщинах.

Малкин даже не обратил внимания на вопрос Опочинского, Салов же пожал плечами и вдруг обиженно закричал:

— Я чуть голову не свернул на этой таратайке!

— Голова это твое дело, — сухо заметил Опочинский. — Я спрашиваю про машину.

— Ничего, ничего! Я вот подам заявление, куда следует, это угроза безопасности!..

Салов городил явную бессмыслицу, первый признак человека, который испуган, но храбрится. Андрей пренебрежительно посмотрел на него и отвернулся: он никогда не мог спокойно взглянуть на труса.

— Я вот сейчас составлю комиссию, и если виноват ты...—внушительно заговорил Опочинский, — я заставлю отремонтировать «Круппа» за твой счет.

Он еще раз осмотрел повреждения: да, надо было здорово стукнуться лбом, чтобы так изуродовать этот отличный тягач. Главное, всего месяц назад его привезли сюда, ведь совсем еще новая машина.

— Значит, ты мне из жалованья покроешь все расходы.

— Не по кодексу, — сдержанно возразил Салов. Малков сидел попрежнему, не обращая внимания на разговор.

— «Не по кодексу»?.. У меня здесь свой кодекс.

Вот какие были у него работники.

Вообще, в гараже оказалось работы более чем до отказа. Опочинский пересмотрел весь свой людской состав и схватился за голову: в шоферы шел всякий, кому не лень. Ремонтные слесаря... Что говорить об их старшем, Сиделкине? Понимаете, остальные были просто с бору да с сосенки: вчерашние парикмахеры, пекаря, каменотесы. Вот уж поистине получалось: люди шли сюда, рассчитывая на дураков или на золотые горы, — кто мог разгадать этих людей?

Куда девался прежний Опочинский? Еще совсем недавно он проходил, бывало, по улице или там — на фабрике — он знал только свое дело, а вообще — хоть трава не расти. Сейчас он беспокоился за каждую малость. Ну, если положить руку на сердце, кто из нас занимается квартирными неприятностями? А вот Андрей сразу почувствовал какое-то беспокойство, приходя домой и улавливая своим безошибочным нюхом подозрительные мелочи.

Например, у Ипостасьевых собрались его знакомые, как говорил он, и проводили у него время безвыходно, почти до утра. Чересчур много было этих знакомых, это не нравилось Андрею. Ни одного вечера не про-

ходило без таких сборищ, хотя правду сказать, ни шуму, ни скандалов не шло из комнаты Ипостасьева.

Или в седьмой комнате, у агента по поручениям. К нему день-денской ходили незнакомые люди. Удивительно даже, когда он бывал на работе. Или это тоже были «знакомые»? Они приходили и уходили, не задерживаясь, — как вода. Иной раз ночью, возвращаясь из гаража, Андрей видел посетителей, пробирающихся от агента.

Андрей рассказал Иглову о своих наблюдениях. Тот, задерганный работой, приходил домой почти всегда около полуночи и, как ни хорошо владел собой, явственно обнаруживал самую отчаянную усталость.

— Да?—спросил он, валясь боком на кожаную кушетку. — Ты поговорил бы с Отделкиным...

Отделкин был ни причем, но как-то уже так повелось, что Опочинский привык по разным своим делам ходить к своему Василию Антонычу.

— А я уверен, что они торгуют бешеным молочком... — спокойно заметил Отделкин, угощая приятеля «Пушкой»: южный табачок кончил, прошли золотые денечки. — Не иначе, как бешеным.

— То есть водкой?

— А факт!..

Опочинский опешил. Слов нет, он не был святошей, — но ему казалось немыслимым, чтобы здесь, в городе, создавшем сухой закон, — чтобы здесь нашлись шинкари, — главное, шинкари под самым его носом.

— Именно, шинкари... — так же спокойно отозвался Отделкин. — А будь свобода продажи — им бы здесь и делать нечего... Ты попригляди-ка за ними.

Сиделкин же попрежнему валял дурака. Больше того, Опочинский с первых дней заметил, что Сиделкин пытается использовать свои приятельские отношения с ним. Понимаете, когда человек берет несколько дней подряд увольнительные, или, скажем, не выходит на работу вовсе, — ведь Опочинский не малолетний младенец, он отлично понимал, что еще немного—и в гараже начнется окончательный развал: ничего себе, скажут, новый заведующий! Развел, скажут, безобразную кумовщину.

Андрей решил основательно поговорить с Сиделкиным, а если надо — не смотреть ни на что. Но однажды как-то так случилось, что Сиделкин, уже в первом часу ночи, сам заявился к Опочинскому.

— Вот как, ты здесь? — Сиделкин огляделся кругом. — Дай бог на пасху, это и я согласился б на выдвижение...

— Ты все в бараке?

— Пока — да, — загадочно возразил гость.

Помолчали.

— Как ты нашел меня? — Андрей отлично помнил, что он не сказывал Сиделкину нового своего адреса.

— А тут мне один дружок... Может знаешь, — Ипостасьев?

— Небось за водкой ходишь? — деланно равнодушно спросил Андрей.

— Ну, водка!.. Это тут в седьмой комнате. А у Ипостасьева мы — того!..

И он сделал пальцами движение, как если бы сдавал карты.

— Ты как-нибудь заходи: у него чайку, подзакусить, стопочку зубровки, он варенье знаменито варит, — честно-благородно. Ну, конечно, и в «очко». Он молодец, он оборудовал.

— Вот дурак... — снова равнодушно заговорил Андрей. — Только беспокойство. Или он и сам — тоже?

— Избави бог... — зевнул Сиделкин. — Ему просто так — пять процентов с выигрыша.

Очень хорошо. Тут же, под боком — притон. Опочинский посмотрел пристально на Сиделкина и еле устоял против покушения встать и саданугь его в ухо.

Но через силу удержался. Только подумать, с кем он приехал сюда! Таких надо вырывать, как горький корень, чтобы от него не оставалось следа.

— Здесь каждый сам за себя, — философски начал между тем гость. — Места дикие, человека здесь мало, он здесь — в цене...

Андрей вздрогнул: вот, этот гад повторяет, — чьи он повторяет слова?.. Андрею стало неловко и тягостно.

— Радости? Радости здесь никакой нет. Честно скажу, уж если где человек человеку и волк — так именно тут. Я лично теперь плюю на все. Отец родной? Садись, выпущу без штанов, пожа-пожа!

Сиделкин огляделся опять и потрогал рукою оконную раму.

— Нет, у меня комнатуха поладнее твоей.

— У тебя?

— А то!.. — самодовольно усмехнулся Сиделкин. — Тут я одного техника стукнул. Он спустил все «альчики», играть — не с чего, часы — спустил. «А комнату»? Он, понимаешь, подумал-подумал, — да ведь не поверишь: махнул рукой, так в трех стах она и ушла ко мне. Ведь вот есть же такие типы!..

Буквально, волосы поднялись на голове у Опочинского: что такое творится? Какая-то полублатная речь, скотский азарт, в ход идет сокровище, которому здесь нет цены, — да где мы находимся, товарищи?!

Сиделкин, мурлыча себе под нос, подошел к шкафу, распахнул его и захлопнул опять. Приподнял угол одеяла на кровати и опять опустил. Он держался этаким инспектором.

— Ну вот... — сухо заговорил Андрей, словно диктуя Сиделкину. — Я тебя в три секунды могу передать куда следует, и тебя, и твоих картежников. Но я обращаюсь к тебе, как к путиловскому рабочему: — Карты? — Твое дело, если хочешь, — ломай себе шею. Но у меня на производстве ты должен ходить в струнке. Ты брось свое разгильдяйство, я из тебя обязан сделать образцовый пример.

Тут Опочинского охватила всегдашняя его самоуверенность и он по обыкновению нервно замотал платком. Андрей как бы принимал на себя полную ответственность за всю жизнь Сиделкина.

Когда тот ушел, так и не сказав ничего определенного, Андрей задумался, оставаясь у окна, глядя на дымчатые склоны горы и прислушиваясь к лязгающим звукам со стороны электростанции. Сегодня что-то не слыхать было взрывов, — видимо, выбирали руду в неисчерпанных еще карьерах.

«Ты пей, но дело разумей», — подумал Андрей. Но все несчастье состояло именно в том, что Сиделкин дела-то как раз и не разумел.

X

Пока да что, а Опочинский решил начать с людей. Он под тем или иным предлогом вызывал к себе шоферов, слесарей, трактористов и нащупывал каждого из них. У него имелась такая жилка: по какому-нибудь пустяку, ничтожной черточке, малейшему поступку—одним разом распознавать человека.

В конце концов, дело обстояло совсем не безнадежно. Чтобы на восемь десятков рабочих да не нашлось паршивцев?—Нет, так в жизни не бывает. Но остальные были обычными людьми, какие составляют везде большинство. Если наладить с ними, то гараж из прорыва выйдет.

Андрей иной раз мысленно перебирал тех, которых он знал на Путиловском заводе. Что ж, обычный середняк. Он выходил на первые места только потому, что с ним достаточно возились. Здесь же люди были только р а б о ч е й, так сказать, — т я г о в о й силой, и никому не приходоило в голову взглянуть на дело иначе.

— У нас думают так... — сказал он однажды Локотеву, — что здесь нужен мелкий в с я к и й человек, невзирая, что он думает. Пустяки! Здесь требуется человек п о д х о д я щ и й, не рвач, не гад и не тот, кто из-за своей шкуры ставит ребром в с е! Нет у нас того коллективного духа.

Опочинский говорил это, видя перед собою какого-то человека, который приходит сюда, который хочет все захватить, которому одинаково — убить приятеля, споить его до смерти, обыграть в карты.

Этот человек приходил сюда с неспокойным сердцем, с бегающим взглядом, с камнем за пазухой.

Бывают же такие люди! Андрею настолько ненавистными казались они, что ему даже и в голову не приходило припомнить самого себя, каким он был здесь еще в первые дни. Ну, конечно, не картежник, не бандит, — дело не в этом. То, что называлось «золотой лихорадкой», — разве это не было в свое время болезнью Опочинского? Правда, кратковременной, но всякая болезнь—это болезнь, и этого нельзя забывать.

И вот Андрей позабыл все это. Ему начало казаться, что он был всегда таким, как сейчас, что никакие упреки не относились к нему и что он всегда имел право на уважение, приобретенное им теперь.

Что касается Локотева, то он оказался одним из тех, кто с самых своих ранних дней уходил из дому по дорогам гражданской войны. Уже пятнадцати лет он пребывал в числе бойцов незабываемой Таманской армии и прошел весь ее трудный путь, ни разу не охнув.

Понятно, что он умел сжимать зубы и здесь: когда он явился на это голое место и увидел, что здесь за работа, — он тысячу раз вспомнил босые, голодные и мучительные походы по Черноморскому побережью.

— Они — что? — пренебрежительно говорил он сейчас. — Им ничего не пришлось увидать. Они выросли потихонечку да не спеша, — а кто прошел весь восемнадцатый-девятнадцатый год, тот смотрит на дело иначе.

— А Лисовский... Как он? — вспом Андрей этого щеголя.

— Он оттуда ж, с таманцев. Он из офицеров, потом работал у нас по связи, — мужик замечательный, хотя из дворян, но это ничего, бывает. Демобилизовались почти что вместе, он и говорит: «Что, Костя, делать-то будем?» Я, говорит, с шестнадцати лет мобилизован (он немного постарше меня...). Хотел бы отдохнуть от армии, — а если работать, так никакой квалификации. Что же касается меня — я уже к тому времени случаями да урывками присмотрелся к машине, шофер заболеет — мне же и везти, бывало, того же Лисовского. Словом, попривык. Для меня это дважды плюнуть, я всякую машину ухватываю легче букваря.

— По-моему, — одобрительно вставил Опочинский, уже с новым чувством оглядывая Локотева: — это был с в о й.

— Ну вот... — продолжал шофер, зевая и похлопывая себя по открытой, загорелой груди. — Ванька Лисовский, конечно, ко мне. Где я поступаю на машину — беру его помощником. Другой раз и никакого помощника не требуется, — все равно: упрусь — возьмут. Так и живем... Последнее время мы с ним в Питере на таком работали.

— И он? Самостоятельно?

— Научился, у него такой характер: ученье ему удалось с трудом, но зато, если уже далось — не приведи бог: как фокусник. Машина у него только что на задних лапках не служит, честное слово. Он на ней, как на рояли, играет. У него в смысле тонкости — прямо талант.

Локотев уже не мог остановиться. Видимо, он принадлежал к категории людей, не считающей пороком привязанность к товарищам. Поэтому он сейчас старался вспомнить все, что было хорошего в Лисовском.

— Но с партией тут у него мертвый ход, мат, если говорить по-нашему... — Локотев говорил с Опочинским тоном, общепринятым в разговоре партийца с партийцем. — Не вступает. И награды у него фронтовые имеются, и премии он в откомхозовском гараже получал, — он ведь у меня рационализатор, изобретатель, — и наилучшая характеристика. Да напиши он любому из наших таманцев—в момент! Но он у меня... — голос Локотева зазвучал насмешливо, хотя и не без нежности. — Он в этом смысле у меня аристократ: приди да поклонись. — А то, говорит, подумают, что я примазываюсь. — А какое «примазываюсь»? Даже и думать того нельзя.

Опочинский мысленно сравнивал себя с Лисовским, и он тоже определенно начинал ему нравиться. Вообще, оба они отличные ребята. Все же Лисовский, вероятно, в силу некоторого сходства характера с ним, Опочинским, — Лисовский заинтересовал его, пожалуй, даже больше Локотева.

— Так нельзя... — словно мимоходом сказал Андрей, вслушиваясь в смысл своих слов. — Раз ты свой, — почему ты не идешь в партию?

— Я с ним бьюсь восьмой год. Вот именно: почему не идешь?

Андрей пошел в свою контору, мысленно перебирая весь разговор с Локотевым.

Раз он свой — почему не идет?» — эти слова целиком относились и к Андрею. Он хочет забыть их, точно докучное воспоминание, но они не переставали беспокоить Андрея. — «Приди да поклонись?»

Табельщик в конторке передал эту бумажку из треста. В ней говорилось, что гараж день за днем проваливает все задания по вывозу руды из карьеров, что новые машины придут только осенью, а сейчас надо во что бы то ни стало выйти из положения. Под личную ответственность завгаражем надо было немедленно приступить к ликвидации прорыва, основными причинами которого, по мнению треста, были: безобразная трудовая дисциплина, массовые простои, черепашьи темпы ремонта.

Бумажка была написана толково и обстоятельно, ничего не возразишь, — только в ней не было ничего нового.

Он сложил ее вчетверо, постоял немного и, когда вышел в мастерскую, то вдруг ощутил прилив тоски. «Вдруг» не в смысле «неожиданно» или «неизвестно» почему. Нет, просто он решительно представил себе, как надо много делать всего и почувствовал, что ему не справиться. У него в руках чувство

валось достаточно силы, чтобы взять ключ и подвернуть гайку. Но здесь нужно было переделать всю основу, на которой стоял и кое-как существовал гараж. Андрей, получив этот документ с безжалостно подытоженными фактами, только сейчас понял, как мало он сделал, уже взяв гараж в свои руки.

«Почему такое»? — и ответа не находилось.

Единственно, кого он взял из коммунистов гаража, — Локотева, надо было отозвать в сторону и поговорить с ним обо всем. Видишь, как меняются люди: разве когда-либо Андрей просил помощи со стороны? Разве он не обходился всегда только своими силами?

Никому не доверявший своей машины Локотев самый пустяк всегда делал сам. Сейчас он пришабривал мотылевый подшипник. Руки у Локотева были подобраны по принципу часового механизма: они знали свое дело не хуже его. Подшипник не ворохнулся, зажатый в тисках. Опилки оседали на них, — так ведь это был золотой песок, а не опилки. Вот как работал Локотев. Опочинский не мог без уважения посмотреть на этот подшипник.

Локотев прочел трестовское отношение, развернул тиски и сдул опилки.

— У меня с тобой легонький разговор.

— Моментально, — согласился Локотев.

Они пошли по коридору. Слесаря, возившиеся у своих верстаков, провожали их насмешливыми взглядами: дескать, «наш»-то, глядите-ка на него...

Локотев попросил табельщика пройтись по свежему воздуху, усадил Опочинского против себя и приготовился слушать. Похоже, что Андрея самого вызвали сюда, а заведующим-то был этот рябой, ладный паренек.

— Считай: двадцать один шофер. Так? Тракторнстов — семь. Восемнадцать слесарей. Я говорю про наших, про тиражных грузчиков, — двадцать восемь, что ли? Ну, вот и надо обернуться.

Андрею было стыдно сознаться, что он не знает, с какого края начать оборачиваться. Не итти же к Отделкину и на этот раз. Хватит, поэксплоатировали Василия Антоныча. Не показывая растерянности, начавшей охватывать его, Андрей решил заговорить издалека.

Все-таки, в к[illegible]нной обстановке как легче. Как на ладони. А здесь? Надо с тремя головами родиться!..

— Здесь, конечно, другой разговор, — плохо слушая его и думая о своем, бормотал Локотев. — Я вот итожу: партийцев — раз, два, три — значит трое. Комсомолу — раз, два. Теперь просто актив: Лисовский, два, три, четыре, — значит, четыре-четыре... Что ж? Три, шесть, — семь человек! Из семидесяти пяти — семеро. Надо обернуться.

Опочинский зазвенел карандашом по чернильнице.

— Ну, мобилизнем весь актив. Так сказать, все кадры. Глядишь, оторвем еще семь-восемь душ. О-о, уже половина!

— Из семидесяти? Половина?

— Половина, — убежденно повторил Локотев. — Мало, — но зато крепкий кулак, а тех — шестьдесят, да, да каждый сам за себя, просто разброд. И мы возьмем свое.

Уверенность — дело хорошее, но Опочинскому было мало одной уверенности Локотева.

— Я знал своей интуицией, что у нас творится форменная вакханалия...—как и всегда в подобных случаях, полукнижным языком заговорил Андрей. — Она (он взмахнул бумажкой)... Она меня ничем не поразила, я все знал. Однако ж она подтолкнула, это не есть грех сознаться.

Локотев попрежнему плохо слушал его. Он невнимательно перелистывал чистую конторскую книгу. В стеклянную дверь заглянул табельщик и демонстративно отошел опять.

— Давай, зайду в союз, в городской комитет,—поговорим насчет субботника: А, недурственно?

Опочинскому трудно было возразить против этого единственного выхода. Только он предпочитал принять предложение молча. Иначе, по его мнению, выходило, что без помощи молодого шофера, он, Андрей Опочинский, оказывался бессилен. Этого не допускал он, пуще глаза дорожа своим путиловским авторитетом.

Вот почему он решил, как только выберет время, пройти к Отделкину и со всей серьезностью заявить ему, что, вероятно, его считают неподходящим завгаражем, если первый встречный берется помогать ему. Но, по зрелом размышлении, Опочинский оставил свое намерение: ведь он сам призвал Локотева и вряд ли от этого могла пострадать работа.

«Все потому, что я беспартийный, — вот к какому выводу пришел, наконец Андрей. — Мне не раз придется звать такого вот Локотева и просить его помощи».

Меньше всего было бессилия в рассуждениях Андрея. Нет, он был умным человеком и понимал, что чем дальше, тем труднее ему жить одиночкою, голым человеком на голой земле.

XI

— Понятно, дело твое, ты здесь — начальник... — осторожно заговорил, наконец, Локотев, хорошенько подумав над тем, что ему сейчас рассказал Опочинской. — Но я бы лично — воздержался: обвинят в зажиме...

Как раз перед этим Андрей вызывал некоторых шоферов и вкратце об'яснил им положение с промфинпланом гаража.

— Программа определенно проваливается... — сказал им Андрей. — Мы подводим рудники. Подумайте, ведь мы идем на экспорт.

Он даже сказал «на экспорт».

После этого с грехом пополам появились четыре подписи на листке, исписанном рукою Опочинского:

«Мы, рабочие гаража горного треста Белый камень», всецело сознаем тот прорыв, в котором состоит отгрузка руды из-за недостаточной дисциплины и загрузки нашего подвижного состава, мы считаем, что необходимо создать субботник, не считаясь с рабочими часами, дабы ликвидировать этот позорный прорыв».

— Обвинят в запугивании... — решительно повторил Локотев. — Это не есть меры, Андрей Ильич, уверяю.

Вскоре пришел Лисовский, потом — председатель и секретарь рабочкома. Посидели немного, перекинулись несколькими фразами, помолчали, — кто был на работе, кто — выходной. Одним словом, никакого актива больше не предвиделось.

Пора было итти открывать собрание. Из красного уголка уже слышался раздраженный гул. Так бывает всегда, когда кого-либо ждут, а его долго нет. Опочинский уже твердо решил про себя, что, если субботник провалится, — он, не говоря худого слова, соберется и незамедлительно смотается в Ленинград. Кому приятно оставаться здесь после того, как тебя обольют помоями?

Он ни с того, ни с сего начал выворачивать карманы, как человек, потерявший важную вещь, озабоченный потерей и об'ясняющий этим свое теперешнее состояние: дескать, всегда что-нибудь да случится.

Наивная уловка, она, тем не менее, помогает человеку почувствовать себя на месте. Так и сейчас. Андрей потянулся, хруснул лопатками и, делая насмешливое лицо, первым тронулся из конторки. Пока ничего радостного. Даже актив, — скажите на милость, где этот актив?

В красном уголке стояла такая духотища, что хоть святых выноси. Что же могло получиться, когда в этой тесноте была использована даже урна для окурков: положив ее на бок, на ней расположились трое. Вот какая это была теснота.

Председатель рабочкома взял с середины комнаты столик и, наступая товарищам на ноги, перенес его ближе к двери.

Собравшиеся оживились, заговорили и зашумели, — так бывает всегда перед тем, как успокоиться вовсе.

Салова и Малкина до того не терпели рабочие, даже свои шоферы из числа «вольнщиков», что приятели не уживались ни в одном общежитии. В конце концов и самым неразливанным нашим друзьям надоело мыкаться с топчана на топчан, из барака в барак,—они просто-напросто обосновались в гараже. Каждый из них, благо, был невелик ростом, укладывался на сиденьи. Места почти хватало, тепла под вьючным брезентом хватало, а наступят холода, думали друзья, там будет видно.

— Ефимочка... — хрипло откашливаясь, поднимая голову и отзеваясь, заговорил Салов. — Ведь без нас не откроют. Пошли.

Малкин быстро проснулся, автоматически поправил сбившуюся на бок кепку и мгновенно направился в красный уголок. Салов, что-то бормоча и поминутно окликая приятеля, заковылял за ним. Именно заковылял, потому что у Салова всегда что-нибудь происходило с ногами (от простуды, по его словам), и он ходил точно инвалид самой последней категории, хотя в остальном он был крепким парнем.

Друзья кое-как протискались в комнату и остановились неподалеку от двери.

— Ефимочка... — пренебрегая тем,

собрание уже началось, громко сообщил Салов. — Ведь говорил: опоздали.

На них зашикали, но приятели знали свое дело. Они расселись прямо на полу, у самых ног Опочинского. Лисовский и Локотев сидели по бокам его, единственные люди в гараже, которые свысока смотрели на приятелей. Не было случая, чтобы эти чистяки даже поздоровались с ними.

«Ах вы, паразиты... — думал про себя Салов. — Вы околачиваетесь около заведующего, наш брат — рабочий, небось, не околачивается, это можете только вы...»

Он видел заведующего впервые так близко. Его лицо, перекрещенное шрамом (впрочем, уж мало-заметным), бледнело, когда он повышал голос. Тогда шрам наливался кровью. Это делало лицо Опочинского просто страшным.

«Как разукрасили чорта... — злорадствовал Салов. — Хорошего человека так не распишут, сукин ты сын»...

Малкин, как и всегда, сидел молча, положив подбородок на колени и тихо покачивая носком сапога.

— Или так: подхожу к воротам гаража, вижу машину. Чья? Своротен радиатор, фары — вдребезги, с рессорой что-то такое... Как это можно было так разбить? Это уж если специально, если с умыслом,—наскочить, допустим, на стенку или на столб. Только так. Хорошо, я починю машину за счет шофера, но ведь машина-то стоит! Руда-то—ведь лежит она!.. С этим надо считаться. Дело не в том, что я высчитаю с шофера семь-восемь червонцев...

— Ефимочка, — уже всерьез заговорил Салов. — Да он и на самом деле!? Да что же это за обращение с пролетариатом?! напоследок просто завопил он.

И, как всегда бывает с людьми, не привыкшими себе отказывать ни в чем, — он поднялся на свои кривые ноги и повернулся к Опочинскому.

— А ты дал мне эти восемь червонцев?—ты только своим платочком пальцы обмахиваешь, золотыми зубами щелкаешь, бюрократ!

Опочинский обидно и невнимательно улыбнулся. Этого Салов не мог вынести. Он подскочил к заведующему и, не помня себя, сгреб его за шиворот.

Локотев легонько толкнул Салова. Тогда тот, не разбирая ничего, встряхнул Опочинского и размахнулся для своего привычного удара. Но Опочинский, хотя и был старше Салова лет на двенадцать, — мгновенно и сильно, каким-то особенным движением перехватил Салова за кисть руки, дернул его к себе и подхватил под талию, не допуская его упасть наземь.

С интересом ожидая развязки, из угла комнаты смотрел Сиделкин. Малкин тоже приблизился к Опочинскому, внимательно присматриваясь к нему. Ожидая всего, Локотев мигнул Лисовскому и они оттерли Малкина в сторону. Не в пример Салову он медленно накалялся, но в себя приходил быстро.

Собрание, заинтересованное, так сказать, внеочередным вопросом,—уже шумело, двигалось, почти каждый из рабочих громко толковал с соседом. Двое из первого ряда взяли Салова под руки и безжалостно выволокли его вон из комнаты. Опочинский с прежней насмешкой посмотрел ему вслед.

«Голубок! — казалось, хотел сказать Андрей. — Это кстати, что ты сунулся, куда тебя не просили. Спасибо, милый друг»...

И он заговорил, кося глазами и делая голос еще более суровым, чем обычно:

— Видали? Вот он, конкретный прорыв. Глядите его, щупайте его. Вчера он ломает машину, — вредительски ломает, обследуй, кто хочешь. Сегодня он набрасывается на человека при исполнении служебных обязанностей. Что он может сделать завтра? А из-за таких молодцов у нас срывается промфинплан. Я ведь вот как ознакомился с нашим наличным составом, — честное слово, можно гордиться! Но вот подобные людишки — они нас и тянут в прорыв...

Он, видимо, ожидал, что, сыграв на самолюбии рабочих, он разом поведет их, куда ему только будет угодно. Но собрание, так быстро возбудившееся, уже успокоилось и выжидательно прислушивалось к словам заведующего.

Сиделкин посмеивался, как если бы все, что происходило здесь, происходило по аккуратнейшему его расписанию. Рядом с ним облокотился о косяк двери незнакомый рабочий, один из партии ленинградцев, только что присланных с «Красного путиловца», принявшего шефство над «Белым Камнем», как ударной стройкой.

В суете разнообразных своих дел, Опочинский даже не мог вырвать полчаса, чтобы забежать к ленинградцам, хотя стан-

дартный дом, где их разместили, был почти рядом с квартирой Опочинского, которого, кстати сказать, хлебом не корми — дай только ему поговорить с товарищами из своего Ленинграда.

Андрей любил этот великолепный город, точно собственник. Он и вспоминал его, и гордился им, как полноправный хозяин. Но последние дни несколько приглушили его чувство. Было не до него.

Ленинградец, видимо, любил показать себя. Об этом свидетельствовали почти новенькая желтая кожанка, несмотря на теплую погоду подбитая светлой овчиной, и кубанка нежнейшей голубоватой шерсти. В руках он вертел фарфоровую трубочку с шелковой кистью на мундштуке.

«Где это я видел его?» — думал Опочинский.

Собрание выжидало попрежнему. Тогда Опочинский решился на совершенно удивительный шаг. Он сдернул с себя толстовку, мигом затем снял крученую, желтую сетку и громко в нетерпении сказал:

— Берите, трите мне спину хотя бы рукавом, — посмотрите, что делали с нами...

Потом, не дожидаясь, выхватил рукав толстовки, дотянулся до спины и, краснея от напряжения, сильно провел рукавом по коже. Кожа на момент порозовела, потом пошла белыми пятнами и через каких-нибудь пятнадцать секунд на этом месте, вдоль и поперек, обозначились багровые почти черные полосы.

— Его превосходительство, генерал Сидорин, порол меня полтора часа, а я хоть бы охнул! — словно завидуя самому себе, начал он. — Вы же ничего не видали такого, вы обжились по запечьям, у нас голова не болит. Даже совестно представить. Ай ребята-ребята!..

На местах зашевелились, но никто не сказал ни слова. Локотев подобрал с полу толстовку и подал ее Андрею, который, опустив глаза, начал приводить себя в порядок.

— Сколько у нас этого равнодушия... — уже менее уверенно заговорил он опять, не поднимая глаз. — Нет, про нашего брата русского правильно говорится...

Что именно говорится про русского, он так и не досказал, потому что в этот момент к столу подошел ленинградец в кожанке и с тем же наигранным самообладанием, которое отличает человека, впервые попавшего в незнакомую обстановку, приготовился говорить.

— Я — Караулов, которого послали сюда путиловские рабочие... — резко взмахнув кулаком, несколько свысока произнес. — Одним словом, в ваших прорывах не виноват, поскольку три дня приехавши, но все равно, я иду на субботник. Куда пошлете?

Среди собравшихся началось движение.

«Вот оно»... — притаился Андрей, осторожно застегивая обшлага толстовки. Ему казалось, что перелом уже создан, что сейчас только успевай записывать желающих.

Однако попрежнему никто не двигался с места. Только в комнате начались разговоры, словно собрание окончилось и теперь можно было погуторить от нечего делать. Двое грузчиков, сидевших рядом с Опочинским, начали громкую и откровенную беседу о своих семейных делах, поминутно вставляя в разговор горчайшие и равнодушные ругательства. Как будто ни собрания ни обсуждения важнейшего вопроса — ничего не происходило здесь.

Еще немножко и Андрей, вероятно, вскочил бы и самыми распоследними словами обозвал бы всю эту ненадежную публику и, хлопнув отчаянно дверью, ушел бы вон чтоб не возвращаться больше сюда, — такой у него был характер.

Но Локотев вышел на середину комнаты и поправил свой узенький кожаный поясок.

— Ведь каким гадом и сволочью надо быть, — с напором сказал он, играя тяжелою бляхой ремня, — чтобы в это время спокойно поплевывать и легонько смотреть кругом! Я вот обещаюсь: пока я не выведу тройной нормы, — я не вернусь в гараж! Я ни разу не стукну молотком по моему «Автокару», — он у меня без поломочки, без ошибочки проработает свое. Ребята, да где ль разве можно? Возьми хоть Ваню Лисовского...

— Безусловно... — сказал Ваня, не слушав до конца.

— Не может быть этого, чтобы мы не поняли чего от нас нужно... — опять высокопарно заговорил Караулов. Похоже, что тон его, слов происходил от сознания исключительности его роли путиловца. — Ленинградцы, — конечно мы выйдем все, как один.

— Ну и выходи, как один! — истерически закричал Садов, опять оказавшийся

здесь. — Где ты был, когда мы страдали и помирали в цынге? Когда сидели на гнилой капусте? Где ты был, пижон?

Караулов быстро справился с коротким своим замешательством и шагнул к нему. Но Малкин коснулся локтем Караулова.

— Виноват... — угрожающе сказал Малкин. — Ты не говори только того, чего не было, Салов.

Он быстро переменился. С ним произошло что-то такое, чего не могли понять ни Опочинский, ни Локотев, ни, пожалуй, другие. Салов заговорил громким шопотом, но Малкин, опустив голову и тихонько покачиваясь всем своим корпусом, уже замолчал. Салов продолжал сердитую свою, малосвязную речь, Малкин не отзывался попрежнему.

— Я, конечно, сделал не совсем правильно... — снова заговорил Опочинский, покрывая шум в комнате. — Генерал Сидорин здесь ни причем. Только вот мне обидно, что приходится разговаривать такие слова, как будто бы вы не понимаете ничего и вам не дорога эта местность.

— Местность, туды ее в господа-бога!.. задиристо опять прокричал Салов, но никто его не поддержал. Он попрежнему громким шопотом заговорил с Малкиным, а тот все сидел невнимательный и угрюмый.

Тогда Опочинский, уже заправив рубашку и туго перетянувшись ремнем, произнес голосом, в котором явно сквозило желание поскорее отделаться от неприятных обязанностей:

— Кто за организацию субботника?

Всего несколько человек подняли руки.

— Большинство! — взволнованно крикнул Лисовский. — Все в порядке!

Ему хотелось смять, скомкать остаток собрания, он не верил, что субботник проваливается.

Рабочие глухо заволновались.

— Ты не валяй дурочку... — пренебрежительно оборвал товарища Локотев. — До большинства — как до Мурманска.

— Здесь до большинства, как до Мурманска, — с горечью повторил Опочинский. — Эх, ребятки-ребятки, какие вы еще гады, и зачем только меня всадили в этот двуклятый гараж?

Он деловито собрал бумаги, не глядя, сунул их в карман толстовки и, молча расталкивая рабочих, вышел на воздух. Сразу на лице Андрея выступил тяжелый пот и заскользил по подбородку.

Сиделкин нагнал Андрея и дружелюбно заглянул ему в глаза.

— Видал публику?

— Ну, а ты-то? — со стыдом, словно опозоренный навек, спросил Андрей. — Ты-то хотя — придешь?

— Со всеми, — пожа-пожа. А так — мне не больше других надо.

Выражение его лица показалось Андрею до того мерзостным, что если б не его официальное положение, — он просто стер бы этого Сиделкина в муку и пустил бы его по ветру.

Через силу Опочинский промолчал. Он почувствовал, как он дрожит и как зубы его легонько и тоненько лязгают.

Он слышал отчаянный шум из красного уголка. Он заглянул в окно. Вокруг стола толпились рабочие, они расписывались на каком-то большом листе бумаги. Лишь немногие стояли вдоль стены, выжидательно поглядывая на толпившихся.

Андрею было все равно. Он махнул рукой, спустился с крыльца и направился к озеру, которое разлеглось невдалеке, отчетливое и ясное под равнодушным полярным солнцем.

Андрею казалось, что его настигает шум из красного уголка, что он становится все громче и яростней и что от этого шума некуда деться.

На подножке грузовика, шедшего на рудники, Андрей поехал до третьего карьера. Он был самым большим по залежам минерала. Его добывали здесь прямо с поверхности земли. Лучшие бригады работали здесь — однако приходилось иной раз перебрасывать их на подсобные работы, писать простои, сокращать иной раз рабочий день: карьеры никогда не освобождались от породы, все бремсберги были забиты, залиты ею сплошь: не было транспорта.

Опочинский слез еще у буровой вышки. Она стояла на самом почти острие невысокого пика, чуть-чуть в стороне от крутой дороги. Вышка молчала. Большое пятно нефти лежало под ногами Андрея. Стояла погнутая лопата, которую с размаху воткнули в землю.

Он подошел к самому краю обрыва, в глубине которого копошились люди, это было довольно глубоко. Лица рабочих ка-

зались одинаковыми. Люди бесшумно взмахивали кирками. Двое устанавливали рейки с веревкой, натянутой между ними. И ни малейшего звука не доносилось снизу.

Андрей прислушался. Ему начало казаться, что сейчас загрохочут взрывы, что вся эта тягостная тишина только кажущаяся, что за эти несколько мгновений он и не мог услышать ничего особенного, что сейчас, настойчиво думалось ему, обязательно загрохочут взрывы, застонет земля, вздрогнет лужица нефти, вот эта лужица под ногами.

Но все было тихо кругом, только бесшумно открылась тесовая дверь вышки, и оттуда наполовину высунулся высокий машинист в брезентовой спецовке, в шоферской шапке. Он пристально оглядел Опочинского и затем отвернулся, выставив наружу свой локоть и правую ногу.

На ступеньки поднялся серый, облезлый пес и невнимательно лизнул сапог машиниста.

Андрей тоскливо огляделся. Внизу, за полоской синего леса, виднелась узенькая черточка блестевшего под солнцем озера. Крыши горняцкого поселка белели за ним. Кое-где поднимался дымок и издалека доносились паровозные гудки.

Дорога круто срывалась в сторону леска, она выглядела совсем белой. Отроги хребта, окружавшего котловину с поселком, озером и леском, — стояли медлительной стеною, и Опочинскому казалось, что то место, где стоит он, — выше всего и что поэтому он стоит надо всем, но не слышит работы, и что в самом-то деле — люди с обычным ожесточением делают ее, они дробят горы и рвут их динамитом.

— Здесь только дурак не сумеет работать... — внезапно раздался голос за спиной Андрея. — А мы киснем, мы сидим на золоте и пухнем от нашей бедности...

Это говорил машинист. Собака стояла около, обнюхивая ноги Андрея.

— Гараж, в господа-бога их мать!.. — с силой продолжал машинист. — Там засели чиновники и шпана...

Андрей, не отвечая ни слова, двинулся с места, миновав вышку, и мелким кустарником вышел к узкоколейной ветке, расположенной вдоль неширокой долины. Вагонетки, полные руды, стояли одна за другой, оставленные прямо здесь же, на рельсах.

Мелкая руда лежала под ногами. Подошва высокого холма направо вся была как бы залита взорванной, безжалостно раздробленной породой. Видимо, ее никак не успевали вывозить отсюда, — редкие кустики серо-зеленой травы, даже какие-то цветы выбивались из нагроможденной породы.

Кое-где бродили рабочие и медлительными ударами кирок разбивали камень покрупнее. Похоже, что люди все-таки не хотели сдаваться без боя.

Вся эта картина больно удивила Андрея. Он и раньше знал, как плохо обстоит дело в горах. Но раньше получалось, что горы — сами по себе, а работа, которую делал он, — сама по себе. Нет, оказывается, все было связано очень тесно.

Он постоял еще немного, поставив правую ногу на большой кусок руды, посмотрел на дальние горы, испещренные крупными пятнами снега, на синее солнечное небо и задумчиво, комкая платок, направился в обратный путь.

На дверях барака, где была устроена временная столовая, ярко выделялся разрисованный лист фанеры. Шофер, с веселым лицом и багрово-синим носом, размахивал руками, сидя на своем месте, а машина, теряя по пути колеса, мчалась куда-то под откос.

«Создадим сквозную бригаду по ликвидации прорыва по транспорту» — было написано на этом плакате.

Андрей позеленел. Вот как смотрят на гараж здесь, в горах.

«Я ничем этого не заслужил», — хотелось оправдаться Андрею, но дело было не в оправданиях и не они могли помочь оживить карьеры, поднять бесформенные нагромождения породы и пустить их в ход.

XII

Всю ночь он проворочался с боку на бок на своей мягкой, холостяцкой постели.

Раньше он хотел отнестись к Ипостасьеву и к тому, что у него творится, с полным безразличием.

«Пей, но дело разумей»... — если помните, так думал Андрей. Видите ли, сейчас все это оказывалось иным: немыслимо одновременно пить и дело разуметь. Одно из двух. Возьмите хотя Сиделкина.

Тут уже Андрею стало невмоготу. Он вскочил с кровати, кое-как натянул брюки

и босиком вышел в коридор. Он громко постучал в дверь к Ипостасьеву. Не дожидаясь отклика, толкнул дверь, крючок звякнул о скобу, и Андрей вошел в комнату.

Жена Ипостасьева вскрикнула, — мощная, точно уездный пирог, жена, — сам Ипостасьев засуетился около стола, хотя на нем не было ничего, кроме окурков, стаканов с недопитым чаем, колбасной шкурки.

— Вы здесь развели Владимирский клуб, — с наслаждением произнес Андрей, не отрываясь взглядом от полураздетой женщины. — Вы пускаете людей в трубу, спаиваете, выгоняете их на улицу, в чем мать родила?..

Он со все возроставшим, жестким удовлетворением говорил эти слова, усиливая и без того значительный их смысл.

— Сиделкин у вас ночует и днюет, а как субботник — его нет? Я вас самих выпущу в трубу, граждане мои распроприятные...

Он без малейшей запинки произнес это косноязычное слово и увидел, как Ипостасьев буквально задрожал. Опасаясь какой-либо нелепой сцены, Андрей мельком еще раз взглянул на женщину и вышел.

Не было и четырех часов, когда он встал окончательно, запер за собой комнату и спустился вниз. На крыльце, на перилах сидел Ипостасьев. Он умоляюще сложил руки, но Опочинский выругался и прошагал дальше.

Он не рассчитывал сейчас увидеть в гараже кого-либо. Он, с некоторой боязнью, потянул дверь за ручку, она медлительно и без малейшего скрипа распахнулась. К его удивлению под машинами и около них копошились люди. Но слесаря были только у немногих верстаков.

Лисовский, Локотев, Малкин и еще трое незнакомых Андрею шоферов были здесь. Этого мало. Собственно, здесь были те, кто вчера голосовал за субботник.

— А где этот?.. Новенький? — спросил Андрей, не видя здесь Караулова. Андрею отлично вспомнилось его шикарное обличье.

Оказывается, ребята уже распорядились. Они послали его в бараки, где жили рабочие гаража.

Малкин копошился около своей машины. Странный человек, никто его не принуждал, однако, он пришел сюда и работал не хуже всякого.

Опочинский заторопился туда, где по его предположению был сейчас Караулов. Он нашел последнего в седьмом бараке. Андрей остановился в дверях так, чтобы его не заметили. Весь правый край барака был хорошо виден отсюда. Шеренга топчанов удалялась к противоположной стороне.

Рабочие уже просыпались, поворачивались, протирали глаза, когда ленинградец заговорил во весь голос:

— Нынче в два часа ночи товарищи шоферы нашего гаража... — он прочел по записке немногочисленные фамилии, — слесаря такие-то... — он назвал и их, — и грузчики такие-то... вышли на ликвидацию прорыва. Они сейчас готовят транспорт в ход, дабы, так сказать, к шести часам выйти в горы.

Он помолчал немного, шевельнул плечом, поправляя кожанку, и добавил тоном окончательной уверенности:

— Ну и факт: пока не рассосется пробка, — они не вернутся домой, в этом надо поверить, даю вам благородное, краснопутиловское слово.

Положительно, этот щеголеватый человек, как проклятый, чванился своим прошлым.

«А глядишь, тебя струганули с завода, как рвача, а?» — как бы меняясь своей ролью с Отделкиным, подумал Андрей. Ему было неловко за безудержное чванство новичка.

Однако Андрей увидел сейчас то, что заставило его замереть: рабочие начали вставать, поскрипывая топчанами, откашливаться и одеваться, хотя до начала работ было еще далеко. Ленинградец вышел обратно, он не заметил Опочинского, который стоял в теневом углу коридорчика. После его ухода в большой комнате барака начались разговоры, утренние разговоры с ленцой и позевыванием.

— А чорт с ним, пойдем сейчас, хотя моя очередь с вечера...

— С двух часов, — не терпится им!..

— Специально нас подкусить...

— В краску вгоняют, дьяволы...

— Да ведь твоя же машина в ремонте?

— Придется подогнать его, неловко...

Потом разговор перешел на Опочинского.

— Он молчит-молчит, — но видал спину-то?

— Ну! Спина! это прямо карта-трехверстка.

— Вот-вот, разрисована, чисто карта...

— Да ведь старые партийцы все такие.—

их всех пороли, — убежденно сказал румяный гигант с удивительно пушистыми, расходящимися в стороны усами.

И он начал расказывать довольно путаную историю тоже о каком-то старом партийце.

Опочинский тихонько и смущенно кашлянул, поднося руку ко рту. Его принимают за большевика, да еще за старого. Дело плохо, Андрей, ты явно залежался в беспартийном своем положении.

Он вернулся к гаражу. Там уже, в дальнем углу, ворчал «Автокар» Локотева, — он сиял сейчас от ослепительной чистоты. Локотев бензином протер стекла будки, а ее вымыл теплой водой. Будка теперь светилась, точно заново приняв свою зеленую окраску. Дьявол бы побрал этого Локотева, он ухаживал за грузовиком точно за девушкой.

Малкин свертывал домкрат. Шасси еле заметно опускалось и, наконец, мягко стало на шинах. Малкин для очистки совести раза два качнул воздух, — шины были туги, как антоновское яблоко, все было в порядке.

Без четверти шесть в гараже появился Отделкин. Он пришел, когда уже около редкой машины не было человека. Из верстаков же пустовал только один. Это Сиделкин забыл о том, кто он такой есть. Андрей ходил по помещению и возбужденно покусывал губы. Кроме первой смены, почти вся вторая была здесь. Он только не понимал, как это могло случиться, что вчера едва лишь четверть проголосовала за.

Без пяти шесть Локотев дал гудок и промчался по гаражу из конца в конец. У ворот он остановил машину, и вот уже опять залилась сирена, — ее безостановочный голос ревел продолжительно, словно ожидая других. Никто больше не отзывался. Только следом за Локотевым подошел Лисовский, потом тронулся Малкин. Вот уже все стойла пришли в движение. Синий дымок вырвался из-под одного из кузовов, это сразу за машиной Малкина. Но это была мелочь, не имевшая для Андрея значения. Только открой пробку картера, сущий пустяк.

Потом совсем сзади загрохотали «Катерпиллары». Значит, и трактористы шли на субботник, — как-никак, более отсталый народ.

Андрей подошел к Локотеву и положил руку на борт его будки.

— Локотев, ты бы сказал чего...

Локотев, улыбаясь, мотнул головой и безоговорочно посадил Андрея в кузов. Машины уже стояли в затылок, всем им мешал «Автокар» Локотева. Из будки одной единственной машины, поставленной на домкрат, выглядывала мятая физиономия Салова.

— Счастливый путь!.. — закричал он, встречаясь глазами со взглядом Андрея. — Пишите!

Сзади нетерпеливо покрикивала тоненькая сирена.

— Так давайте же запомним! — замечая усатого дядю, что отзывался о нем, как о старом большевике, громко заговорил Андрей, отлично чувствуя, что голос его достает до самого последнего трактора. — Мы поставим сюда машины только тогда, как уберем здесь затор. Давайте запомним. И чтобы все машины были — вот!

Он свел оба кулака вместе и развел их снова. Потом он нагнулся к Локотеву и сказал ему, чтоб тот трогал. Машина важно прошла мимо Отделкина, который оказался у входа, который не вытерпел, выхватил из кармана платок и взмахивал им, крепко сжимая ручку портфеля. Отделкин улыбнулся Опочинскому.

Машина Локотева завернула и встала в сторонке от дороги. Она пропускала следующие машины. И вот они уже пошли по дороге, устланной щепою и щебнем. Они пошли в горы, к карьерам, задыхавшимся от избытка руды. И, несмотря на то, что машины гудели, как миллион лошадиных сил, все услышали взрыв на том берегу озера. Приблизительно на двадцать втором километре рвали руду.

„Dies Irae[1]“

В мерцающей шапке,
в карминной ризе,
Выворачивая
каменные глаза,
Кардинал
заклинал
мировой кризис
И ему подвывала
органа
гроза.
Волосатое круглое ухо
прелата
Поворачивалось
за клинком свечи.
Сухощавые ангелы
в пасмурных латах
Сдвигали на фресках
щиты и мечи.
И когда
над удавом
душистого тума
Он смолкал и глотал
как ядро
кадык,
Снова в синих стволах
векового органа
Закипала
свинцовая злоба вла;
Но через окна
с нимбами золотыми,
Машины города
протягивали
зубчатый гу;
Над волчьим рычаньем
свирепой латыни,
Над волчьим рычаньем
папских булл.
Окостеневшие лица
пожирали снизу
Тихо шуршащий
пергаментный лист;
Именем папы
был свален
и прониван

[1] „День гнева“ — католическое песнопение.

Молниями
последний коммунист.
Именем папы
в преисподню
Рушилась
грозных заводов
гряда.
Именем папы
воины господни
Вытаптывали танками
города.
Именем папы
был год отмечен,
Земля лежала
холодна и бледна.
Именем папы
советская нечисть
Выжжена,
задушена,
истреблена.
Светлая мысль человечества,
где же ты кружишься,
Жалкая!
среди залпов, огней, икон?!
В белой, газовой маске ужаса
Солнце всходит
над материком.
Над морями,
полями,
лесами
Бомбовозов
святая семья:—
«Dies irae»... Осанна! Осанна!
«Dies illa»... Грядет Судья!
Девушки!
Ваши глаза пушисты,
Парни,
молчащие
на скамьях позади,
Ликторские значки
фашистов
Еще не синеют
у вас на груди.
Уходите прочь!
не ждите конца!—
Бешенства такого
вам не измерить.
Это идет
во имя отца
Сына
и духа святого —
смерть!
Безумный орган
начинает пылать

Багровыми облаками
хорала.
Солнце влетает,
лучами пыля,
Оно никогда еще
не умирало!
Не умирало!
слышишь ли ты
Адамова голова
кардинала?!
Галилей прополз
сквозь вашу латынь.
Оно никогда еще
не умирало!!
Бег его
можешь ли
остановить?
Лишить его
можешь ли
света и жара?
Можешь ли сдвинуть,
Исус Навин,
Одну шестую
земного шара?!
...Уже зрачки
вылезают на лоб
По скамьям ползет
истерический ропот.
Осатанелый,
сверкающий поп
Кропит ипритом
тело Европы.
Над миром встает
вековечная мгла.
Затворы орудий
угрюмо зевают.
Глухо
бухают
колокола,
Великий
крестовый поход созывая.
Но, поднимая
лапы якорей,
В соленом и синем своем расцвете,
Летят на восток
пять морей,
Гудит с востока железный ветер.
Он тяжелеет,
тучи гоня.
Песни его
как пули вопьются —
Ветер строителей, ветер огня,
Ветер вождей Революции.

Владимир Луговской

Возвращение Серке

Пьеса в 6 картинах

Николай Анов

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Серке Алиев — бродячий казахский певец, импровизатор.

Зин-Тин-Хау — китаянка, экс-принцесса, ученый этнограф, постоянно живет в Париже.

Айтхожин Мурза Галиевич — казак, бывший министр финансов киргизского правительства Алаш-Орда, белый эмигрант.

Магомет-Оглы — казак, председатель уисполкома.

Имбергенев — казак, зав. Уоно.

Шахматова Анна Федоровна — зав. уполитпросветом.

Шамсудтин — казак, рассыльный в уоно.

Машинистка уоно — молоденькая девушка.

Грибов — юноша, стремящийся к наукам.

Узбек.

Павлова — завуздрав, женщина-врач.

Сушечкин — секретарь уисполкома, франтоватый человек.

Зейнаб — казакская девушка.

Файзулла — казак, рассыльный коммунхоза.

Зоя Александровна — секретарь комиссии по отправке певцов на концерт народов СССР в Париж.

Зенкевич — собиратель казакских песен.

Джандосов — казак, заслуженный артист КССР.

Профессор Мартынов.

Леди Фэрфильд — англичанка, знающая только английский язык.

Ткач — русский белый эмигрант.

Юсуп — казак, белый эмигрант.

Долли Павловна — жена Айтхожина.

Титов — член коллегии КК.

Репортер американских газет, социалистической и консервативной одновременно.

Джеб — председатель делегации негров.

Вожатая пионеротряда № 7.

Инженер.

Прораб Новикова.

Бригадир.

Егоров — рабочий, организатор культбригады.

Артисты, рассыльные, прохожие, пионеры, милиционеры, официанты, казаки, негры, сотрудники, женотделки.

Действие происходит в Южном Казакстане, Москве, Париже и Америке в 1925 и 1931 гг.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Площадь захолустного города в Южном Казакстане. На правой стороне — уходящая вдаль улица, саманные заборы, закрытые ворота, стены домов, карагач. Вдоль улицы арык. На первом плане большое развесистое тутовое дерево, на нем уличная дощечка. Прямо — саманный забор, ограждающий владения Магомета-Оглы. Здесь, на углу, примостился уличный фотограф с ярким морским экраном. Много пирамидальных тополей. На левой стороне — уоно. С улицы дверь ведет прямо в канцелярию. В канцелярии три стола: зав. уоно, завуполитпросветом и машинистки. На стенах плакаты, портреты вождей, циркуляры. Рядом с уоно — чайхана имени Розы Люксембург. Солнечный день. Мальчишки пускают бумажных змеев. Проходят люди в европейских платьях и восточных костюмах. Узбечки — в паранджах. В канцелярии уоно сидит одна машинистка. Печатает на машинке. Принимает пакеты.

ЯВЛЕНИЕ 1

Магомет-Оглы и Павлова.

Магомет-Оглы. Но если нет на небе бога, значит нет и загробной жизни. Как же так?

Павлова. Очень просто!

Магомет-Оглы (*рассуждает*). Хорошо! Вот я помру. Меня похоронят. Завапо Афендиаров скажет краткую речь. Хорошо! Председатель месткома свернет знамя и люди разойдутся по домам. А я навсегда останусь лежать в холодной могиле.

Павлова. Ну что же из этого?

Магомет-Оглы. Как что? К чему тогда жить, работать, сердиться — раз все равно наступит смерть? А?

Павлова. Странный вопрос!

Магомет-Оглы *(долго думает)*. Скажи мне, докторша! Ты самая умная в городе, ты все знаешь. Нет ли там на небе еще какой-нибудь жизни? А? Хоть самой паршивой? А?

Павлова. Как это ни грустно, а человек смертен. Вечной жизни нет и быть не может! Клетка нашего организма устроена, что она...

Магомет-Оглы *(перебивает)*. Зачем клетка. Разве я собираюсь покупать птиц? Что ты мне говоришь про клетку? А? Ты мне дело говори.

Павлова *(пожимает плечами)*. В таком случае я затрудняюсь.

Магомет-Оглы. А может быть ученые мало-мало думают? А?

Павлова. Нет, и придумать ничего нельзя!

Магомет-Оглы. Жалко! Очень жалко!

В раздумьи чертит палкой по песку. Павлова закуривает папиросу.

Павлова. Товарищ Магомет-Оглы! Бессмертье заключается как раз не в том, что вам кажется важным, а совершенно в другом. Если хотите, в детях, а главное, в поступках и хороших делах человека. *(Показывает.)* Поглядите туда, товарищ Магомет-Оглы! Вот чайхана имени Розы Люксембург. Роза Люксембург убита и тело ее, вероятно, уже сгнило без остатка, а чайхана своим названием каждому напоминает об этой великой революционерке.

Магомет-Оглы. Так, так!

Павлова. А вот, против чайханы находится аптека, названная в честь товарища Семашки. О чем говорит эта вывеска сердцу каждого дехканина? Опять-таки о работе человека.

Магомет-Оглы. Так-так! Понимаю! Говори еще! А?

Павлова. Напрасно, товарищ Магомет-Оглы, вы заботитесь о будущей жизни. Вы думайте о жизни настоящей. Трудящиеся выбрали вас главою города, от вас зависит сделать их жизнь счастливою. А за ваши великие и хорошие дела — вас будут помнить потомки. Вот оно где истинное бессмертие, товарищ Магомет-Оглы!

Магомет-Оглы. Очень хорошо ты сказала. Правильно! Вот что значит образованный человек. А? Я доволен, что говорил с тобой!

Павлова *(смотрит на часы)*. Ну, прощайте, Магомет-Оглы.

Магомет-Оглы. Прощай, докторша. Спасибо тебе. Приходи в гости! А?

Павлова уходит. Магомет-Оглы подходит к тутовому дереву, на котором набита уличная доска, внимательно читает ее; в задумчивости возвращается на скамейку: что-то решает про себя; вторично подходит к уличной доске. Опять читает. Ударяет себя по лбу.

ЯВЛЕНИЕ 2

Магомет-Оглы и Сушечкин.

Сушечкин *(появляется с папкой подмышкой и с тросточкой)*. Еще бумаги на подпись.

Магомет-Оглы. Давай, давай! Сегодня в исполком не пойду. Жарко. Здесь лучше думать. Насчет чего эта бумага? А?

Сушечкин. Чтобы люди не купались в арыках, из которых граждане берут питьевую воду.

Магомет-Оглы. Хорошо, умное распоряжение. Достаточно умное. А?

Сушечкин *(дает другую бумагу)*. А это насчет подготовительных мер против саранчи. По предположениям Стазры в это лето ожидается прилет саранчи с Балхаша.

Магомет-Оглы. Тоже умное мероприятие! *(Подписывает.)* Кто это все выдумывает... А?

Сушечкин. Больше ничего! Будут какие-нибудь распоряжения?

Магомет-Оглы. Распоряжения? Одно будет распоряжение. Пойдем. Пройдусь немного, по дороге расскажу. А? *(Уходят вдвоем.)*

По улице проходят люди. Идет компания молодежи. Один играет на домре. Остальные поют. Смех, крик, шутки. Компания прошла. Зейнаб, пугливо оглядываясь, выходит с медным тазом и кувшинами. Пристраивается у арыка чистить. Мурлычет грустную песню. Иногда смахивает слезы.

ЯВЛЕНИЕ 3.

Серке и Зейнаб

Серке *(с забора)*. Зейнаб, ты ли это?

Зейнаб *(долго смотрит)*. Серке!

Серке. Как ты сюда попала? Что ты здесь делаешь? Это дом председателя Магомета-Оглы.

Зейнаб. Я теперь живу в этом доме. Магомет-Оглы захотел, чтобы я была его работницей. Отец меня привез две недели назад и оставил здесь.

Серке. А почему я тебя не видел раньше?

Зейнаб. Магомет-Оглы держал меня взаперти.

Серке. Я теперь понимаю, почему он на той неделе пустил в меня саксаулом. Я хотел пройти через ваш двор, а он выскочил злой и красный... На другой день он приделал задвижку и провел звонок. Но я ему за это отомстил, Зейнаб! Я к звонку привязал кусок курдюка и собаки всю ночь дергали за звонок, пока не отодрали сало. Он был как бешеный!

Зейнаб. Кызымиль говорит, что Магомет-Оглы заплатил за меня отцу большие деньги.

Серке. Это что же — калым? *(Возмущенно.)* Он не председатель бедноты, а собака!.. Я бы его убил, Зейнаб, если бы не боялся милиции.

Зейнаб *(низко наклонив голову)*. Мне тяжело здесь, Серке!

Серке *(соскакивает с забора)*. Я у твоего отца был пастухом, когда у него до джута было много баранов. Я не мог тогда, Зейнаб, ничего сказать тебе о своей любви. Я — джетак, пастух, нищий. Разве захотел бы твой отец иметь меня зятем? Но я люблю тебя, Зейнаб, попрежнему. Для меня теперь ты — равная. Твой отец тоже стал нищим.

Зейнаб. Отец сказал мне, если я уйду от Магомета-Оглы — он зарежет меня.

Серке. Не зарежет! Мы с тобой уедем туда, где он тебя никогда не найдет. У меня есть много друзей. Я ведь певец, Зейнаб! Мои песни любят в степи.

Зейнаб *(восхищенно)*. Никто так не поет, как ты!

Серке *(польщен)*. Не знаю. Один ученый русский человек сказал мне пять лет назад: Серке! Ты будешь великий певец. Я ему спел много-много песен, может быть, тысячу, а, может быть, и больше. Он их писал на бумагу и увез с собой в Москву.

Появляется Магомет-Оглы.

Зейнаб *(испуганно)*. Магомет-Оглы! *(Забирает кувшины, убегает)*.

Серке вскакивает на забор. Важно идет Магомет-Оглы, опираясь на палку. Проходит через площадь Грибов.

ЯВЛЕНИЕ 4

Машинистка и Грибов

Грибов *(входит в канцелярию)*. Скажите, пожалуйста, могу я видеть заведующую уполитпросветом товарища Шахматову?

Машинистка. Ее сейчас нет. Она в укоме на заседании.

Грибов. Тогда я подожду.

Машинистка. Подождите.

Грибов остается в канцелярии. От нечего делать читает на стенах циркуляры. Магомет-Оглы, заметив Серке, грозит ему палкой.

ЯВЛЕНИЕ 5

Серке и Магомет-Оглы

Магомет-Оглы. Ты что, лодырь, ничем путным не занимаешься? А?

Серке. Чем же мне заниматься, товарищ Магомет-Оглы?

Магомет-Оглы. Работать надо! Как Ленин говорил... Работать.

Серке. А где же работать?

Магомет-Оглы. Где? А где ты раньше работал? А?

Серке. У Мамаджанова баранов пас.

Магомет-Оглы. Ну, и сейчас паси. А?

Серке. Так Мамаджанов же бай!. Зачем я чужих баранов всю жизнь пасти буду? Пусть сам пасет. Ленин чужих баранов не учил пасти.

Магомет-Оглы *(с презрением)*. Много ты понимаешь про Ленина... Ты — контрреволюционер, Серке! Я тебя насквозь вижу!

Серке скрывается. Слышно, как за забором он поет. Песня угасает. Магомет-Оглы уходит к себе во двор. Шахматова и Имбергенев проходят в уоно, занимают свои места. Остается один фотограф, снимает.

ЯВЛЕНИЕ 6

Машинистка, Грибов, Имбергенев, Шахматова

Шахматова *(машинистке)*. Никто меня не спрашивал? Ах уж эти заседания! Два часа потеряли...

Машинистка. Вас вот этот товарищ давно дожидается *(показывает на Грибова)*.

Грибов *(в ожидании рассматривает плакаты)*. Позвольте! Я никак не пойму, для кого написан этот лозунг: «Неграмот-

ный, попроси грамотного, чтобы он помог тебе обучиться грамоте!» Обращение явно направлено к неграмотному, но если он неграмотен, как же он прочтет этот плакат?

Шахматова *(аедовольно).* В чем дело? Какой плакат?

Грибов. Вот этот! Пожалуйста! На уровне бороды Маркса.

Шахматова *(поправляет очки, читает).* «Неграмотный, попроси грамотного, чтобы он обучил тебя грамоте»... Мм... Да... Странно. Он у нас с прошлогодней кампании, кажется, висит. Довольно странно...

Машинистка. Может быть, снять, Анна Федоровна?

Шахматова. Ну, что же, снимите... Все равно.

Машинистка снимает плакат. Шахматова садится за стол.

Грибов *(подходит нерешительно).* Могу я вас побеспокоить?

Шахматова. Разумеется.

Через площадь проходит узбек с женой. Жена в парандже и по обычаю идет за мужем сзади. Узбек подходит к фотографу, что-то спрашивает. Тот показывает на уонь. Узбек входит в канцелярию. Жена робко прижимается к стене. Узбек прицеливается, к кому бы обратиться.

ЯВЛЕНИЕ 7

Те же и узбек с женой

Грибов *(вынимает из холшевого портфеля об'емистую тетрадь).* Я сам изобретатель и астроном, но происхожу из низов пролетариата и поэтому не могу достаточно об'ять весь масштаб последних достижений науки и техники. Сейчас я написал научное сочинение под заглавием «Межпланетное сообщение»...

Шахматова *(подошедшему узбеку).* Вам что?

Узбек. Уздрав ищу... На комиссию...

Грибов ...научное сочинение под заглавием «Межпланетное сообщение между...

Шахматова. Вера Васильевна, об'ясните, как пройти.

Машинистка. Хорошо. Но может быть ему к доктору надо?

Грибов ...между Марсом и СССР».

Машинистка прекращает печатать. Имбергенев от удивления уронил папку.

Шахматова. Ка-ак?

Грибов. «Межпланетное сообщение между Марсом и СССР»... Я вижу, вы удивлены, но...

Шахматова. Да нет, нисколько. Напротив!.. Продолжайте.

Машинистка *(узбеку).* Уздрав будет рядом. Через два квартала.

Узбек берет жену. Уходят. Идут через площадь. Снова узбек обращается к фотографу. Тот показывает новое направление.

ЯВЛЕНИЕ 8

Грибов, машинистка, Шахматова, Имбергенев

Грибов. Тут у меня есть математические формулы, но так как образования я не имею, то некоторые расчеты мне не удались. Сама же идея мною продумана до конца. Она очень проста, требуется только всемерная поддержка общественности, чтобы реализировать это дело. *(Дает тетрадь.)*

Шахматова *(внимательно смотрит, медленно читает).* «Междупланетное сообщение между Марсом и СССР» *(перелистывает тетрадь.)* А для чего собственно говоря, лететь вам на Марс? Что вам, в советской республике тесно живется, что ли?

Грибов. Довольно странный подход. Я преследую научные задачи.

Шахматова. Ага, задачи... Так, так... *(Перелистывает тетрадь).* Вы—беспартийный?

Грибов. Беспартийный.

Шахматова. Ага... Почему в комсомол не идете? *(Заинтересовалась чертежом.)*

Грибов. Видите, меня комсомол не удовлетворяет. У меня высшие стремления.

Шахматова. Ага, высшие... Так, так... *(Просматривает тетрадь.)*

Грибов. Астрономией интересуюсь.

Шахматова. Любопытно! Что же это у вас выходит — остановка в пути... До Марса снаряд все же не долетает?

Грибов. Совершенно верно! Я мыслю устроить на полдороге нечто вроде постоялого двора.

Шахматова. Похвальная предусмотрительность! Но ведь это... Вера Васильевна, чуть не забыла... Литература для красных чайхан на нацязыках... Проверяли вы или нет?

Машинистка. Так ведь два раза уже писали?

Шахматова *(Грибову).* ...абсурдный расчет. Если с земли выстрелят из пушки

и прицел будет взят неправильно, с отклонением хотя на волосок, то снаряд пролетит мимо постоялого двора на тысячу километров. Ведь тут же колоссальное расстояние. Зачем же вам постоялый двор, если от него вас пронесет чорт знает куда?

Вбегает почтальон. Приносит телеграмму. Машинистка расписывается в разноске. Вскрывает, читает. Входит Шамсутдин, садится у самовара, в углу.

ЯВЛЕНИЕ 9

Те же, почтальон и Шамсутдин

Грибов. Я же и говорю, что у меня нет математических знаний. Я самоучка. Пролетарский самородок — астроном. Я поэтому и пришел... чтобы уточнить...

Машинистка. Телеграмма из Москвы!.. *(Волнуясь.)* От наркома...

Общий интерес. Почтальон уходит.

ЯВЛЕНИЕ 10

Грибов, машинистка, Шахматова, Имбергенев, Шамсутдин

Шахматова. Что-о! Не может быть!

Имбергенев. От наркома!..

Машинистка. Да, да, от самого наркома... Вот подпись....

Имбергенев. Дайте мне скорей телеграмму!

Машинистка. Пожалуйста.

Имбергенев *(читает вслух)*. «Заведующему уездным отделом народного образования Срочно прошу выяснить сообщить согласен артист Алиев запятая проживающий вашем городе принять участие этнографическом концерте всемирной выставке Париже запятая условия оплаты дороги содержания гонорара выступления точка Срок занятости его 15 июня по 15 июля нарком просвещения РСФСР...»

Все стоят в недоумении. Забытый Грибов жадно прислушивается.

Имбергенев. Какой артист Алиев? Нет у нас артиста Алиева. Ничего не понимаю!

Шахматова. Во всяком случае такого я не знаю. Первый раз слышу... Не слыхали вы, Вера Васильевна?

Машинистка. Ни разу. Может быть, это на телеграфе переврали что-нибудь. Надо бы проверить. Вы смотрите, в подписи наркома и то две буквы перепутали.

Имбергенев. Какую резолюцию наложить на этой телеграмме? Прямо не знаю. Первый раз вижу телеграмму от наркома.

Машинистка. Анна Федоровна! А знаете что? Я сейчас сбегаю в рабис. У них все члены на учете. Даже любители. Мигом разузнаю. *(Убегает.)*

Машинистка бежит мимо дома Магомета-Оглы. Магомет-Оглы выходит на улицу. Замечает машинистку. Щелкает пальцами: «Уй, какой бутончик». Садится на скамейку.

ЯВЛЕНИЕ 11

Грибов, Имбергенев, Шахматова, Шамсутдин

Шахматова. Любопытно! Какой такой Алиев? Артист Алиев? Ерунда какая-то...

Шамсутдин *(до сего времени находившийся на заднем плане)*. Я знаю Алиева. Это — Серке... Певец Серке Алиев... Напротив нас живет... Рядом с домом председателя Магомета-Оглы... Хочешь, сейчас будет здесь? *(Порывается бежать.)*

Шахматова. Подожди! Позволь, какой Серке? Что ты путаешь, Шамсутдин!

Шамсутдин. Зачем путаешь? Шамсутдин никого не путает. Серке действительно артист. Мой дружок хороший... Старый приятель...

Шахматова. Это совсем другое дело. Какой же Серке артист? Он пастух, бродячий певец, и только! Откуда его может знать нарком? Сущая чепуха. Я даже не знала, что его фамилия Алиев.

Имбергенев. Но что-то делать надо. Не может телеграмма наркома лежать без исполнения.

Шахматова. Теряюсь... Ума не приложу... Как бы нам не послать одного вместо другого...

Имбергенев. Не знаю, писать резолюцию или нет?

Шахматова. Что? Резолюцию? Не стоит.

Вбегает машинистка.

ЯВЛЕНИЕ 12

Имбергенев, Шахматова, Грибов, машинистка, Шамсутдин

Машинистка *(запыхавшись)*. Узнала... Все...

Шахматова. Ну?

Имбергенев. Есть такой?

Машинистка. Нету. В списках артистов не значится. Сама перерыла весь алфавит — не было и нет.

Вбегает почтальон.

ЯВЛЕНИЕ 13

Те же и почтальон

Машинистка *(расписывается в разносной книге).* Еще телеграмма! И опять из Москвы! От наркома. Пожалуйста, вот. *(Передает телеграмму Имбергеневу.)*

ЯВЛЕНИЕ 14

Имбергенев, Шахматова, Грибов, Машинистка, Шамсутдин

Имбергенев *(читает).* «Выезд артиста Серке Алиева ускорьте личную ответственность завуоно».

Шахматова. Что? Серке Алиева? Выходит — Шамсутдин прав. В этой телеграмме они упоминают и имя... Да... Никогда бы не могла подумать, что пастуха Серке повезут в Париж. Никогда...

Грибов. Какое счастье! Какое необыкновенное счастье человеку!

Имбергенев *(волнуется).* Шамсутдин! Беги бегом, одна нога здесь, другая там, приведи Серке Алиева. Пусть скорее идет сюда. Скажи, важное, дело есть. Скажи, Имбергенев зовет.

Шамсутдин. А если он кумыса много пил и спит крепко?

Имбергенев. Тащи его за шиворот!

Шамсутдин. Хорошо!

ЯВЛЕНИЕ 15

Имбергенев, Шахматова, Грибов, машинистка

Грибов. Вы мне так и не дали окончательно ответа насчет моего проекта...

Шахматова. Какого проекта?

Грибов. Межпланетного сообщения между Марсом и СССР.

Имбергенев *(высовывается в окно и кричит).* Шамсутдин! За шиворот не тащи! Лучше под руку возьми!

Шахматова. Ах, да... Значит, мы с вами еще не кончили. *(Берет со стола тетрадь).* Вот что, молодой человек! Возьмите вы эту штуку и немедленно сожгите.

Грибов *(растерянно).* Сжечь?

Шахматова. Обязательно. Вам учиться надо и делом каким-нибудь заняться полезным, а не астрономией. Понимаете?..

Грибов *(о чем-то задумывается, быстро решает, светлеет в лице).* Я теперь знаю что мне делать! *(Убегает. Кричит.)* Шамсутдин! Шамсутдин! Подожди!

Машинистка печатает на машинке. Шахматова в задумчивости курит. Имбергенев просматривает бумаги.

ЯВЛЕНИЕ 16

Шамсутдин и Магомет-Оглы

Шамсутдин *(кричит).* Серке! Серке!

Магомет-Оглы. Чего тебе надо? Чего ты тут кричишь?

Шамсутдин. Мне Серке надо! В уоно зовут Серке.

Подходит Грибов.

ЯВЛЕНИЕ 17

Шамсутдин, Магомет-Оглы, Грибов

Магомет-Оглы. Зачем его в уоно?

Шамсутдин. Значит, надо. Заведующий зовет. Беги, говорит, скорее, пусть сейчас же идет. Важный приказ получен насчет Серке.

Магомет-Оглы. Кому такое дерьмо могло понадобиться?

Шамсутдин. Говорят, петь надо.

Магомет-Оглы. Я бы этого лодыря не петь заставил, а палками бить вначале. Тоже, певец! Верблюд старый лучше поет.

Шамсутдин. Ну, где же Серке? Скажи пожалуйста!

Магомет-Оглы. А чорт его знает, где твой Серке! Я почем знаю. Что я — сторож твоему Серке?..

Шамсутдин. А может он к Амре пошел? А? Что ты скажешь?

Магомет-Оглы *(гневно).* Пошел вон, собака! *(Замахивается палкой.)*

Грибов. Пойдемте скорей к Амре. Может быть, он действительно там.

Шамсутдин. Я пойду к Амре... А ты лучше сбегай к Кудайбергеневу. Так мы его скорей найдем. Знаешь, где Кудайбергенев живет? Там, где аптека была раньше.

Грибов. Хорошо!

Вдвоем убегают. Магомет-Оглы уходит к себе во двор.

ЯВЛЕНИЕ 18

Шахматова, Имбергенев, машинистка

Имбергенев. Куда пропал Шамсутдин? Почему не идет так долго?

Шахматова. Может быть, его дома нет?

Имбергенев. Телеграмму прислал нарком... Нехорошо, что сторож пошел его разыскивать. Надо бы сходить самим. Такое важное событие...

Шахматова. Пойдемте, если хотите. Не возражаю.

Складывают бумаги. Выходят на площадь. Оглядываются.

ЯВЛЕНИЕ 19

Имбергенев, Шахматова, фотограф.

Шахматова *(фотографу)*. Шамсутдина не видал, куда он пошел?

Фотограф. Серке разыскивает. К Амре побежал за ним. Вон туда...

Шахматова. Ну, что же, пройдемте и мы. *(Уходят.)*

С другой улицы бежит запыхавшийся Шамсутдин.

ЯВЛЕНИЕ 20

Шамсутдин и фотограф.

Шамсутдин. Не видал Серке?

Фотограф. Что вы, с ума сошли что-ли? Все Серке ищут. Сказали тебе, к Амре он пошел.

Шамсутдин. Нет его в Амре. Сейчас там был.

Грибов прибегает.

ЯВЛЕНИЕ 21

Шамсутдин, фотограф, Грибов.

Грибов. У Кудайбергенева его нет. Вчера, говорят, был, а сегодня не был.

Выходит Магомет-Оглы.

ЯВЛЕНИЕ 22

Шамсутдин, Магомет-Оглы, Грибов, фотограф.

Шамсутдин. Слушай, председатель! Скажи пожалуйста, не видал Серке?

Магомет-Оглы. Отвяжись от меня, собака.

ЯВЛЕНИЕ 23

Магомет-Оглы, Грибов, фотограф, Серке, любопытные.

Шамсутдин. Серке! Здравствуй! А я тебя никак найти не могу. Пойдем скорее в уоно к Имбергеневу. Приказ насчет тебя из Москвы пришел.

Серке *(недоверчиво)*. Какой приказ? Не хочу!

Шамсутдин. В Москве тебя ищут. Правда...

Начинают останавливаться любопытные.

Грибов. Он не обманывает. Я был свидетелем, когда из Москвы пришли телеграммы за подписью наркома. Вас приглашают принять участие в этнографическом концерте на Всемирной выставке в Париже.

Серке. Ничего не понимаю!

Грибов. Я вам страшно завидую. Вы счастливый человек. Если бы кто узнал обо мне, о моем открытии — я был бы счастлив так же, как вы!

Серке. Что значит счастливый!

Грибов. Я умоляю вас... Когда вы будете в Москве и вам придется встретить ученого человека, передайте ему пакет, который я вам вручу перед от'ездом. Сделайте это для меня.

Постепенно собирается большая толпа любопытных прохожих.

Разговор в толпе.

— Почему народ собрался?

— Саранча, говорят, прилетела.

— Глупый человек, где же саранча?

— Это не саранча, это лошадь издохла у Магомета-Оглы.

— Ай, как жалко, что он сам не подох!

— Что ты врешь? Какая лошадь? Вовсе не лошадь. Перевыборы в совет новые будут.

— Зачем в совет? Ничего не в совет!

— Что ты меня толкаешь? Ты меня не толкай!..

— Какой важный стал, его пальцем не тронь...

— Собака ты этакая... Что ты ко мне лезешь?..

— Что он дерется?... Он мне в морду дал.

— Бей его, бей!.. Иса, бей его!

Завязывается ссора, драка. Двое дерутся, несколько человек разнимают.

Магомет-Оглы *(кричит)*. Перестаньте вы!.. Тише!.. За уличный скандал в тюрьму сажать буду.

Помогает разнимать, пускает в ход палку. Появляется милиционер. Свистит. Уводит драчунов. Скандал стихает. Грибов около фотографа что-то пишет, делает пакет, перевязывает его веревкой. Появляются Имбергенев и Шахматова.

ЯВЛЕНИЕ 24

Те же, Имбергенев и Шахматова.

Имбергенев. Товарищ Серке Алиев! Здравствуйте!

Все подходят и трясут руку Серке.

Шахматова. Поздравляю! Собирайтесь в дорогу, товарищ Серке! Вам сегодня же надо ехать петь в Москву. Иначе вы опоздаете.

Шамсутдин. Ну, что я тебе говорил? Вот видишь! Сколько народу к тебе пришло сразу!

Имбергенев *(заметив Магомета-Оглы)*. Товарищ Магомет-Оглы! Приветствуем! Сегодня в уоно необычайное событие. Получили телеграмму от наркома из Москвы. Просят прислать товарища Серке Алиева в Москву. Правительство намерено послать его в Париж для участия в концерте народов СССР. Наш уезд может гордиться. Наш певец поедет за границу.

Магомет-Оглы. Я всегда любил Серке! Я всегда говорил, что он хорошо поет. Мои слова — всегда истинны!

Серке. Ой, ой, ой! *(Качает головой.)*

Шахматова. Товарищ. Серке! Вам надо немедленно собираться в дорогу. Сегодня вечером как раз поедет сотрудник Упсырзага. Надо воспользоваться удобным случаем. Идемте сейчас же в Уоно.

Грибов. Поезжайте, поезжайте! Это вам счастье в руки... Только не забудьте про мой пакет. Вот вам он... Тут вложена маленькая об'яснительная записка. Передайте его!

Шахматова, Имбергенев, Серке и часть любопытных идут в уоно. Любопытных так много, и они так мешают, что Шахматова уводит Серке в другую комнату. В канцелярии остается одна машинистка. Зеваки расходятся.

ЯВЛЕНИЕ 25

Магомет-Оглы, фотограф, любопытные.

Разговор в толпе. — Куда Серке повели?

— В милицию. Подрался с Манаевым Амре.

— Что ты врешь! Вовсе не с Амре, а с Исой!

— Ай, ай, ай! Какой народ глупый! Серке ни с кем не дрался, он пошел как свидетель.

— Что ты говоришь!

— Зачем пустяки болтать напрасно! Серке зовут петь в Москву. Телеграмма пришла... Шамсутдин сказал...

— В Москву! Ой, ой, ой, какой дурак! Ха, ха, ха!

— Там своих пастухов мало! Ха, ха, ха!

— А что ты думаешь, Серке плохо поет? Серке хорошо поет...

Разговаривая, уходят толпой.

ЯВЛЕНИЕ 26

Магомет-Оглы и фотограф.

Магомет-Оглы. Я тоже ничего не понимаю. Плохое руководство. Зачем пастуха посылать в Париж? Чтобы люди над нами смеялись. Совсем плохое руководство!

Появляется Сушечкин с папкой и тросточкой.

ЯВЛЕНИЕ 27

Фотограф, Магомет-Оглы, Сушечкин.

Сушечкин. Товарищ Магомет-Оглы! Вы велели принести приказ на подпись. Я посылал Ибрагимову в коммунальный отдел на согласование. Там возражений нет. Подпишите приказ.

Файзулла несет лестницу, уличную дощечку, молоток, гвозди.

ЯВЛЕНИЕ 28

Фотограф, Магомет-Оглы, Сушечкин, Файзулла.

Файзулла. Товарищ Магомет-Оглы! Здравствуйте! Доброго здоровья!

Магомет-Оглы. Здравствуйте, Файзулла. Что несешь?

Файзулла. Ибрагимов доски велел переменить.

Начинает отколачивать вывеску.

Магомет-Оглы *(читает бумагу)*. «Приказ № 1714 по уисполкому. Предложить коммунальному отделу срочно переименовать Александровскую улицу и Александровский тупик, заменив старые колонизаторские названия новыми». Совершенно правильно! «Председатель. Секретарь». Здесь надо подписать?

Сушечкин. Так точно. Верхняя строчка. А вот это выписка из протокола.

Магомет-Оглы *(читает)*. «Распоряжение № 2826... по коммунальному отделу. Во исполнение приказа № 1714 уисполкома, а также идя навстречу желанию трудящихся масс, переименовать Александровский тупик — в улицу имени Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а Александровскую улицу — в улицу имени тов. Магомет-Оглы. Подлинный подписал Завкоммунотделом Ибрагимов. Верно. Делопроизводитель Перцев». Совершенно правильно! Пусть будет так, как хотят массы. Этого требует правильное руководство.

Файзулла *(поет песню)*. Готово! *(Приколотил доску к тутовому дереву.)* Смотри, хозяин, хорошо будет?

Магомет-Оглы *(подходит, внимательно глядит на вывеску)*. Эта сторона чуть-чуть повыше должна быть. *(К Сушечкину.)* Как, товарищ Сушечкин?

Сушечкин. По-моему — тоже.

Файзулла. Ну, а так?

Магомет-Оглы. Теперь хорошо!

Сушечкин. Теперь горизонтально.

Файзулла *(вколачивает последний гвоздь)*. Готово! Так приколотил, что никогда не отколотишь. Прощай, хозяин! *(С песней уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 29

Магомет-Оглы. Какие еще дела есть по президиуму?

Сушечкин. Больше ничего нет

Магомет-Оглы. Ну, и хорошо! А то много сегодня работал. Иди домой!

Сушечкин уходит. Магомет-Оглы подходит к тутовому дереву, любуется вывеской.

ЯВЛЕНИЕ 30

Фотограф и Магомет-Оглы.

Магомет-Оглы. Чайхана имени Розы Люксембург — хорошо! Аптека имени тов. Семашко — хорошо! Улица им. Карла Маркса и Фридриха Энгельса — хорошо! *(Читает, водя тростью по вывеске.)* Улица имени товарища Магомета-Оглы — совсем замечательно! Магомет-Оглы умрет — улица останется.

Муэдзин кричит с минарета. Тихо. Магомет-Оглы вытирает платком жирную вспотевшую шею. По улице идет узбек с женой, разыскивающий уздрав. Подходит к фотографу. Фотограф опять направляет узбека в уоно. В канцелярию вбегает сотрудник.

ЯВЛЕНИЕ 31

Машинистка и сотрудник.

Сотрудник. Верочка, вы одна?

Машинистка. Одна!

Сотрудник оглядывается, подбегает, закидывает машинистке голову и целует долгим поцелуем в губы. Входит узбек с женой. Видит эту сцену. Отворачивается.

ЯВЛЕНИЕ 32

Машинистка, сотрудник, узбек с женой.

Машинистка *(вырывается)*. Обалдеть можно! *(Замечает посетителей.)* Ах!.. Вам что, товарищ?..

Узбек. Ничего, ничего, мы подождем. *(Закрывает жену, оберегая от дурного примера.)* Мы мешать не будем...

Машинистка. Вы уздрав разыскиваете? Не нашли? Ну, как же, это же ведь рядом, буквально рядом...

Сотрудник. Пойдемте, я проведу. *(Укоризненно узбеку.)* Ты что ее в наморднике держишь? Дышать ведь нечем. Тебе натянуть бы такую попону. Сдох бы ведь...

Узбек. Я тебе не мешал — ты мне не мешай. Я тебя не учу — ты меня не учи... Это — моя жена *(показывает на машинистку)* она будет — твоя жена. Хочешь — на морду одень, не хочешь — не надо... Хочешь, сам люби, не хочешь — пускай другой любить. Пожалуйста, как хочешь. Меня не трогай.

Уходят. Снова узбек направляется к фотографу. Тот, чтобы отвязаться, показывает на левую улицу. Узбек с женой уходят.

ЯВЛЕНИЕ 33

Машинистка.

Машинистка *(пудрит лицо, прихорашивается в зеркальце)*. Сегодня какой-то необыкновенный день!

Оправляет смятую блузку. Садится работать. На улице зевает фотограф. Тишина. Муэдзин кричит с минарета.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Приемная столичного учреждения. Несколько дверей. Кожаные диваны. На стенах портреты в дорогих рамах. Богатая обстановка. За столом у окна сидит секретарша. На столе три телефона. Рядом небольшой столик с пишущей машинкой. Машинка открыта. Артисты дожидаются очереди, чтобы пройти испытание. Часть из них в обычной одежде, другие в национальных костюмах. Некоторые настраивают инструменты. У артистов приподнятое настроение. Особенно нервничают певицы. Звонит телефон. Секретарша берет одну трубку. Слушает. Пожимает плечами. Берет другую.

ЯВЛЕНИЕ 1

Секретарша и артисты.

Секретарша. Алло! Я слушаю. Да, комиссия... Да, по отправке заграницу на концерт народов СССР... С Чукотки певец не приехал. Что? Нет, нет! Ну, конечно, посылали. Но ведь там пароход ходит два раза в лето, а телеграфа нет. Вероятно приглашение застряло где-нибудь на Камчатке. Об этом уже известно. Увы, в прошлом году мы не знали, что будет такой концерт. Физически невозможно. Всего лучшего!

Работает. Садится за машинку, печатает.

Разговор артистов. — Вчера, говорят, сорок три человека провалилось...

— Сорок три! Вы, кажется, загнули через край, коллега...

— Определенно панические слухи...

— А вас это как будто не волнует?

— Представьте — нет!

— А мне все равно... Вместо Парижа поеду в турнэ по СССР.

— Я ведь была в Париже. Уверяю вас, ничего особенного.

— Но все-таки, скажите, очень строгий отбор?

— Игра на нервах... честное слово!

Звонит телефон.

Секретарша *(снимает трубку)*. Я слушаю! Да, комиссия. По отправке заграницу. Откуда? Из редакции... Но, товарищ, первая партия уже уехала позавчера. Сегодня уезжает вторая... Серьезно... Вечером едут... Белорусский вокзал... Поезд в восемь тридцать... Пожалуйста.

Кладет трубку.

Разговор артистов. — Давайте загадаем: вот у меня спичка с головкой, а здесь без головки. Если верно угадаете, значит вы поедете в Париж...

— Позвольте, но я то тут при чем?

— Но ведь вам же хочется ехать.

— Неужели вы еще верите в такие предрассудки?..

— Давайте, я вам скажу, в какой руке спичка с головкой...

— Пожалуйста!

— В левой.

— Ошиблись, гражданка, в правой...

— Кто-то вышел, товарищи!

— А кто там сейчас?

— Ойроты, кажется.

— Нет, это Зенкевич.

ЯВЛЕНИЕ 2

Секретарша, Зенкевич и артисты.

Зенкевич *(выходит торопливой походкой, с портфелем в руках)*. Зоя Александровна... Я страшно тороплюсь. *(Смотрит на часы.)* Без пяти два. А у меня ровно в двенадцать где-то два срочных заседания... Я, разумеется, опять опоздал... *(В раздумьи.)* Что я с вами должен проверить по комиссии?

Секретарша *(смотрит в тетрадь)*. Вне очереди... Домра для Серке Алиева.

Зенкевич. Ну, как обстоит дело?

Секретарша. В Москве ни одной домры не нашлось. Даже в музее не было...

Зенкевич. Чорт знает!..

Секретарша. Я организовала получение образца из Ленинградского этнографического музея. Домра готова. С минуты на минуту ее должны принести.

Зенкевич. Но хорошо ли сделали?

Секретарша. Делал старый, опытный мастер, который 30 лет работал у Циммермана.

Зенкевич. На сколько вы назначили Серке Алиеву?

Секретарша. Вы велели в два. *(Смотрит на часы.)* Не знаю, почему он так сильно запаздывает.

Зенкевич. Попробуйте позвонить в гостиницу.

Секретарша. Хорошо! *(Берет трубку.)* 5-43-18... Благодарю. Алло! Я слушаю. Откуда? Похоронное бюро «Вечность»? Да нет же. Дайте отбой. Ну, да, повесьте трубку. 5-43-18... Гостиница? Что? Банк? Бани? Да нет же. 5-43-18. Благодарю.

Алло!.. Слушаю! Гостиница? Скажите, певец из Казахстана Серке Алиев в № 104, ушел? Нет? Уже ушел? Давно? Полтора часа назад? Ну, что же это такое. Не сказал, куда пошел? *(Кладет трубку.)* Полтора часа, как ушел...

Зенкевич. Ведь у него должен быть чичероне?

Секретарша. Да, из представительства. *(Смотрит в блокнот.)* Мухамедов...

ЯВЛЕНИЕ 3

Секретарша, Зенкевич, сотрудница, артисты.

Сотрудница *(секретарше)*. Серке Алиева еще нет?

Секретарша. Нет!

Сотрудница. Но ведь сейчас он идет по расписанию.

Секретарша. Но что я поделаю, если он не пришел?!

Сотрудница. А Джандосов здесь?

Секретарша. Тоже нет!

Сотрудница. Сергей Яковлевич! Я не знаю, что делать! Ломается расписание...

Зенкевич. Ну, и пусть ломается... Подмените кем-нибудь...

Сотрудница *(смотрит в блокнот)*. Товарищ Мгеладзе, проходите в эту дверь.

Сотрудница и кавказский певец уходят. Звонит телефон.

ЯВЛЕНИЕ 4

Зенкевич, секретарша, артисты.

Секретарша *(берет трубку.)* Алло! Я слушаю. Да... В чем дело? Совершенно верно. Комиссия. Слушаю... Милиция?.. Да, да... Серке Алиев... Совершенно верно. Казакский певец. Задержан? Почему? *(Слушает.)* Ехал в трамвае без билета? Отказался платить штраф... Ах, как это глупо, товарищ! Каким же образом он остался один? *(Звонит второй телефон. Секретарша одновременно говорит по двум аппаратам. В новую трубку.)* Алло! Слушаю! *(В старую трубку.)* У него должен был быть спутник. *(В новую.)* Да, да, слушаю, товарищ! *(В старую.)* Что, потерял спутника? *(В новую.)* Что вы сказали? *(В старую.)* Чудак человек! *(В новую.)* Откуда? *(В старую.)* Конечно, он один в Москве пропадет. *(В новую.)* Товарищ, я ничего не слышу, говорите громче!.. *(В старую.)* Он же ни одной улицы не знает... *(В новую трубку.)* Кого вам надо? *(В старую трубку.)* Вы понимаете, тут надо... *(Путает трубки.)* Зенкевича вам? Да, он здесь... Нет, это я не вам... Простите... Тут еще телефон... Сергей Яковлевич, подойдите, пожалуйста, вас...

Передает трубку. Одновременный разговор по телефону секретарши и Зенкевича.

Зенкевич. Алло! Я слушаю! Да, это Зенкевич говорит...

Секретарша. Слушайте, товарищ, все-таки, с кем я разговариваю?

Зенкевич. В Париж я хочу ехать...

Секретарша. Помощник начальник милиции? Очень приятно...

Зенкевич. Но тут есть некоторое «но»...

Секретарша. Товарищ, само собой разумеется, он не хотел ехать на трамвае зайцем...

Зенкевич. На все концерты мне не удастся попасть.

Секретарша. Возможно, просто потерял билет.

Зенкевич. Первые концерты мне придется пропустить...

Секретарша. А контролер перестарался...

Зенкевич. Конечно, я страшно сам жалею...

Секретарша. Что? Скандал с милиционером?..

Зенкевич. Но все-таки вторую половину концертов я думаю захватить...

Секретарша. Ну, конечно, безобразие...

Зенкевич. Это обязательно... Безусловно...

Секретарша. Да вовсе нет, я не оправдываю.

Зенкевич. Всего лучшего! *(Кладет трубку.)*

Секретарша. После мы все разберем. А сейчас, товарищ, я вас информирую, в чем дело. Серке Алиев, которого вы задержали, казакский певец. Он вызван для испытания и завтра должен ехать в Париж на концерт народов СССР. Сейчас мы его ждем сюда немедленно. Вы где находитесь? Ну, так это рядом. Значит, через пять минут привезете.,. Большое спасибо. 2-й этаж. Комната 17. Пожалуйста. До свиданья.

Кладет трубку. Зенкевич уходит.

ЯВЛЕНИЕ 5

Секретарша, артисты.

Разговор артистов: — А в Москве заблудится совсем немудрено.

— Нелепые названия улиц здесь...

— Вчера я еду на автобусе... Кондуктор кричит — Мясницкие ворота, а никаких ворот нет... Кричит — Кузнецкий мост, а никакого моста нет...

ЯВЛЕНИЕ 6

Секретарша, Джандосов, артисты.

Джандосов (*входит*). Здесь комната № 17?

Секретарша. Здесь.

Джандосов. Моя фамилия Джандосов.

Секретарша. А! Знаю... (*Смотрит на часики.*) Вы немного опоздали... Садитесь, подождите, пожалуйста...

Джандосов. Хорошо. (*Садится около стола секретарши.*)

ЯВЛЕНИЕ 7

Секретарша, Джандосов, артисты, рассыльный.

Рассыльный (*входит*). Комната семнадцать?

Секретарша (*не поднимая головы*). Да...

Рассыльный. Я принес домру...

Секретарша. Ага... Очень хорошо..

Рассыльный. Распишитесь в получении.

Рассыльный уходит.
Секретарша вынимает из футляра домру, разглядывает.

ЯВЛЕНИЕ 8

Секретарша, Джандосов, артисты.

Джандосов. Для кого это?

Секретарша. Для вашего казакстанца — Серке Алиева.

Джандосов (*презрительно*). Какой же это певец! Приехал без своего инструмента... Это все равно, что портной без ножниц, или сапожник без шила.

Секретарша. Он очень неожиданно собрался в дорогу.

Джандосов. Все равно! Настоящий певец домру никогда не забудет. (*Притворяясь равнодушным.*) Товарищ секретарь, скажите пожалуйста, разве от каждой республики по два певца вызвали?

Секретарша. Нет, от некоторых по одному.

Джандосов. А почему от нас два?

Секретарша. Видите... Кандидатура Серке Алиева выплыла совершенно неожиданно. Рабис выдвигал вас одного, но товарищ Зенкевич предложил вызвать двоих и устроить соревнование...

Секретарша печатает на машинке.

ЯВЛЕНИЕ 9

Секретарша, Джандосов, артисты, Серке и милиционерка.

Милиционерка. Здесь комиссия для певцов? Комната семнадцать?

Секретарша. Здесь. Это товарищ Алиев, очевидно?

Милиционерка. Совершенно верно. Распишитесь здесь.

Секретарша (*расписывается в разносной книге*). Пожалуйста!

Милиционерка. До свиданья! (*К Серке.*) И не стыдно тебе! В морду с кулаками лезет! А еще... артист! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ 10

Секретарша, Джандосов, Серке, артисты.

Серке (*садится по восточному на пол*). Уф-ф!.. Устал... Отдохнуть надо. Какой сердитый милиционер! Ой, какой сердитый! (*Заметив домру, вскакивает.*) Домра! какая красивая! Хорошо!.. (*Трогает струны. Джандосов внимательно следит, лицо его темнеет.*)

Секретарша. Где же вы потеряли вашего спутника? При вас ведь находился товарищ Мухамедов из представительства?

Серке (*безнадежно машет рукой*). Пропал!..

Певцы окружают Серке.

Секретарша. Это нехорошо. Вы сильно опоздали. Надо было выйти пораньше.

Серке. Не говори, пожалуйста... Потому и опоздали, что слишком рано вышли. Мухамедов говорит: Москва город большой.., пойдем пораньше, чтобы тебе не опоздать... Почему не пойти? Мы очень рано и пошли... Идем одной улицей, идем другой улицей, народу! Бегут, торопятся, толкают... У нас на базаре народу меньше...

Голос. Не понравилась, значит, Москва?

Серке. Зачем не понравилась? Очень понравилась. Только дома здесь больно высокие. Шея болеть будет — долго смотреть станешь. Высокие дома. Я так думаю. Стоит, стоит такой дом — когда-нибудь упадет все-таки. А?

Кругом смех.

Секретарша. Ну, а опоздали-то вы почему, если слишком рано вышли?

Серке. Опоздали? Почему? Мухамедов увидал часы и говорит: очень рано идем, жарко, ты теперь богатый, угощай меня пивом...

Голос. Это становится любопытным!

Серке. В пивную зашли... В угловом доме которая... По ступенькам вниз надо итти. Замечательная пивная! Такой в нашем городе ни одной нет. Стали пиво пить. Одну бутылку выпили, другую выпили, третью... Много выпили... Тогда Мухамедов говорит: еще по одной выпьем и тебе будет в самый раз итти... Пиво холодное, приятное, хорошее! Вдруг посмотрел Мухамедов часы и кричит: опоздали, бежим скорее...

Голос. Вот чудаки!

Серке. Бежим по улице, народ толкается, сердитый народ в Москве, куда, говорят, под ноги лезешь, чорт этакий, ходи, как все люди ходят. Один меня портфелем толкнул. Хотел я ему сдачи дать, а тут трамвай мимо звенит... звенит... Мухамедов кричит: Серке, прыгай скорей, наш номер пришел, скорей прыгай!.. Я вскочил, а его, гляжу, нет... Еду, еду один... народу в трамвае! Ой-ой!.. Словно баурсаки в куржуме. Со всех сторон жмут... Вдруг сердитый человек подходит: «Билет давай»... «Какой билет?» «Ты второй круг без билета едешь. Давай рубль...» «Зачем тебе рубль? Мен в Москву звали, а я буду рубль платить!» «Не разговаривай!» Ссориться стали Трамвай стоит. Народ сердится. Он в свисток свистит. Народ еще больше сердится. Тогда опять поехали, за милиционером. Приехали. Милиционер пришел, за рукав меня тащит. «Зачем, говорю, тащишь, рукав оторвешь»! Сердиться стали. Я его тоже за рукав... Подрались немножко...

Голос. Ага, все-таки до этого дело дошло?

Серке. Потом помирились. На автомобиле даже повезли... Замечательно интересно! *(Вытирает пот.)* Уф, жарко!

Артисты смеются.

Джансонов *(возмущенно)*. Мне стыдно твой разговор слышать!.. Некультурная собака, пьяница!..

Серке. Ой, ой, ой! Зачем так ругаешься? Зачем меня собакой называешь? Сам-то ты кто такой? Сам ты собака...

Джандосов. Я — Джандосов!

Серке. Джандосов! *(Поражен.)* Знаменитый Джандосов! Прости, пожалуйста! Виноват, шибко виноват! Джандосов! *(Гладит его одежду.)* Ой, как много о тебе слышал! Вся степь тебя уважает! Несчастный человек, ни разу тебя не слышал!..

Джандосов. Оставь меня в покое. *(Отворачивается.)*

Входит сотрудница.

ЯВЛЕНИЕ 11

Секретарша, Джандосов, Серке, артисты, сотрудница.

Сотрудница. Джандосов и Алиев пришли?

Секретарша. Да, здесь!

Сотрудница. Сейчас их очередь. Пусть приготовятся. Вы знаете, Мгеладзе забраковали... Слишком выпирает школа... *(Что-то шепчет секретарше, потом уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 12

Секретарша, Джандосов, Серке, артисты, Зенкевич.

Зенкевич *(входит)*. Зоя Александровна! Срочно протелеграфируйте в Тифлис... *(Замечает Серке.)* Серке Алиев! Здравствуй, Серке! Не узнаешь?

Серке. Ой! Знакомый! Знакомый! Какая радость!..

Зенкевич. Да, Серке! Вот где свела нас с тобой судьба! Ну, как живешь? Изменился ты очень мало... Все такой же... Помнишь, как ты пел для меня песни в юрте Султангалия? А? Замечательное было время...

Серке. Это ты меня вызвал в Москву?

Зенкевич. Да, я. Сейчас будет испытание и если ты не ударишь лицом в грязь — отправим мы тебя в Париж... А если подкачаешь, тогда поедет Джандосов. Сейчас мы устроим соревнование. *(Замечает Джандосова.)* Товарищ Джандосов, кажется? Мы с вами встречались... На восточном концерте... Совершенно верно...

Входит сотрудница.

ЯВЛЕНИЕ 13

Секретарша, Джандосов, Серке, Зенкевич, артисты, сотрудница.

Сотрудница. Сергей Яковлевич! Вас просят... Джандосов и Алиев, пожалуйста.

Зенкевич. Ну, идемте, товарищи! *(Уходят.)*

ЯВЛЕНИЕ 14

Секретарша, артисты.

Разговор артистов: — Это кто сейчас пошли?

— Из Казакстана — Джандосов и Алиев.

— Джандосов хороший певец... Я его знаю... Выступали вместе на концерте.

— Он давно поет?

— Очень давно. Заслуженный артист Республики.

— А Алиев кто такой?

— Совершенно не знаю. Неизвестный человек.

— Он даже не член Рабиса.

— Какой там член Рабиса! Что вы, не слышали, как он здесь о своих приключениях на трамвае рассказывал?.

— Бродячий певец! Пастух!

— Да что вы? Это интересно!

— Не интересно, а возмутительно!

— Заслуженный артист республики и вдруг...

— По-моему, у вас неправильный подход... Готов держать пари, что Алиев победит Джандосова.

— Джандосов — только певец, а Алиев — импровизатор, поэт.

— Ну и что же из этого?

— Как что?! Таких импровизаторов, как Алиев — на весь Казакстан несколько человек. А певцов — сотни и тысячи.

— Вы что-то говорите несусветное...

— Уверяю вас. Я слышал вчера, как Зенкевич рассказывал об Алиеве... В среднем хороший оратор произносит 168 слов в минуту, а Алиев стихами 187...

— Но позвольте, при чем же тут голос?

— Какой вы чудак — он одновременно и поэт, и певец.

— В таком случае не равные шансы...

— Я уверен, что Алиев — просто выскочка.

Звонит телефон.

Секретарша *(берет трубку)*. Алло! Я слушаю. Да, комиссия. Что? Совершенно верно. Джандосов и Алиев. Еще результата нет. А кто это спрашивает? Казпредставительство? Нет, почему же, я понимаю ваш интерес... Это так естественно! Охотно бы сообщила, но сейчас как раз идет испытание. Да, да... Только началось. Если хотите, позвоните через четверть часа... Тогда будет известно. Хорошо. До свиданья!

Кладет трубку. Работает. Входит Зенкевич и профессор.

ЯВЛЕНИЕ 15

Зенкевич, профессор, секретарша, артисты.

Профессор *(протирает пенснэ)*. Это действительно потрясающе. Я ошеломлен.

Зенкевич *(взволнованно)*. Я ожидал многого, но то, что услышал — превысило все мои ожидания.

Профессор. В Париже он произведет фурор.

Зенкевич. Ну, а как вам понравился Джандосов?

Профессор. Против Алиева — очень жидок... Вы обратите внимание — он плачет настоящими слезами. Поет и плачет... Ни один артист вам этой иллюзии не даст.

Зенкевич. Я хочу обратить ваше внимание на другое. В лице Серке Алиева мы имеем не только певца, но и импровизатора, говоря их языком — он одновременно и оленгчи и акын. Это редчайшее совпадение. Таких самородков можно буквально пересчитать по пальцам.

Профессор. Мне очень понравилась его импровизация про бая Магомета-Оглы и красавицу Зейнаб... Калым в нашей эпохе. Очень тонкая ирония! Но посмотрите, как это подано. Я даже не разобрал, то ли это бай, то ли коммунист... Удивительно!

Из двери выходят Серке, Джандосов и сотрудница.

ЯВЛЕНИЕ 16

Зенкевич, профессор, секретарша, Серке, Джандосов, сотрудница, артисты.

Сотрудница. Певцы из Туркестана... Пожалуйста... Идемте... Три человека? Правильно.

Туркмены уходят. Певцы с любопытством окружают Серке и Джандосова.

ЯВЛЕНИЕ 17

Зенкевич, профессор, секретарша, Серке, Джандосов, артисты.

Зенкевич. Ну, Серке, поздравляю! (*Жмет руки.*) Ты победил в Москве, сумей победить и в Париже. Тебе много дано, с тебя много и спросится.

Серке. Зачем меня очень хвалишь... Нехорошо... (*Замечает уходящего Джандосова*). Джандосов! Куда идешь? Погоди, вместе пойдем. Погоди!

Джандосов втягивает голову в плечи, молча уходит.

ЯВЛЕНИЕ 18

Зенкевич, профессор, секретарша, Серке, артисты.

Серке. Он обиделся. Зачем он обиделся? Я не хотел его обижать...

Стоит растерянный, неловкое положение.

Зенкевич. Это, конечно, для заслуженного артиста тяжело. Слава его первого певца умерла пять минут назад. Да, в той комнате... Джандосов это понимает... На смену пришел новый певец — Серке Алиев! (*Трясет руку Серке.*) Поздравляю, голубчик, поздравляю!..

Профессор. Разрешите мне также вас поздравить. (*Жмет руку.*)

Зенкевич. Виноват, я не познакомил... Профессор Мартынов, Серке Алиев...

Профессор. Мы уже...

Серке. Профессор! Ой, как хорошо! Замечательно хорошо!.. Маленькая просьба... Сейчас, сейчас! (*Лезет за пазуху, достает конверт.*) Посмотри, пожалуйста... Один хороший человек просил передать ученому человеку.

Профессор (*несколько смущен*). Странно. Конверт запечатан. Может быть, это не мне? Даже наверное...

Серке. Читай, пожалуйста... Пожалуйста, читай!..

Профессор. Я, право, не знаю. Ну, все равно. Если вы настаиваете...(*Накидывает пенснэ, читает.*) «Межпланетные сообщения между Марсом и СССР». Краткий конспект научного сочинения Петра Грибова». Позвольте, ничего не понимаю... Какие-то чертежи, цифры, формулы...

Серке. Это хороший человек писал. У нас его не ценят. Умолял меня отвезти в Москву, пусть помогут... На звезду человек дорогу ищет... Душа высокая, а науки мало... Заблудиться может. Помоги ему пожалуйста.

Профессор. Сергей Яковлевич! Может быть, вы что-нибудь придумаете? Тут Марс, планеты, сообщения. Одним словом, что-то вроде перепетуум мобиле...

Зенкевич (*берет тетрадку*). Забавно! Чем люди интересуются сейчас в глуши... А между прочим писал человек дельный. Обратите внимание в каждом слове по три ошибки, а математику все-таки знает... (*Секретарше.*) Зоя Александровна! Попросите от моего имени посмотреть Смирницкого. Пусть решит, что можно сделать для автора. Может быть, на рабфак послать...

Серке. Ой, как хорошо!

Зенкевич. Ну, что еще тебе нужно, Серке?

Серке. Еще? (*Думает.*) Я пел про красавицу Зейнаб и Магомета-Оглы. Скажи, чтобы за калым он не покупал Зейнаб. Не хочет Зейнаб за него замуж итти. Он силой заставляет. Коммунист... Председатель нашего города.

Профессор. Вот, вот, я нашел корни. Оказывается... Вы понимаете?.. Это совершенно неожиданно...

Зенкевич. Тогда это надо по линии ЦКК или женотдела. Зоя Александровна, возьмите на заметку пожалуйста.

Входит сотрудница.

ЯВЛЕНИЕ 19

Те же и сотрудница.

Сотрудница. Сергей Яковлевич! Вас просят! Певцы из Башкирии! Пожалуйста. Профессор Мартынов...

Певцы уходят.

Занавес.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Фешенебельный белогвардейский кафе-ресторан «Москва в Париже». Вечер. Музыка. Эстрадные номера. За столиком сидят Айтхожин, Долли и Ткач.

ЯВЛЕНИЕ 1

Айтхожин, Ткач и Долли

Айтхожин (*смотрит на часы*). Исключительный успех... Признаться, я думал, что большевики не послали Джандосова только потому, что он сочувствовал в свое время Алаш-Орде... Своеобразная по-

литическая месть. Но после первого выступления Серке Алиева я понял, что Джандосов перед ним — ничто...

Долли. Совершенно изумительный певец!

Айтхожин. (*смотрит на часы*). Помоему, они должны быть уже здесь.

Долли А ты не думаешь, что он откажется?

Айтхожин. Юсуп уверял, что нет. Они ужинали вместе... А сегодня утром, когда уже стали друзья-приятели. Вчера где-то Юсуп сказал ему, что с ним хочет познакомиться китайская принцесса и министр — он пришел в детский восторг.

Ткач. Бывшая китайская принцесса и бывший министр бывшего правительства.

Долли. Что у вас за страсть — всегда это подчеркивать!

Ткач. Виноват...

Айтхожин (*нервничает, смотрит на часы*). Я думаю, он все же приедет.

Ткач. Если бы Зин-Тин-Хау догадывалась, какую роль вы отводите ей в своих планах...сама выразила желание с ним познакомиться. А я только учел создавшуюся ситуацию и хочет из этого сделать общественно полезное дело.

Айтхожин. Позвольте, Зин-Тин-Хау.

Ткач. Вы — прекрасный шахматист... У вас против пешки играют сразу два офицера и вы еще двигаете королеву...

Айтхожин. Да, но какая пешка! Об этой пешке (*показывает газеты*) пишут уже статьи... Учтите политическое значение, если лучший советский певец, прогремевший на весь Париж, останется здесь...

Ткач. Не останется он...

Долли. Что вы каркаете, Леонид Петрович? Это, наконец, несносно

Айтхожин. Если даже не останется, но оставит какой-то документ, что он хотел остаться — я и то буду доволен. А такой документ я надеюсь сегодня обязательно получить.

Входит Серке под руку с Юсупом. У Серке — новый парижский костюм. Он немного выпил, возбужден. Юсуп подводит его к столику.

ЯВЛЕНИЕ 2

Айтхожин, Ткач, Долли, Серке, Юсуп.

Юсуп. Прошу... Мурза Галиевич Айтожин... Долли Павловна... Леонид Петрович... Мой друг Серке (*обнимает его.*) Пожалуйста... (*Серке знакомится.*)

Серке. Ты сказал, китайская принцесса будет? (*Смотрит на Долли*) Ты... Вы совсем не похожи на принцессу.

Юсуп. Зин-Тин-Хау еще нет?

Долли (*улыбается*). Да, я не принцесса.

Серке (*разочарованно*). А мне сказали — принцесса будет. Настоящая принцесса.

Юсуп. Обязательно будет. (*Совещается с Айтхожиным.*)

Айтхожин (*Юсупу*). Вы тогда позвоните... А для ускорения этого дела, может быть, Леонид Петрович с'ездит на моей машине? Леонид Петрович!

Совещается с Ткачем. Ткач уходит.

ЯВЛЕНИЕ 3.

Серке, Долли, Айтхожин, Юсуп.

Айтхожин. Я обрадовался, когда узнал из газет о вашем приезде в Париж. Для меня, казака, была сладостна мысль, что я услышу вновь свои родные напевы. Я восемь лет живу в Париже... Вы, вероятно, знаете, кем я был раньше?..

Серке (*простодушно*). Нет, совсем не знаю.

Айтхожин (*несколько оскорбленно*). Странно... Неужели имя мое уже забыто в Казакстане? Я был министром финансов правительства Алаш-Орды... Неужели меня никто не помнит?

Серке (*еще простодушнее*). Никто не помнит.

Айтхожин. Странно! Довольно странно.

Долли. Мне кажется, это об'ясняется довольно просто. Мосье Алиев был тогда очень молод.

Играет музыка. Танцующие пары. Серке с любопытством наблюдает жизнь кафе.

Айтхожин. Вы — гениальный певец. Но у вас нет школы. Вам надо учиться и тогда вы будете вторым Шаляпиным.

Серке. Зачем меня очень хвалишь?

Айтхожин. Я говорю правду. Вам надо учиться у хороших профессоров. А лучше всего — поехать в Италию.

ЯВЛЕНИЕ 4

Серке, Долли, Юсуп, князь Друцкой.

Князь Друцкой (*отзывает Айтхожина*). Простите, я слышал — сейчас при-

дет принцесса Зин-Тин-Хау?.. Может быть, вы желаете занять отдельный кабинет?

Айтхожин. Нет, не беспокойтесь!

Князь Друцкой. По существующей традиции, высоких гостей мы встречаем национальным гимном. Какой хотите: русский, китайский?

Айтхожин. Если это обязательно, то все равно...

Долли. Лучше китайский...

Князь Друцкой. Слушаюсь... *(Отходит.)*

Долли *(Серке)*. Принцесса прекрасно знает русский и казакский язык. Она занималась с моим мужем.

Серке. Казакский язык? Интересно.

Долли. Принцесса очень образованная женщина. В этом году она кончила в Париже университет. Она — ученый этнограф. Вдобавок она красавица...

Серке. Красавица! Это еще интереснее!

ЯВЛЕНИЕ 5

Серке, Долли, Айтхожин, Юсуп, князь Друцкой, Зин-Тин-Хау, леди Фэрфильд

Кн. Друцкой *(быстро входит и предупреждает)*. Принцесса Зин-Тин-Хау приехала.

Проходит к оркестру, разговаривает с дирижером, оркестр играет.

Айтхожин. Вы меня простите!

Уходит вместе с Юсупом. В кафе любопытство, вытягиваются шеи. Серке и Долли остаются за столиком одни.

Серке. Ни разу в жизни не видел принцессу. Юсуп говорит — пойдем, настоящую принцессу посмотреть. В Москве настоящего наркома видал, министра видел — вашего мужа, а принцессу ни разу не видел...

Долли. Теперь посмотрите.

Приближается Зин-Тин-Хау в шикарном парижском костюме. Ее почтительно сопровождают Айтхожин, леди Фэрфильд, Ткач, Юсуп. В зале любопытство.

Серке *(робеет)*. Что-то мне страшно!.. *(Быстро берет стакан с вином)*. Чтоб храбрее быть... А? *(Смотрит на Долли, залпом выпивает.)*

Долли *(в ужасе)*. Мосье Алиев! Ради бога!..

Серке *(обтирает рот)*. Ничего, ничего! Не беспокойтесь! Для меня это хорошо! Я каждый раз как петь надо... Один стаканчик и замечательно...

Подходит Зин-Тин-Хау. Серке встает.

Зин-Тин-Хау. Где же этот знаменитый певец?

Айтхожин. Он сидит с Долли Павловной. *(Вполголоса.)* Я хочу вас предупредить... Посоветуйте ему не возвращаться. Я бы предоставил возможность учиться в Италии.

Зин-Тин-Хау. Почему вы думаете, что он исполнит мой совет?

Айтхожин. Вас невозможно не послушать.

Зин-Тин-Хау. Вы даже в искусство стремитесь внести политику...

Айтхожин. В данном случае — нет. Я только хочу отшлифовать драгоценный камень. Серьезно. А кроме того, наши интересы сходятся. Вы работаете над книгой «Импровизации восточных народов»... Для вас Серке Алиев — клад. Это лучший импровизатор Казакстана. Представьте — он остался в Европе. У вас в руках прекрасный материал. Подойдите с точки зрения этнографа, если политические стремления вас не волнуют *(Подходит к столику.)* Разрешите вам представить лучшего певца моей родины — Серке Алиева... *(Знакомит)*

Зин-Тин-Хау *(Серке)*. Я была на советских концертах и слышала вас одиннадцать раз. Вы мне очень понравились.

Серке *(оправляясь от смущения)*. Это — приятно.

Пришедшие усаживаются за столик.

Зин-Тин-Хау. Мне особенно врезалась в память песнь о бедном юноше, стремящемся на звезду. Должна вам сказать, что это неожиданно и вдобавок выпадает из общего плана наших представлений о кочевой жизни. Это скорее от урбанизма. Что вы на это скажете?

Серке *(оглушен обилием непонятных слов)*. Ничего не скажу.. Ничего!

Айтхожин *(Зин-Тин-Хау вполголоса)*. Ваш язык для него сложен. Я забыл вас предупредить — ведь у него нет образования.

Зин-Тин-Хау *(к Серке)*. Простите... *(Замешалась)*. Да... Все это замечательно интересно. Этот концерт народов СССР переменил лично мои взгляды на советскую Россию. Оказывается, Россия, вовсе не идет к вырождению. Напротив, там бьется

культурная жизнь. И, знаете, мне очень хочется посмотреть вашу страну. Самой убедиться... Да, да, самой...

Айтхожин. Вы эксцентричны, принцесса.

Зин-Тин-Хау. Очень скоро я еду в Китай. На этот раз я хочу отказаться от путешествия морем. Я думаю поехать через Советский Союз — на Туркестан. Я буду проезжать вашу родину...

Серке *(быстро хмелеет)*. Очень хорошо! Приезжай в гости.

Официанты подают ужин. Чокаются, пьют.

Разговор за соседним столиком:

— Вы не знаете, кто это?

— Айтхожин. Министр финансов киргизского правительства...

— А... Это тот самый... Который?..

— Ну да... Тот самый, который обворовал киргиз и во время унес ноги.

— Что он сейчас делает?

— Покровительствует искусству. Видите, советского певца обхаживает.

— Но при чем тут принцесса?

— Она дружит с Айтхожиным.

— Эксцентричная женщина, говорят.

— Очень!

— Сегодня цыганский хор будет?

— Будет. Но эти цыгане — увы — имитация! Наш брат — безработный офицер, с чадами и домочадцами.

Серке. Никогда не видел принцесс.. Я думал — принцесса иначе как-нибудь.

Зин-Тин-Хау. Как же вы думали?

Серке. А так что-нибудь особенное...

Долли. Это замечательно!

Разговор за соседним столиком:

— Игорь Николаевич, вы его слышали?

— Простите, за кого вы меня принимаете!

— Да он, оказывается, дикарь!

— Законченный. Смотрите, как он ест.

— Бедная Россия!

Айтхожин *(к Зин-Тин-Хау)*. До вашего прихода у нас с господином Серке Алиевым была интересная беседа. Я выдвигал такую мысль, что господину Алиеву для отшлифовки своего исключительного таланта необходимо было бы остаться года на три в Европе. Как вы находите?

Зин-Тин-Хау. Вы подали совершенно правильную мысль. Учиться безусловно надо. И, конечно, учиться только в Европе. Здесь лучшие музыкальные силы.

Айтхожин. Как видите, принцесса советует то же самое.

Юсуп. Серке! Оставайся, мы будем жить с тобой вместе. Весело будем жить!

Серке. Ты хороший человек, Юсуп! Люблю! Без тебя мне будет скучно.

Айтхожин. Не откладывайте решения в долгий ящик. Ваше согласие, и вы можете хоть завтра ехать в Италию.

Зин-Тин-Хау Вы будете мировым артистом, если получите музыкальное образование. Безусловно, все данные для этого у вас налицо.

Долли. Ну, зачем вам ехать обратно в какую-то дикую степь?

Юсуп. Серке! Зачем много думаешь? От друга уехать хочешь? Что тебе жалеть? Отца — нет, матери — нет. Один...

Серке *(задумчиво)*. Зейнаб там осталась!

Юсуп. Смешной человек! Так ведь Зейнаб вышла замуж за Магомета-Оглы. Ты сам рассказывал...

Серке *(гневно ударяет по столу кулаком)*. Магомет-Оглы — собака! Я на него жаловался в Москве. Ему еще будет плохо!

Разговор за соседним столиком:

— Мне непонятно, почему за этим хамом так ухаживают?..

— Это хам политический. В этом весь секрет.

— Я бы с удовольствием вышвырнул его на улицу.

Айтхожин. Хорошо, давайте сделаем какие-то выводы из нашего разговора. Господин Алиев, надеюсь, понимает, что все, что здесь говорится, — в его интересах. Мы, его новые друзья, думаем лишь только о том, чтобы талант господина Алиева мог развернуться во всем блеске. Я думаю, что можно сейчас послать телеграмму в Милан профессору Гальдони о вашем желании приехать к нему учиться. А?

Серке *(мнется)*. Зачем так скоро?

Айтхожин. Дело в том, что профессор может уехать.

Серке. Ну, куда он в один день уедет?

Долли. Все может быть уверяю вас.

Долли. Серке! Выпьем! *(Наливает)*. Счастье в руки... Соглашайся, Серке, соглашайся! Ведь я же твой друг. Неужели ты

думаешь, что я могу тебе посоветовать что-либо плохое?

Серке. Зачем плохое? Учиться? Тут ничего плохого нет.

Зин-Тин-Хау. Я очень рада, что вы так думаете. Это правильно, правильно!

Айтхожин. Прекрасно! Совершенно верно! У вас тонкий ум.

Серке *(укоризненно)*. Зечем меня хвалишь? Нехорошо!

Зин-Тин-Хау. Господа, мы тратим много лишних слов. Мурза Галиевич, приступайте к делу. Составляйте сейчас же текст телеграммы. Берите бумагу, карандаш и пишите... Господин Алиев сам сейчас признал, что учиться ему необходимо. Какие могут теперь еще быть разговоры. Немедленно составляйте телеграмму...

Айтхожин *(быстро пишет в блокноте)*. «Милан... Профессору Гальдони. Желая остаться Европе целью совершенствования... Прошу сообщить ваше согласие принять меня... Условия ваши известны... Выеду завтра личных переговоров... Серке Алиев».

Зин-Тин-Хау *(хлопает в ладоши)*. Поздравляю, поздравляю, поздравляю!..

Айтхожин. Телеграмму я составил, но вы на ней распишитесь. Можно по-русски... По-казакски... Все равно, как хотите. Ну-у? Пожалуйста.

Серке. Нет. *(Качает головой.)* Не надо!

Айтхожин. Но ведь вы уже согласились?

Зин-Тин-Хау. А я вас уже поздравила...

Юсуп *(наливает вино)*. Серке! Нехорошо поступаешь. Сейчас сказал — еду, а теперь — нет. Будь настоящий мужчина. *(Пододвигает стакан.)* Какой же ты казак!

Зин-Тин-Хау. Совершенно верно! Гальдони — крупнейший ученый. Он вам много даст. Почему вы не хотите? Ну, скажите мне откровенно! *(Кокетничает.)* Серьезно. Прошу вас. Пожалуйста!..

Серке. Ну, хорошо, я поеду.

Долли. Прекрасно! Давайте выпьем за ваше решенье. Господа, тост!..

Все поднимают бокалы, чокаются.

Айтхожин *(к Серке)*. Теперь вы должны подписать телеграмму. Обязательно!

Зин-Тин-Хау. Да, да... Обязательно подписывайте.

Юсуп. Разрешите, Мурза Галиевич! *(Берет лист.)* Серке, подписывайся. Такой пустяк. *(Пододвигает стакан с вином.)* Вот тебе перо...

Серке *(неловко держит ручку в руках)*. Товарищи, зачем телеграмма...

Зин-Тин-Хау. Видите, с каким нетерпением мы ждем вашей подписи. Не заставляйте нас томиться.

Юсуп *(видит, что Серке не знает, как отвинтить перо)*. Ну-ка, дай, Серке. *(Берет ручку и вывинчивает перо.)* Пиши...

Серке *(растерянно)*. Ну, зачем писать?..

Серке держит бумагу и перо. Руки его дрожат. Он страдальчески улыбается. Бумага падает на пол. Он закрывает лицо. Трясутся плечи. Неловкая тишина.

Зин-Тин-Хау. Вам тяжело порывать с родиной? Вы ее очень любите?

Серке. Мне стыдно...

Зин-Тин-Хау. Стыдно учиться? Простите, вот этого я никак не понимаю!

Серке. Ой, нет, совсем не потому!

Зин-Тин-Хау. Ну, в чем же дело тогда? Скажите!

Серке. Не скажу!

Зин-Тин-Хау. Тут ваши друзья. Будем искренни... Говорите, какие сомнения вас тревожат? Ведь вам же никто не хочет зла. Почему вы не хотите подписать телеграмму?

Серке. Я хочу, но... не могу...

Зин-Тин-Хау. Почему?

Серке *(конфузливо)*. Неграмотный. Писать не умею...

Зин-Тин-Хау. Неграмотный! *(Изумленно.)*. Не умеет писать! Это невероятно!

Айтхожин *(морщится)*. Какая нелепица!

Ткач. Действительно, замечательный номер!

Серке. Стыдно мне... Одежда теперь важная... *(Осматривает костюм.)* А неграмотный... Ой, стыдно!.. За советский Казакстан стыдно... перед Парижем...

Зин-Тин-Хау. Тем более вам надо остаться здесь. Оставайтесь. Я вам даю обещание помочь, оказать поддержку. Сделать все, что могу...

Юсуп *(Айтхожину)*. Что теперь делать? Вы хотели получить документ. Я сделал все, что мог.

Айтхожин *(с раздражением)*. Теперь он вытрезвился и все забудет.

Юсуп. Я могу его накачивать до бесконечности.

Айтхожин. Ах, как это глупо! *(К Серке.)* Ну, что же, я думаю, телеграмму можно будет отправить и без вашей подписи. Разрешите мне подписать за вас?

Серке *(радостно)*. Пиши... пиши... Все равно... Пожалуйста, пиши..:

Зин-Тин-Хау. Значит, едете? Решили? Твердо? Окончательно?

Серке. Обязательно еду. Почему не поехать?

Зин-Тин-Хау. Ну, вот и прекрасно! Прекрасно! Прекрасно! За ваше окончательное решение. Я очень рада. Очень рада...

Чокаются, пьют.

ЯВЛЕНИЕ 6

Те же и официант.

Официант. Мосье Алиев! Виноват. Вас вызывают на одну минутку.

Серке. Кто меня вызывает?

Официант. Зенкевич.

Серке *(радостно)*. А-а-а! Зенкевич! Сейчас... Минутку одну... Юсуп, сказать что-то хочу. *(Шепчет на ухо.)*

Юсуп. Простите. Мой друг спрашивает разрешения пригласить своего московского знакомого...

Айтхожин. Я не знаю.

(Смотрит на Зин-Тин-Хау.)

Зин-Тин-Хау. Ну, конечно, разумеется...

Серке *(встает, сильно покачивается)*. Ой ноги совсем плохие стали..

Айтхожин делает знаки Юсупу. Серке уходит. За ним Юсуп. Встречают Зенкевича. Разговор в стороне.

ЯВЛЕНИЕ 7

Серке, Юсуп, Зенкевич.

Зенкевич. Дорогой Серке! Вас прямо не узнать! *(Здороваются.)* Я приехал вчера, разыскивал вас целый день и, наконец, узнал, что вас повезли в этот кабак... *(Тихо.)* Куда вы попали? Ведь это белогвардейский притон. С кем вы здесь пьете? Почему вы здесь? Что это за подозрительная личность трется около вас? А?

Серке. Прости, сейчас познакомлю. Мой дружок — Юсуп. Тоже казак. Замечательно хороший человек! Это такой человек! Юсуп!

Зенкевич. Оставьте вы этих хороших людей. Они не доведут до добра.

Серке. Не говори так! Не надо... Не обижай напрасно... Он обо мне все время заботится. Ой, сколько он мне подарков сделал! Смотри, какой галстук подарил хороший... шелковый... Настоящий парижский галстук! Он, хочет со мной ехать в... в... Как это?.. *(Думает.)* Вспомнил! в Италию!

Зенкевич. В какую Италию?!

Серке. К профессору. Учить меня. Бесплатно учить будут. Чтоб Шаляпина сделать.

Юсуп. Серке! *(Манит пальцем.)* Серке!

Зенкевич. Какой вы непроходимый дурак, Серке! Честное слово! Сейчас же едемте отсюда вон. Ни одной секунды здесь. Слышите?

Юсуп. Серке! Два слова сказать надо! Поди ко мне.

Серке. Сейчас. А как же — нас там дожидают...

Юсуп. Серке! Очень важное дело есть! Слышишь?

Серке. Сейчас, сейчас... Одну минуту... Не беспокойся!

Зенкевич. Кто там дожидает?

Серке. Министр и китайская принцесса.

Юсуп. Если ты мой друг — подойди ко мне сейчас же... Очень важное дело есть, говорю тебе!

Зенкевич. Вы совсем сумасшедший. Идемте!

Юсуп. Серке! Не ходи! Подожди! Зачем же ты хочешь уходить?

Серке растерянно смотрит то на одного, то на другого.

Серке. Никуда я уходить не хочу.

Зенкевич. Если вы здесь останетесь хотя на одну минуту, я с вами не скажу никогда ни одного слова.

Юсуп. Меня, старого друга, хочешь переменить?

Серке. Юсуп, Юсуп! Не сердись! Никуда я без тебя не пойду.

Зенкевич. Решайте быстрее, мне некогда...

Юсуп. Эх, ты, Серке! А еще казак... Как тебе не стыдно! Я — казак, ты — казак, а он русский... Ну, чего ты думаешь, скажи, чтобы он прочь ушел.

Зенкевич поворачивается и уходит.

Юсуп. Вот и прекрасно. Пусть идет к черту. Пойдем, Серке!

Серке несколько минут думает, вырывается и нагоняет Зенкевича.

Серке. Подожди, подожди! Пойдем вместе. Не надо на меня сердиться... Ну, не поеду я в Италию. На что мне Италия? *(Плюет.)* Тьфу! Вот мне Италия... Не хочешь? Не поеду. Барабир!

Уходит вместе с Зенкевичем. Юсуп вначале догоняет. Потом бежит обратно. Возвращается к столику.

ЯВЛЕНИЕ 8

Зин-Тин-Хау, Айтхожин, Долли, Ткач, Юсуп, леди, Фэрфильд

Зин-Тин-Хау. Где же ваш певец с московским гостем?

Юсуп *(тихо Айтхожину)*. Произошло несчастье. Приехал его знакомый и увел.

Айтхожин *(гневно)*. Как увел? А вы что смотрели?

Юсуп. Что я мог сделать?

Айтхожин. Вы? Пили бы меньше.

Зин-Тин-Хау. Куда же делся певец?

Айтхожин. Ушел, или, вернее сказать, его увели...

Зин-Тин-Хау. Надеюсь, он вернется...

Айтхожин. Я боюсь это сказать.

Юсуп. По-моему — нет.

Зин-Тин-Хау. Как же это так — уйти, не предупредив, не извиниться...

Ткач. Советский дикарь.

Зин-Тин-Хау. Что вы сказали?

Ткач. Я говорю — советский дикарь...

Зин-Тин-Хау. Позвольте, он ведь дал согласие ехать чуть ли не завтра в Италию.

Долли. Что же теперь делать?

Айтхожин. А вот что.

Медленно разрывает телеграмму, англичанка с изумлением смотрит на окружающих.

Занавес.

КАРТИНА четвертая.

Декорация первой картины. В чайхане им. Розы Люксембург происходит собрание. Толпа облепила окна и двери. Фотограф на старом месте. Рядом с ним пристроились шашлычник и кумысник. У забора, с правой стороны, валяется нищий-казак. Когда его слишком беспокоят насекомые — он с ожесточением чешется. Шамсутдин из канцелярии уоно выносит стол на площадь.

ЯВЛЕНИЕ 1

Файзулла, Шамсутдин, шашлычник, кумысник.

Шашлычник *(раздувая угольья, песню)*.

Айналаин кара-касым...
Айналаин кара-касым...
Ай мандаин ашик тасым...
Айналаин кара-касым...

Файзулла. Зачем стол несешь?

Шамсутдин. Собрание на улицу решили перенести. Народу пришло очень много. Сейчас перерыв хотят сделать. Товарищ Шахматова сказала: неси стол на улицу.

Файзулла. Правда говорят. Магомета-Оглы из партии выгонят?

Шамсутдин. Обязательно. Телеграмма из Москвы пришла. Мало-мало чистить Магомета-Оглы надо.

Файзулла. Вот это хорошо! Такую собаку палками частить надо. Богатый бай, а в коммунисты записался первым.

Шамсутдин. Помнишь, в прошлом году баранов сколько резал, чтобы его председателем выбрали!.. Однако, тыщу штук...

Файзулла. Я тоже тогда плову наелся. Живот как арбуз стал...

Шамсутдин. Вот такие дураки, как ты, плов ели, а умным людям страдать пришлось...

Файзулла. А ты разве не ел?

Шамсутдин *(гневно)*. Я? Вот мне его плов! *(Плюет.)* Тьфу!

Файзулла. Ой, какой сердитый!

Шамсутдин. Я сердитый, а ты умный, как ишак! *(Устанавливает стол.)* Слыхал? В земотделе сегодня большой скандал был. Саранча летит с Балхаша. В Чилике сожрала все и дальше на наш город полетела.

Файзулла. Саранча? Слыхал! У, это страшно! Саранча — хуже, чем Магомет-Оглы!

Шамсутдин. Слыхал? Серке вчера вернулся из Парижа. В Москве Джандосова победил. Знаменитый певец стал. Первый на Казакстан!

Файзулла. Теперь гордый будет!

Шамсутдин. Платье на нем какое! Шляпа какая! Очки одеть — совсем важный будет. Магомет-Оглы увидел, весь черный стал от зависти...

Файзулла *(смеется)*. Хо, хо, хо!.. Это хорошо!

Шамсутдин. Слыхал, Магомет-Оглы за Зейнаб четыре коровы отцу отдал и двенадцать баранов. Отец рад! Ой, ой, как рад! Четыре коровы, двенадцать баранов! Говорят, за это его и из партии обязательно выгонят.

Файзулла. Справедливо. Какой же ты коммунист, если у тебя три жены.

В чайхане гремят аплодисменты. В сопровождении Имбергенева появляется Зин-Тин-Хау в дорожном костюме, через плечо кодак. С нею леди Фэрфильд.

ЯВЛЕНИЕ 2

Файзулла, Шамсутдин, Зин-Тин-Хау, Имбергенев, леди Фэрфильд, шашлычник, кумысник

Имбергенев. Наш город не имеет достопримечательностей. Я прямо затрудняюсь, что вам показать. Уисполком я вам показывал, уземотдел показывал, базар показывал. Вот здесь, видите, уоно. Я как раз являюсь завуоно.

Шашлычник. А вот шашлык горячий, душистый, ананасный, а вот шашлык горячий, душистый, ананасный!

Зин-Тин-Хау. По пути в Китай я хотела осмотреть казакский город, где сохранилось еще средневековье. Мне посоветовали сделать небольшой крюк и посетить ваш город. Я первый раз еду через Советский Союз. Обычно из Парижа я возвращалась морским путем.

Кумысник. Кумысу, кумысу, кумысу *(к Имбергеневу)*. Хозяин, будешь кумыс пить? Замечательный кумыс...

Зин-Тин-Хау *(подходит к тутовому дереву, читает вывеску)*. «Улица имени Магомета-Оглы»... Скажите, кто такой Магомет-Оглы? Это исторический герой? Это легендарное имя?

Имбергенев. Нет, это наш председатель уисполкома.

Зин-Тин-Хау. Почему его именем названа улица?

Имбергенев *(мнется)*. Я вам затрудняюсь сказать это точно...

Зин-Тин-Хау. Вы мне разрешите сфотографировать эту дощечку...

Имбергенев. Пожалуйста!

Лэди Фэрфильд. Ай, ондэрстенд, ай, ондэрстенд!

Зин-Тин-Хау щелкает аппаратом. Об'ясняет что-то леди Фэрфильд по-английски.

Зин-Тин-Хау. Я была бы очень довольна, если б мне удалось снять вашего председателя. Если в честь его названа улица — очевидно это исключительная личность, герой. Вы меня после познакомите с ним?

Имбергенев. Хорошо!

Зин-Тин-Хау об'ясняет леди Фэрфильд.

Леди Фэрфильд. Ай ондэрстенд...

Зин-Тин-Хау. Скажите, почему там так много собралось людей? *(Показывает на чайхану.)*

Имбергенев. Открытое партийное собрание происходит.

Зин-Тин-Хау. А почему такой шум?

Имбергенев. Народ горячится.

Зин-Тин-Хау. Скажите, чем же все-таки может похвастать ваш город? Вот есть Магомет-Оглы... Ну, еще есть какие-нибудь замечательные люди?

Имбергенев *(думает)*. Совершенно верно! У нас есть замечательный человек! Серке Алиев! Знаменитый певец будет. В Москве Джандосова победил. В Париж ездил на всемирную выставку. *(К Шамсутдину.)* Не видал, где Серке Алиев?

Шамсутдин. На собрании. Магомета-Оглы чистит. Сбегать за ним? Позвать?

Имбергенев. Не надо! *(К Зин-Тин-Хау.)* Я вас после познакомлю с Серке Алиевым.

Зин-Тин-Хау. Пожалуйста! Я его видела один раз. Когда он пел в Париже...

Имбергенев. Пойдемте еще по этой улице. Я еще вам покажу... *(Проходят.)*

ЯВЛЕНИЕ 3

Шамсутдин, Файзулла, шашлычник, кумысник.

Файзулла. Видал? Какая важная птица... А?

Шамсутдин. Сегодня в уоно приходила. Из Москвы с мандатом приехала. Мандат — во! В полтора аршина. В Китай едет. Имбергенев целый день по городу водит. Устал. Бедный человек!

Файзулла. А с ней женщина какая смешная! *(Передразнивает.)* Андырстыд.

В чайхане гремят аплодисменты. Шум. Крики. Движение.

Шамсутдин. Никак кончили?

Файзулла. Перерыв будет сейчас.

Из чайханы выходит публика, среди которой Шахматова и Павлова. Возбужденные разговоры. Кумысник торгует кумысом.

ЯВЛЕНИЕ 4

Шамсутдин, Файзулла, шашлычник, кумысник, Шахматова, Павлова, Серке, толпа.

Шашлычник *(поет, зазывает покупателей)*. А вот шашлык горячий, вкусный, ананасный... А вот шашлык горячий, вкусный, ананасный... Хозяин, плати деньги! А вот шашлык горя... Хозяин, еще пятачок... Горячий, приятный... *(Бойкая торговля шашлыком.)* Ананасный...

Кумысник. А вот кумыс, кумыс, кумыс, кумыс, кумыс!..

Голоса. Давай снимемся на карточку.

— Сейчас собрание будет, не поспеем.

— Ну как не поспеем, еще десять минут...

— Ну, давай снимемся...

Фотограф снимает. Зеваки мешают. Фотограф сердится. Перебранка. Отгоняет любопытных.

Шахматова. Как вы думаете, песня Магомета-Оглы?

Павлова. Окончательно и бесповоротно. Ведь чистка назначена по телеграмме из Москвы. Титов ознакомился и словно сбесился. Я, говорит, по семейному это дело не хочу кончать. Я, говорит, на всю республику скандал закачу. Вот, говорит, до чего оппортунизм доводит... У вас бай во главе города стоял...

Появляется Серке. На нем хороший костюм. Сразу же его окружают.

ЯВЛЕНИЕ 5

Файзулла, Шамсутдин, шашлычник, кумысник, Шахматова, Павлова, Серке, толпа.

Голоса: Товарищу Серке! Привет!

— Как доехали, товарищ Серке?

— Поздравляем с успехом, товарищ Серке!

— Как вам понравился Париж?

— Хорошо ли себя чувствуете после долгой дороги?

Серке *(раскланивается и пожимает руки)*. Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Голоса: Мы слышали, что в Москве вы победили Джандосова?..

— Вас сам нарком слушал, говорят?

— Правда, что вас приглашают в театр петь?

— Вероятно теперь вы из нашего города уедете?

— Товарищ Серке, не найдете ли время зайти в гости...

— Товарищ Серке, я слышал, вы ищете комнату, могу предложить...

— Товарищ Серке, я всегда к вам относился хорошо...

— Товарищ Серке, а помните, мы с вами вместе у Султангалиева были...

— Товарищ Серке, не хотите ли вы со мной охотиться на фазанов пойти...

— Товарищ Серке, давайте с вами снимемся на одну карточку... Я заплачу...

— Ишь ты, да у него сейчас денег больше, чем у тебя...

Файзулла *(Шамсутдину)*. Ай, ай, ай. Смотри, Шамсутдин, как его народ облепил... Почему они раньше его так не любили!.. Какой народ подлый пошел...

Шамсутдин. Файзулла! Тут есть политика...

ЯВЛЕНИЕ 6

Шамсутдин, Файзулла, шашлычник, кумысник, Шахматова, Павлова, Серке, Магомет-Оглы и толпа.

Магомет-Оглы *(идет; все отворачиваются)*. Серке! Гордый стал... Не здороваешься. Ну, здравствуй... Расскажи, как ездил в Москву и Париж. Ишь, гордый стал... *(Неловкая тишина.)*

Серке *(пристально смотрит)*. С подлым человеком не хочу разговаривать...

Магомет-Оглы. Что-о! *(Неестественно смеется.)* Вот смешной, как шутит... *(Втягивает голову в плечи, мрачнеет, отходит в сторону.)*

Голоса. Товарищ Серке, давайте сядем!

— Товарищ Серке, лучше здесь. А то там комары будут кусать...

— Товарищ Серке, я халат постелил. Садись на мой халат!

Серке. Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Голоса. Товарищ Серке, я кумысу принес, выпей кумысу!

— Кассе выполосни, дурак!

— Будет он твой кумыс пить. Смотри, сколько мух в нем плавает.

— Что ты толкаешь меня!

— Товарищ Серке, вот кумыс! Пейте!..

ЯВЛЕНИЕ 7

Те же, Зин-Тин-Хау, Имбергенев, леди Фэрфильд

Зин-Тин-Хау. Скажите, почему собралось так много народу?

Имбергенев. Собрание решили перенести на улицу. В помещении не хватает места.

Зин-Тин-Хау. А это мне нравится. Это очень экзотично. *(Разглядывает в лорнет.)* Скажите, кого это с таким почтением окружила толпа?

Имбергенев. Это как раз Серке Алиев, о котором я вам говорил. Наш народ с большим уважением относится к певцам.

Зин-Тин-Хау. Я хотела бы с ним поговорить.

Имбергенев *(Шамсутдину)*. Позови ко мне Серке.

Шамсутдин. Один момент...

Шамсутдин подбегает к Серке, говорит ему на ухо. Серке поднимается. Медленно идет за Шамсутдином. За ним толпа. Зин-Тин-Хау беседует с леди Фэрфильд.

Леди Фэрфильд. Ай ондэрстенд, ай ондэрстенд!..

Имбергенев. Серке, с тобой хочет познакомиться ученая женщина...

Серке подходит.

Зин-Тин-Хау *(протягивает руку)*. Здравствуйте, господин Алиев!

Голоса. Слыхал, господином назвала?

— Хо, я думаю, теперь с Серке не шути!

— Джандосона победил, самого Джандосова.

Зин-Тин-Хау. Я вас видела в Париже.

Серке *(внимательно всматривается)*. Что-то не помню. В Париже много народу было.

Зин-Тин-Хау. Мы с вами были вместе в кафе.

Серке. В кафе? Много раз бывал. Юсуп меня возил.

Имбергенев *(на толпу)*. А вам надо? Пошли вон. *(Отгоняет.)*

Зин-Тин-Хау. Там был еще Айтхожин, бывший министр.

Серке. Вспомнил, вспомнил. Китайская принцесса! Я... пьяный немножко был тогда... Зенкевич меня повез домой. Помню, помню!

Зин-Тин-Хау. Ваши импровизации мне очень понравились. Я хорошо знаю казакский язык... *(Разговаривая, уходят по улице. Сзади идет леди Фэрфильд).*

Имбергенев *(Шахматовой)*. Анна Федоровна, минуточку внимания... *(отходят в сторону)*. Вы знаете, какая штука. Эта самая китайская женщина — принцесса. А?

Шахматова. Откуда вы знаете?

Имбергенев. Серке сейчас сказал.

Шахматова. Ну, и чорт с ней. Вам-то какое дело!

Имбергенев. Как какое дело!

Шахматова. Мандат у ней правильный. От Наркомпроса. Ученый этнограф. Едет с англичанкой через СССР в Китай... Оказывать в пути содействие... Что еще? А социальное происхождение иностранных подданных — это не наше дело! Нас не касается.

Имбергенев. Но ведь она хочет смотреть, как будет происходить чистка!

Шахматова. Ну, и пусть смотрит! Подумаешь, беда какая!

Появляется Титов.

ЯВЛЕНИЕ 8

Те же и Титов.

Имбергенев. Я думаю все-таки Титова спросить.

Шахматова. Ну, что ж, спросите...

Имбергенев подходит к Титову. Что-то об'ясняет ему.

Титов. Какая она к чорту принцесса... Должно быть, из бывших... В Китае же давно республика. Хочет смотреть — пусть смотрит... мне, по совести говоря, наплевать...

Имбергенев. А если она снимать захочет?

Титов *(недовольно)*. Я собственно не понимаю, почему вы с этой стервой столько возитесь.

Имбергенев. Да ведь я же вам сказал, что у ней бумажка из Наркомпроса...

Титов. Ну, если бумажка... *(Торопливо идет к столу.)* Тогда дело другое...

Члены президиума занимают места за столом. Титов долго звонит в колокольчик. Публика устраивается поудобнее. Большинство садится по-восточному на пол. Часть стоит. Часть забралась на забор. Появляется Серке. Кумысник и шашлычник ведут торговлю.

Титов. Товарищи! Внимание! Давайте продолжать собрание.

Голоса. Тише, тише...

Титов. Товарищи! Сейчас мы должны будем приступить к чистке нашей парторганизации.

Шум. Титов звонит.

Голоса. Тише, тише!.. Ничего не слышно!..

Титов. Не забудьте, что это ответственнейшее дело... *(шум)* очистить организацию от примазавшегося байского элемента.

Голоса. Тише! Перестаньте шуметь!

Шум.

Серке *(кричит с возмущением)* Сидите тихо! Ничего не слышно! Словно бараны!

Голоса. — Ну, теперь Магомету-Оглы крышка...

— У него пять тысяч баранов в степи...

— Тише тише.. Ничего не слышно!..

Титов *(звонит)*. Товарищи! Прошу прекратить разговоры! Сейчас мы начинаем чистку... *(Совещается с членами комиссии. Постепенно наступает тишина)* Первым проходит чистку товарищ Магомет-Оглы.. Товарищ Магомет-Оглы пожалуйте сюда

Магомет-Оглы поднимается и, опираясь на палку, идет к столу.

Титов. Расскажите собранию вашу биографию.

Магомет-Оглы *(откашливается)*. Могу... Кхе... кхе... Родился я в Каркаралинском уезде в урочище Джель-Дзе-Узек... Отец мой был казак

Голоса. Бай твой отец был.

Магомет-Оглы... Мать моя была казачка и я — тоже казак...

Голоса. Спекулянт он бай!..

Магомет-Оглы. Детство мое было тяжелое... Я много работал...

Голоса. На нашей шее работал...

Шум.

Магомет-Оглы. Ой, как много работал. Я в степи пас баранов. Солнце печет жарко, жарко. Воды нет рядом нисколько А я пасу баранов...

Серке. Бараны свои были или чужие?

Магомет-Оглы *(неуверенно)*. Чужие!

Серке. Зачем обманываешь? Правильно надо говорить. Баем был! Отец бай, сам бай! Так и скажи!..

Магомет-Оглы. Что я тебе, Серке, дурного сделал? Зачем вставляешь слова куда не надо? Ты ведь не знаешь, какой я был? Тебя тогда на свете не было вовсе! Зачем лезешь, куда тебя не спрашивают...

Титов *(звонит в колокольчик)*. Товарищи, прошу не перебивать!..

Голоса. Правильно Серке говорит!.. Правильно!..

Магомет-Оглы. Председатель! Скажи ему, пожалуйста, чтобы он не перебивал.

Титов. Продолжайте!

Магомет-Оглы. Потом я женился...

Голоса. А сколько жен было? Две? Три? А калым какой заплатил?

Магомет-Оглы ...хозяйство вел...

Голоса. А сколько батраков держал?

Магомет-Оглы. Все шло хорошо В шестнадцатом году я принимал участие в восстании. Вот что я скажу. В восстании я принимал участие! Это верно... Царь велел казакам в солдаты итти на войну, а я сам не пошел и другим не велел...

Голоса. Ишь, какой храбрый!

Магомет-Оглы. Я в степь уехал Меня никак не найти было!..

Поднимается шум Председатель звонит. Тишина.

Титов. Тише товарищи!

Шахматова. Почему так темно? Неужели будет гроза? *(Смотрит на небо.)*

Имбергенев. Перед грозой так не бывает.

Магомет-Оглы. После войны революция была... Я в 1919 году в партию записался...

Голоса. Ты скажи лучше за что тебя сразу же выгнали из партии?

Магомет-Оглы. Недоразумение было...

Титов. А все-таки... Какое недоразумение?

Магомет-Оглы. Так! *(Не хочет говорить.)*

Серке. Можно я скажу, за что? *(Протягивает руку.)*

Голоса. Пусть Серке скажет! Пусть!

Титов. Ну, что же, говорите, товарищ Серке!

Серке. Его назначили зимой в военный караул, как коммуниста, а он ведь ленивый и спать любит много. *(Смех. Шум.)* Он послал вместо себя двух своих работников, Юнуску и Ахматулла, а дал им только одно ружье.

Голоса. Ух, какой хитрый!

Серке. Когда пришли в караул, их арестовали, а Магомета-Оглы выгнали из пар-

тии. Мне об этом сам Ахматулл рассказывал.

Смех. Шум.

Магомет-Оглы (*старается перекричать шум*). Я хочу быть примерным коммунистом. Может быть, это мне не удается, но я стараюсь и буду стараться. Больше я ничего говорить не буду — я кончил. А на весь этот глупый смех — я тьфу (*плюет*).

Женотделка. Товарищ Титов! Могу я сказать?

Титов. Пожалуйста!

Женотделка. Товарищи! Магомет-Оглы партийный, а что он делает! Он купил молодую жену, Зейнаб, которую держал вначале под видом работницы...

Магомет-Оглы. Что ты врешь!

Голоса. Не перебивай!

Шум.

Женотделка. А сейчас она его вторая жена, и живут у него две жены вместе, в одной половине. Я спрашиваю: Зейнаб, почему не ходишь на делегатские собрания? А она говорит: «Магомет-Оглы не пускает».

Голос женщины. И такой негодяй в партии был! Да это что же, товарищи?!

Женотделка. Я говорю старой жене: «Фатима, почему не ходишь на делегатские собрания»? А она отвечает: «Магомет-Оглы узнает — зарежет».

Голос женщины. Вот старый дьявол, да за это задавить мало!

Магомет-Оглы. И зачем говорить пустяки напрасно! Разве не одинаково любят Магомета-Оглы обе жены — и старая, и молодая? Магомет-Оглы мог бы тоже платить старой жене алименты, как делают русские работники, но разве лучше бы это было для нее? А?

Голоса. — Ты смотри, как он вывернулся!

— Ой, какой мошенник!

— Такой ловкий мошенник — прямо удивительно!

Сушечкин (*размахивая тросточкой*). Разрешите мне для характеристики тов. Магомета-Оглы сообщить только один факт. Около месяца тому назад товарищ Магомет-Оглы распорядился переименовать Александровскую улицу, вот эту самую, на которой мы находимся, в улицу имени Магомет-Оглы только потому, что он на ней живет...

Файзулла. Верно, верно... Я сам доску наколачивал.

Титов. Зачем вы это сделали?

Магомет-Оглы (*уныло*). Комиссия сделала, я не делал...

Сушечкин. Комиссию после этого только через две недели созвали...

Голоса. Да и то в ней председателем его брат был... Врет он! Все врет!..

Серке. Паршивая овца все стадо портит. Вон надо гнать паршивую овцу!

Голоса. Вон надо выгнать Магомета-Оглы из партии.

— Никто не сказал, что у Магомета-Оглы своя лавка была!

— Магомет-Оглы баям помогал...

— Баям руку держал...

Свистки. Крики. Титов звонит. Нарастает шум. По улице несется толпа. Недоумение. Тревога. Паника. На стол вскакивает растрепанный человек.

Энтомолог. Товарищи! Товарищи! Тише! Кончайте собрание! Несчастье, товарищи! С востока на город движется саранча. Громадная туча саранчи! Скоро она будет здесь. Старза призывает вас всех на охрану города. Товарищи! Берите тазы, ведра, идите на помощь нашим отрядам... Если мы шумом и звоном испугаем саранчу, мы ей не дадим спуститься на землю, тогда сады и посевы наши будут спасены... Товарищи! Вы знаете, какое несчастье несет саранча. Скорее на помощь!.. Несите солому и хворост для костров!.. Товарищи, к головному арыку!

Титов (*старается перекричать шумную толпу*). Все члены партии и комсомола мобилизованы!.. Всем членам партии — на саранчу-у-у-у!..

Серке (*вскакивает на стол*). Куда как бараны бежите! Порядок надо! Порядок!

Люди суетятся, бегут. Крик. Плач. Шум. Появляются с ведрами, тазами. Сшибают фотографа с аппаратом, шашлычника. Шашлычник высыпает угелья и превращает шашлычницу в бубен. Пробегает человек с трубой. Трубит. Милиционеры свистят в свистки. Быстро темнеет. Площадь опустела. Остается забытый всеми Магомет-Оглы. Появляется леди Фэрфильд. Она потеряла Зин-Тин-Хау.

ЯВЛЕНИЕ 10

Магомет-Оглы и леди Фэрфильд.

Леди Фэрфильд. Ай, донт ондэрстенд... Уат из хаппэнед... Эвидэнтли сом

мисфорчюн... Ай хэв лост май компэнион... Уэр ту дэвл ран увей олл тэ пипл... Ай эм бритиш... Ай спик онли инглиш...

Магомет-Оглы. Вот смешная! Говори ты по-русски...

Леди Фэрфильд. Вэйт э момэнт... Ай хэв дикшионэри... *(Вынимает из кармана словарь, темно, читать невозможно, достает электрический фонарик, при освещении отыскивает нужные слова.)* Майн... моя... тулуз... терять... компэнион... спутница... спутница... лэди... зеншина...

Магомет-Оглы. Говори ты по-русски... Ничего не понимаю...

Леди Фэрфильд *(беспомощно разводит руками)*. Ай эм юдинг рошен дикшионэри... Уэр ай хэв ту лук фор май компэнион...

Магомет-Оглы *(сердито)*. Пошла ты вон. Ничего не понимаю...

ЯВЛЕНИЕ 11

Зин-Тин-Хау и Магомет-Оглы

Зин-Тин-хау. Вы Магомет-Оглы?

Магомет-Оглы. Да, я Магомет-Оглы.

Зин-Тин-Хау. Я хотела с вами познакомиться. Мне казалось, что вы героическая личность. Я не думала, что это все так просто. *(Кивает на уличную дощечку.)* Ваша страна удивительная...

Магомет-Оглы. Наша страна, можно сказать, прямо первый сорт...

Зин-Тин-Хау. Я очень хочу вас снять. Но сейчас темно, ничего не выйдет. Я не знаю, куда мне итти... Моя спутница меня покинула. А мне страшно хотелось посмотреть, как люди борются с саранчей. Я никогда в жизни не видела этого. Это, вероятно, очень интересно. Как жалко, что нельзя сфотографировать...

Пробегает Серке.

ЯВЛЕНИЕ 12

Зин-Тин-Хау. Магомет-Огл
Серке.

Зин-Тин-Хау. Господин Алиев! Господин Алиев!..

Серке. Ой, некогда мне, некогда сейчас... Саранчу гонять надо. Нельзя сейчас разговаривать. Народ голодом останется... Как ты не понимаешь! Вот бестолковый человек! На саранчу надо...

Зин-Тин-Хау. Я тоже хочу бороться с саранчей. Возьмите меня?..

Серке. Ты? *(Долго смотрит на Зин-Тин-Хау)*. Пойдем! Ты должно быть хороший человек. Ты мне нравишься. Ты мне очень нравишься. Только зачем ты принцесса?

Убегают вдвоем.

ЯВЛЕНИЕ 13

Магомет-Оглы.

Магомет-Оглы *(вздыхает)*. А какой бесстыдный негодяй Серке! Зачем такого подлого человека посылали за границу. *(Внимательно смотрит на вывеску и читает.)* «Улица имени товарища Магомета-Оглы»... *(Вздыхает, уходит к своему дому. Выбегают Шамсутдин и Файзулла.)*

ЯВЛЕНИЕ 14

Файзулла и Шамсутдин.

Шамсутдин. Все ведра и тазы расхватали... Чем мы саранчу пугать будем...

Файзулла *(смотрит по сторонам, замечает вывеску)*. Э-э-э! Погоди немного. *(Ищет и находит камень)*. Сейчас у нас будет самый замечательный прибор. *(Отколачивает камнем доску.)* Какой чорт так крепко наколотил. Никак не отобьешь!

Шамсутдин. Ты же сам наколачивал...

Файзулла. Смотри, какой хороший барабан! *(Бьет по доске.)* Пойдем, тебе вторую доску отдерем. Теперь Магомет-Оглы — вот какой маленький! Зачем ему своя улица? Теперь его возьмут за это место *(показывает на шею)* и вот этим местом *(хлопает себя по колену)* по этому месту...

Ударяя по доске, бежит. Шамсутдин догоняет. Проносится над городом саранча. Наступает темнота. Вдалеке слышится неистовый визг и грохот — это горожане пугают саранчу. Из ворот выходит Зейнаб, садится на скамейку. Плачет. Вздрагивают плечи.

Занавес

КАРТИНА ПЯТАЯ

Отель. Зритель видит происходящее одновременно в двух номерах. На правой сцене — номер, в котором остановились Серке и Зин-Тин-Хау. Богатая обстановка. На левой сцене — другой номер, попроще, в котором остановились Айтхожин и Ткач. Действие происходит в крупном американском городе, в 1931 г.

ЛЕВАЯ СЦЕНА

ЯВЛЕНИЕ 1

Айтхожин и Ткач.

Айтхожин. Вчера покончили жизнь четыре эмигранта. Русские офицеры. Не знаю, каковы мотивы... Но вообще это страшно глупо... Я долго думал об этом и у меня родилась идея. Нужно создать общество самоубийц, желающих принести пользу родине. Конкретно: человек думает кончить жизнь самоубийством. Он обращается в особое бюро с заявкой. Здесь его снабжают деньгами и отправляют в СССР. Помогать так называемым вредителям. Выполняя порученное задание — он гибнет. Следовательно, желание покончить жизнь самоубийством — осуществлено. Попутно же — выполнена политическая работа...

Ткач. Если бы вы находились в СССР, вам наверняка поручили бы рационализаторскую работу. Сейчас там это наиболее распространенный вид умопомешательства...

Айтхожин. Я это говорю к чему? Нет людей... Надо посылать, а... некого, кроме вас...

Ткач. Я бы патентованного самоубийцу все равно с собой не взял...

Айтхожин. Давайте вернемся к нашему делу. По моему мнению, вам надо ехать на Чустрой... По сведениям, которые я имею, на строительстве около двенадцати тысяч казаков.

ПРАВАЯ СЦЕНА

ЯВЛЕНИЕ 2

Серке и Зин-Тин-Хау.

Зин-Тин-Хау. Антисоветская демон- *дает в качалку. Серке переодевается).* Неужели тебя серьезно расстроила эта история с эмигрантами?

Серке. Какая история?

Зин-Тин-Хау. Антисоветская демонстрация, которую устроили вчера по поводу твоего приезда около парохода.

Серке. А... Это, конечно, ерунда. Я о ней уже забыл.

Зин-Тин-Хау. У тебя нехороший вид. Ты мрачный. Тебе верно нездоровится?..

Серке. Нет, ничего.

ЛЕВАЯ СЦЕНА

ЯВЛЕНИЕ 3

Айтхожин, Ткач, горничная.

Горничная *(стучит в дверь)*. Можно?

Айтхожин *(подходит и открывает* Войдите.

Горничная *(входит)*. Вы просили со общить, когда вернется советский пев Алиев... Сейчас он поднялся к себе в номер

Айтхожин. Хорошо! *(Горнична уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 4

Айтхожин, Ткач.

Ткач. Экс-пастух и экс-принцесса. За мечательно! Когда он пять лет назад высту пал на концертах всемирной выставки, кто мог бы подумать, что у него будет така слава!..

Айтхожин. Я горжусь, что моя степ дала мирового артиста!

Ткач. А помните, Мурза Галиевич, ка мы с вами в кафе склоняли этого мирового артиста остаться в Европе? Дело, собственно говоря, лопнуло только потому, что нынешний мировой артист не сумел в то время подписать своей фамилии, а заставить его поставить три крестика под телеграммой было не совсем удобно. Какой же документ с крестиками!.. Можно было бы, конечно, взять отпечаток большого пальца. Прибегнуть к достижениям дактилоскопии. Но от неожиданности мы этого просто даже не сообразили.

Айтхожин *(задумчиво)*. Да, я помню тот вечер очень хорошо!

Ткач. А помните, когда подвыпившего Серке Алиева неожиданно увез случайно подвернувшийся московский большевик и Зин-Тин-Хау чуть не расплакалась от оскорбленья?

Айтхожин. Помню! А сейчас она его жена.

Ткач. Пардон, любовница! Мировой артист не так глуп. Связать себя с экс-принцессой законным буржуазным браком?!. Да ведь это же для советского певца — смерть. Измена делу рабочего класса...

ЯВЛЕНИЕ 5

Стук в дверь. Айтхожин открывает. Вбегает репортер.

Айтхожин, Ткач, репортер.

Репортер *(говорит с исключительной быстротой)*. Я — представитель газеты, которая поддерживает честные стремления русских эмигрантов. Виноват, не меняйте позы... Так, хорошо. Раз, два, три... *(щелкает фотоаппаратом)*. Благодарю вас! Нет.

разрешите еще. С этой стороны. Голову немного влево. Так. Хорошо. Теперь полсекунды спокойно, Не шевелитесь. Снимаю. Раз! Два! Три! Готово! Благодарю вас! *(Выхватывает блокнот, записывает).* Секунду... Председатель об'единения восточных народностей, проживающих в Западной Европе и Америке... Господин Айтхожин... Бывший министр финансов киргизского правительства Алаш-Орда. Все это мне известно. Не трудитесь отвечать. Я уже записал... Вы приехали поддержать движение в связи с оживлением антисоветской кампании. Так... Отношение к советскому демпингу?.. Позорное явление нашей эпохи?!. Безусловно... Ужасы принудительного труда на лесозаготовках Средней Азии?.. Возобновление худших времен каторги и крепостного права?.. Казакский народ протягивает руки, моля о помощи... Прекрасно! Погодите, я сниму вас еще за письменным столом вместе с вашим секретарем. Пожалуйста, сядьте вот так... А ваш секретарь сюда. Выньте папиросу изо рта... Табачный дым мешает четкости фото. Теперь прекрасно. Секунду внимания. Снимаю. Раз! два, три! Готово! Благодарю вас! *(Убирает аппарат, выхватывает блокнот).* Еще последний вопрос. Мы его ставим ребром перед американской общественностью. Нужна ли помощь? Безусловно... Освободить казакский народ и Среднюю Азию... Не трудитесь отвечать. Я уже записал. Потом дополню и разовью. Наша газета открывает широкую кампанию в связи с применением принудительного труда, демпинга, преследованием религии... Беседа для специального номера. Что? Больше мне ничего не нужно. Благодарю вас. Это совершенно исключительный материал... До свиданья, до свиданья, до свиданья! *(Раскланивается и убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ 6

Айтхожин, Ткач.

Ткач. У меня такое впечатление, словно он на шарнирах...

Айтхожин. Если он напечатает то, о чем он сам говорил, это будет неплохо. Но я боюсь, что в газете будет много лишнего. *(Подходит к телефону, снимает трубку.)* Алло! Сто сорок восемь. Благодарю! Это кто говорит? Зин-Тин-Хау? Не узнаете?

ДВЕ СЦЕНЫ

ЯВЛЕНИЕ 7

Разговор по телефону.

Зин-Тин-Хау. Мурза Галиевич? Как, вы уже здесь?

Айтхожин. Да! И нахожусь в одном отеле с вами.

Зин-Тин-Хау. Это очень приятно. Когда вы приехали?

Айтхожин. Вчера. Мне очень хотелось бы увидеться с Серке Алиевым. Кроме того, переговорить с вами. У меня серьезное дело... Очень серьезное. Я подчеркиваю это.

Зин-Тин-Хау. Пожалуйста, приходите... Мы будем рады видеть...

Айтхожин. Передайте привет Серк Алиеву.

Зин-Тин-Хау. Обязательно. До свиданья! *(Кладет трубку.)*

Айтхожин. До свиданья! *(Кладет трубку.)*

ПРАВАЯ СЦЕНА

ЯВЛЕНИЕ 8

Серке, Зин-Тин-Хау.

Зин-Тин-Хау. Звонил Айтхожин. Передает привет.

Серке. Что ему нужно?

Зин-Тин-Хау. Хотел бы тебя увидеть.

Серке. Для чего? Как он не понимает неудобства подобных встреч.

Пауза.

Зин-Тин-Хау. Ты не хочешь его видеть? А я его пригласила...

Серке. Напрасно! *(Берет газеты, ложится на диван.)*

ЯВЛЕНИЕ 9

Серке, Зин-Тин-Хау и репортер.

Репортер *(стремительно вбегает).* Виноват! Простите! Знаменитый советский певец Серке Алиев... Я вас сразу узнал по фотографиям... Но тем не менее разрешите мне еще раз... Это для газеты... Я... представитель радикальной социалистической газеты «Трибуна», дружественно настроенной к Советскому Союзу... Да, да... Так хорошо. Пожалуйста, не поднимайтесь, не поднимайтесь... Это будет замечатель-

но... Знаменитый советский певец Алиев отдыхает после концерта в домашней обстановке... Секунду спокойно. Руку сюда. Вот так. Ноги можно вот так, одна на другую. Теперь прекрасно. Еще секунду. Спокойно. Снимаю... Раз, два, три! Готово! Благодарю вас! Виноват! Ваша супруга... Безусловно, безусловно, снимок вдвоем. Прошу сюда... Дружеская поза... Преданный взгляд... Одну секунду... Смотрите вот сюда... Замечательно! Спокойно... Снимаю... раз, два, три... Готово! Благодарю вас. *(Выхватывает блокнот записывает.)* Знаменитый советский артист Серке Алиев... песни казакского народа. Импровизации... Гастроли... С громадным успехом... Путешествие по Европе и Америке... Не трудитесь отвечать, это мне все известно. Я уже записал. Меня очень интересует ваше отношение к текущему политическому моменту. Пятилетний план реален и выполним. Иначе не может быть. Энтузиазм рабочего класса СССР позволит выполнить пятилетку в четыре года. Безусловно... Басни о принудительном труде, распространяемые консервативной печатью, ни на чем не основаны. Советские рабочие будут драться за перевыполнение промфинплана. Все это я уже записал, не трудитесь отвечать... Беседа будет напечатана в специальном номере, посвященном Советскому Союзу... Наша газета хочет сказать правду о СССР. Пора, наконец, прекратить тот поток наглой лжи и клеветы, который... Виноват! Виноват! Вот отсюда... замечательный анфас... Нет уж, простите, не могу удержаться. Еще раз сниму. Вот так. Спокойно! Раз, два, три. Снимаю... Готово... Благодарю вас! До свиданья, до свиданья, до свиданья! *(Стремительно убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ 10

Серке и Зин-Тин-Хау.

Серке. У меня чесались руки, чтобы вышвырнуть эту брехливую тварь за дверь...

Зин-Тин-Хау. Действительно! Возмутительная манера врываться без разрешения.

За дверями шум, стук.

Зин-Тин-Хау. Кто там?

Серке. Можно.

ЯВЛЕНИЕ 11

Серке, Зин-Тин-Хау и горничная.

Горничная *(входит)*. Господину Алиеву письмо. И — там люди...

Серке. Давайте. *(Разрывает конверт.)* Комитет по организации спасения от смертной казни... Попросите, пусть войдут...

Горничная уходит. Входит делегация негров.

ЯВЛЕНИЕ 12

Серке, Зин-Тин-Хау, Джебб, делегация.

Джебб. Мы пришли к советскому артисту Серке Алиеву.

Серке. Я буду Серке Алиев. Проходите, садитесь пожалуйста. *(Негры усаживаются.)* Что вам угодно?

Джебб. Вероятно, вы знаете из газет что четырем неграм угрожает смертная казнь. Их судят за убийство начальника полиции. Но они не были виноваты! Мы сейчас обходим ученых, писателей, художников, артистов и собираем подписи под петицией. Мы думаем — вы дадите свою подпись.

Серке. Охотно. Конечно. Но поможет ли, друзья, эта петиция?

Джебб. О, мы не настолько наивны, товарищ Серке. Мы знаем, что одних просьб мало.

Серке. Ну, что же. Желаю вам полного успеха.

Джебб. Товарищ Алиев, на ваших концертах присутствует, главным образом, буржуазия. Почему вы не хотите выступить для негров?

Серке. Ну, конечно, я выступлю. Даже больше. Весь чистый сбор вы можете взять в пользу комитета. У вас большие расходы.

Негры шумно выражают восторг.

Джебб. Вы своим поступком тронули наши сердца. В свободной Америке негров не считают за людей. Но вы приехали оттуда... из страны Ленина...

Негры прощаются. Серке трясет руку каждому. Негры уходят.

ЛЕВАЯ СЦЕНА

ЯВЛЕНИЕ 13

Айтхожин и Ткач.

Ткач. Вы хотите повторить тот же эксперимент? Думаете, могут быть положительные результаты?

Айтхожин. Сейчас могут. По существу каждого человека можно купить. Все зависит от суммы. Одного можно купить

за доллар, другого за сто, третьего за тысячу, четвертого за десять тысяч, пятого за миллион... Все дело в сумме... Если сейчас предложить ему миллион, он останется...

Т к а ч. Да, но откуда вы этот миллион возьмете?

А й т х о ж и н. Это другой разговор. Я говорю в принципе. Пять лет назад, помните, в кафе, была иная обстановка. Он не имел представления о ценности денег, потому что был дикарь. А сейчас он знает, что такое доллары.

ПРАВАЯ СЦЕНА

ЯВЛЕНИЕ 14

С е р к е и З и н-Т и н-Х а у.

З и н-Т и н-Х а у *(подходит к дивану, садится рядом с Серке.)* Вот этой складки на лбу у тебя раньше не было. Она появилась совсем недавно. Может быть, полгода назад... О чем ты думаешь? *(Гладит ему волосы.)*

С е р к е *(достает газетную вырезку).* Это первый неодобрительный отзыв о моем выступлении...

З и н-Т и н-Х а у. Белогвардейской печати?

С е р к е. Нет, рабочей. Эмигранты как раз меня хвалят...

З и н-Т и н-Х а у *(смотрит вырезку).* Так ведь это коммунистический листок... Никому неизвестный. *(Читает.)* Вдобавок неграмотно написано... И совершенно неожиданный вывод...

С е р к е. Вывод — правильный!

З и н-Т и н-Х а у. Ты находишь?

С е р к е. Да, я чувствую это. Песни мои кончаются. В каменных городах я забыл степь. Давно уже я перестал чувствовать ее запах... ее краски. Импровизации мои становятся все более и более тусклыми, бледными... худосочными.

З и н-Т и н-Х а у *(читает вслух).* «В эпоху, когда класс стоит против класса — художник обязан выбрать свое место»... «Серке Алиев не пролетарий, он — люмпен-пролетарий и в этом его слабость»... Какие слова! «Попрежнему он воспевает степь, ковыль, юрту, солнечные закаты... В то время, когда даже враждебная Советскому Союзу пресса признает, что в Казакстане произошли громадные сдвиги. Железная дорога, гиганты-совхозы, новые рудники, заводы преобразили старую степную жизнь... Знает ли о ней тов. Алиев? Мы уверены — нет. А капиталистический Запад не может вдохновить бывшего пастуха и дать ему необходимую для творчества зарядку»... Необыкновенная пошлость!.. *(Кидает вырезку.)*

С е р к е. Не пошлость, а правда. *(Долго думает.)* Вчера я зашел на телеграф. Там было много публики. И вдруг — падает старик... Сразу же собралась толпа любопытных зевак. Кто-то сказал, что это пьяный. Потом выяснилось, что это был безработный, а упал он от голода... Когда это сделалось известным — все тихо разошлись... А его выволокли на улицу... *(Думает.)* А вчера в газетах писали, что фермеры на юге жгут пшеницу. Могу ли я об этом петь на концертах американской буржуазии?.. Или вот — приходили сейчас негры... Четырем человекам грозит смертная казнь. Да... Солнечные закаты... Серебристый ковыль...

З и н-Т и н-Х а у. Не надо об этом думать!

С е р к е. Художник обязан выбрать свое место... Это сказано очень четко. Действительно, надо ехать назад...

З и н-Т и н-Х а у. Ты просто устал. У тебя нервы. Тебе надо как следует отдохнуть.

С е р к е *(желчно).* Нет, это не нервы. Пять лет назад я был дикарь. Случайность сделала меня знаменитостью. Я долго задумывался над этим. Почему? Не мог решить — Париж или Зенкевич? А, может быть, то и другое вместе? Дай мне собраться с мыслями, не перебивай... Я теперь вижу, что я совершил тогда ошибку, что не остался на родине, а поехал второй раз за границу... Я уже был отравлен ядом честолюбия и славы... Да, да... Это страшный яд... Не надо было ездить второй раз за границу. Мне это теперь ясно...

З и н-Т и н-Х а у. Заграница сделала тебя сразу знаменитым артистом.

С е р к е. Знаменитый артист! Это замечательно! Знаменитый артист получал письма от женщин, но ни одно не мог прочитать сам и ни на одно ответить, потому что учился в это время по букварю...

З и н-Т и н-Х а у. Это все было и прошло. Это пора забыть.

С е р к е. Когда мы с тобой стали близкими, вся моя культура сводилась к тому, что я знал, как надо пользоваться носовым

платком и держать в руках вилку. Ты заботилась, чтобы привить мне хороший вкус. По твоему выбору я прочел сотни книг. Все это, конечно, очень хорошо, но, по-моему, ты очень часто употребляешь слово «любовь»... В наших отношениях оно, пожалуй, лишнее...

Зин-Тин-Хау. Как?!.

Зин-Тин-Хау глотает слезы, Серке ходит из угла в угол. Пауза.

Серке. Около того самого города, где я когда-то жил и откуда уехал в Москву и за границу, сейчас работают днем и ночью 12 тысяч человек. Ты знаешь, что это значит? Старая степь, которую я воспевал и в которой кроме солнечного заката было девяносто процентов сифилиса — уходит навсегда. Идет новая степь...

Зин-Тин-Хау. Ты хочешь вернуться на родину?

Серке. Да. Именно в родной город, туда, где работают 12 тысяч... Художник обязан выбрать свое место. Это сказано очень прямо... Как гвоздь...

Зин-Тин-Хау. Но ты совсем не подумал обо мне...

На улице шум и гул. Идет демонстрация.

Зин-Тин-Хау. Что это такое? *(Подходит к открытому окну.)* Поют... Красные флаги... Это идут негры... Смотри, милый, как их много!

Серке и Зин-Тин-Хау высовываются в окно. Смотрят.

Серке *(вскакивает на подоконник, кричит).* Это интернационал, интернационал! Наш гимн... *(Кричит.)* Камрадс! Гритингс! Камрадс! Гритингс.

Зин-Тин-Хау. Сумасшедший! Что ты делаешь!

Серке. Оставь *(Кричит.)* Камрадс! Совиет юнион! Камрадс! *(К Зин-Тин-Хау.)* Смотри, они несут плакат, на нем крупные буквы СССР! *(Кричит, стоя на подоконнике.)* Хэйл совиет юнион! Камрадс! Хэйл коммунистик интэрнейшонал! Хэйл коммунистик интэрнейшонал! Хэйл совиет юнион! *(К Зин-Тин-Хау.)* Как их много! Как их много! Тысячи!

Крики. Шум. «Интернационал». Оркестр. Проходит манифестация негров.

Серке. Это чудесно. Это напоминает Москву. Родину!

Неожиданно шум стихает. Песня обрывается.

Серке. Что такое? Что такое? Люди бегут. Их разгоняют... Их бьют...

Зин-Тин-Хау. Уйди, уйди прочь! *(Хочет столкнуть с подоконника, борьба.)*

Слышно, как работает пулемет. Выстрелы.

Серке. Расстреливают!.. Расстреливают!.. Но это же подло, подло!.. *(Кричит в окно.)* Корс-ан-ю! Корс-ан-ю! Проклятье вам, проклятье...

Крики. Стоны. Паника. Серке мечется по комнате.

Зин-Тин-Хау. Зачем мы приехали в этот город! Уехать, сейчас же, сейчас же уехать надо!

Серке. Не могу больше... Не хочу... Назад, назад, назад...

Зин-Тин-Хау. *(Утешает.)* Милый, успокойся... Это нервы... Голубчик... Нельзя же так...

Серке. Ненавижу... Ненавижу...

Закрывает ладонями глаза. Плечи его трясутся. Зин-Тин-Хау утешает. Пулемет работает.

ЛЕВАЯ СЦЕНА

ЯВЛЕНИЕ 17

Айтхожин, Ткач.

Ткач. Оказывается, в этой стране миндальничать не любят...

Айтхожин. Если бы мы в свое время действовали также энергично — никаких коммунистов не было бы.

Ткач. Они попали в переплет... Их поливают с двух сторон... Здешняя полиция знает стратегию...

Пулеметная стрельба стихает.

Айтхожин. Я думаю — пора к Алиеву.

Уходит. Ткач остается.

ПРАВАЯ СЦЕНА

ЯВЛЕНИЕ 18

Серке, Зин-Тин-Хау.

Серке *(в возбуждении ходит из угла в угол).* Нет, нет, довольно. Оставаться в стране убийц, воров, мошенников... Ни одной минуты... К чорту концерты... Из этого ада вон.

Зин-Тин-Хау. А как же я? Ты обо мне совсем не думаешь?

Серке. Как ты? *(Задумывается.)* Не знаю...

Зин-Тин-Хау. Ты меня совсем не любишь...

Стучат в дверь. Входит Айтхожин.

ЯВЛЕНИЕ 19.

Серке, Зин-Тин-Хау, Айтхожин.

Айтхожин. Здравствуйте! *(Целует руку Зин-Тин-Хау.)*

Серке отворачивается. Молчание. Неловкая тишина.

Зин-Тин-Хау. Серке... *(Умоляюще.)* Мурза Галиевич...

Серке. Ах, да, простите. Я не узнал. Я очень рад. Садитесь, садитесь... *(Очень возбужден, суетится.)* Я не ожидал, что вы тоже в Америке. Хотя нет... Вчера читал в газетах. Вы там что-то насчет советского демпинга. Это действительно ужасно! Принудительный труд, дети умирают с голоду, в то время как здесь советскими товарами завалены склады. Безобразие, действительно...

Айтхожин. Вы тоже находите? Я очень рад видеть в вашем лице единомышленника.

Серке. Серьезно?..

Айтхожин. Я всегда верил в то, что вы будете не с ними, а с нами.

Зин-Тин-Хау. Опять политика! Давайте, не будем говорить о политике. Господа... Пожалуйста...

Серке. Почему? Почему? Напротив, это так интересно...

Айтхожин. Это не политика. Это если хотите, деловой разговор. Я имею предложение к господину Алиеву... Об'единение восточных народов, постоянно проживающих в Западной Европе и Америке, просит господина Алиева отказаться от советского паспорта. Зачем вам быть обязательно советским певцом? Сейчас вам это не нужно. У вас есть слава, имя...

Серке *(подсказывает)*. Деньги...

Айтхожин. О последнем вы как раз не беспокойтесь. Группа ваших поклонников создаст фонд, вполне достаточный для...

Серке *(подсказывает)* ...предательства.

Айтхожин *(пожимает плечами)*. Странно... *(Пауза.)*

Серке *(багровеет и кричит)*. Вон! Вон, негодяй, чтобы твоего духу здесь не было!.. Сию секунду вон!.. *(Наступает с кулаками, топает ногами.)*

Айтхожин *(пятится)*. Позвольте... Позвольте...

Серке. Убью, негодяй! Вон сейчас же! *(Размахивает кулаком. Айтхожин исчезает.)*

ЯВЛЕНИЕ 20

Серке и Зин-Тин-Хау.

Серке. Сейчас же надо ехать... Ни одной минуты не хочу оставаться в этой подлой стране. Назад, домой! Хватит! Довольно!

Стук в дверь. Входит полицейский чиновник.

ЯВЛЕНИЕ 21

Серке, Зин-Тин-Хау, полицейский чиновник.

Полиц. чин. Могу я видеть господина Серке Алиева?

Серке. В чем дело?

Полиц. чин. Я вам должен сообщить предписание начальника полиции. Вам рекомендуется выехать немедленно из города. Распишитесь...

Серке. С удовольствием выеду не только из вашего города, но и из вашей демократической страны.

Занавес

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Чустрой. Строительная площадка. Видны стрелы дерриков. Насыпь. Влево — юрта. У входа надпись «Контора». Рядом — большая, яркая доска с показателями хода соревнования. Действие происходит в 1931 г. Обеденный перерыв. Только что был гудок.

ЯВЛЕНИЕ 1

Файзулла и Шамсутдин.

Файзулла. Серке Алиева видал?

Шамсутдин. Вчера видал. Весь вечер были вместе. Разговаривали.

Файзулла. Насчет чего говорили? Про меня не спрашивал? Как живет Файзулла?

Шамсутдин. Про тебя не спрашивал. Про Зейнаб интересовался.

Файзулла. Что ты сказал про Зейнаб?

Шамсутдин. Сказал — умерла.

Файзулла. А он что?

Шамсутдин. Шибко скучал. Все спрашивал: почему умерла? Я сказал: ребенка родить стала, ребенок застрял, табиб велел палкой по животу бить... Рассердился. Сволочи, говорит. Надо было доктора позвать, а не табиба... У-у-ух! Сердился шибко...

Файзулла. Ну, а ты что?

Шамсутдин. Я? Ничего... Потом успокоился... По плечу меня хлопает. А пом-

нишь, говорит, Шамсутдин, как мы с тобой собаке хвост отрубили? Вот какие дураки оба были... *(Проходят.)*

Появляется Ткач в прозодежде. Кого-то ждет. Из юрты выходят Серке и Егоров. Ткач уходит торопливо.

ЯВЛЕНИЕ 2

Серке, Егоров

Егоров. Я прямо воспрянул духом теперь. Да и в самом деле... На строительстве 70 процентов казаков, а культработников, знающих казакский язык — по пальцам перечесть можно. Сейчас маленько полегче стало, а ведь раньше что было! Стройка развернулась, народ с'ехался, а отдохнуть негде. Ну, конечно, всякий суррогат пошел. При мне случай был: приезжает борец, не от рабиса, а так, кустарь-одиночка. Афишку повесил. Рельсы гнет, пятаки ломает, на черепе дрова дает колоть и автомобиль через себя пропускает. Так что вы думаете, грузовик достали, положили поверх борца доски и давай кататься. Сам преседатель месткома ездил. Тут транспорта не хватает, а профсоюз машину забрал. Когда мы с таким народом социализм построим?!.

Серке. Не раздавили борца?..

Егоров. Нет. Его фининспектор после угробил. При мне два раза капкара была. На коней сели, да козла драть. Озверели прямо. Друг друг нагайками по мордам хлещут, от козла одни клочья остались.. Четверым скулы своротили, одному по глазу так заехали, что глаз вытек, а шишки и синяки не в счет... Через стенгазету пропустили — не действует. Оно и понятно. Если культработы никакой — чем же заниматься? Одуреешь. Ну, ведь, для нас-то это позор! Пролетарии социализм строят, а живут все одно как дикие индейцы. Нагайками друг другу морды портят...

Приходит Грибов.

ЯВЛЕНИЕ 3

Серке, Егоров, Грибов.

Грибов *(запыхавшись от быстрой ходьбы.)* Мне сказали, что в конторе 5-го участка сейчас должен находиться певец Серке Али... Простите! Не узнал! Товарищ Алиев!

Серке *(пристально вглядываясь)*. Я буду Алиев! Что-то знакомое. Погодите, погодите... Нет, никак не припомню. Но где-то видел...

Грибов. В жизни мы встречались с вами всего три раза. Пять лет назад, помните, из Казакстана вы уезжали в Москву. Я к вам пришел и принес свое сочинение, как лететь на Марс. Помните теперь?

Серке. А-а! Помню, помню. Юноша, стремящийся на звезду!

Грибов. Как видите, на Марс я не улетел, но благодаря вам попал в тот год на рабфак, кончил его, а сейчас кончаю втуз. Что, не верите? Честное слово!

Серке. Это хорошо! Замечательно!

Грибов. Через год инженер буду. Сейчас работаю на строительстве. Вчера узнал, что вы приехали на Чустрой. Решил вас разыскать и поблагодарить. Ведь вы для меня сделали страшно много...

Пробегает пионер, кричит: «Здесь, здесь». Слышно, как приближается отряд пионеров.

Музыка. Песня.

ЯВЛЕНИЕ 4

Те же и отряд пионеров.

Вожатая *(подсчитывает ногу)*. Раз-два, раз-два, раз-два!.. Смирно! *(Подходят к Серке с поднятой рукой.)* Товарищ Алиев! Пионеротряд при Хлебзаводе имени Сталина приветствует твое возвращение в Казакстан! Пионеры рады, что твой голос теперь будет служить для социалистического строительства нашей республики. На Хлебзаводе имени Сталина, при котором мы находимся, промфинплан перевыполнен на 106 и шесть десятых процента... *(Запнулась. Серке в недоумении пожимает плечами.)*

1 пионер. Верка, дай я теперь скажу.

2 пионер. Ты ее не перебивай! Не перебивай! Она сама собьется...

Вожатая. Пионеры отряда хотят побеседовать с тов. Алиевым и узнать, как заграничные рабочие и пионеры стремятся к Октябрьской революции.

Пионеры рассыпаются и садятся в круг. Некоторые достают записные книжки.

Голоса. Как там работает МОПР?

— А что, все англичане по-английски говорят? Ведь это очень трудно...

— Дурак! Какие ты вопросы задаешь, ты задавай политические...

— Про колхозы... Ребята, про колхозы...

— Про колхозы потом. Вначале международные....

— А почему еще в Анг короля не свергли?

— А правду говорят, что в Германии пионеров расстреливают?

— Не расстреливают, а в тюрьмы садят?

— А ты-то что лезешь, я тебя не спрашиваю. Пусть он ответит

— А немецкие пионеры помогают комсомольцам хлебозаготовки проводить?

— Вот сказанул... Немцы-то ведь — они без плана живут...

— Политически неграмотный! Эх и дурак же!...

— Сам-то ты неграмотный!

— А как, тов. Алиев, они нашу пятилетку в четыре года — очень боятся?

— Ты все ответы записывай!

— Да что записывать, когда он молчит...

Вожатая. Еще бы, будешь молчать, когда вы рот раскрыть не даете. Эй, ребята, заткнись! Задавай организованные вопросы.

Пионеры смущены. Замешательство.

Серке (*улыбается*). Ничего, ничего... Лучше вы говорите, а я слушать буду.

Голоса. Манька всю беседу сорвала.

— Всегда так, известная срывщица!..

— Ты что-нибудь спроси про дирижабль лучше.

— Политическое надо, что-нибудь политическое, ребята.

— Промфинплан или соцсоревнование...

— Да за границей нет промфинплана вовсе. И соцсоревнования...

— Выскочил!.. Вот выскочил!.

— Так о чем же его спрашивать? Что у нас есть, у них ничего нет.

— Все записали? Кончай, кончай, кончай...

Пионеры (*раздельно, хором*). Да-здрав-ству-ет то-ва-рищ А-ли-ев!

Барабанщик играет. Поют: «Братишка, наш Буденный, с нами весь народ»... Маршируя, уходят.

ЯВЛЕНИЕ 5

Серке, Егоров, Грибов

Серке (*в недоумении*). Почему они приходили?

Егоров (*улыбается*). Общественную работу выполняли. Вам все это, конечно, в диковинку после заграницы. Но ведь жизнь-то у нас особенная...

Грибов. Вы давно оттуда? Из-заграницы?

Серке. Всего две недели.

Егоров. Товарищ Алиев попал, как следует, в настоящий пролетарский котел. Руки-то болят после лопатки? А? Мозоли натер?

Серке (*потирает руки*). С непривычки...

Егоров. Это ничего, один день поработать можно...

Грибов. Вы тоже сегодня на ликвидации прорыва?

Серке. Как видите...

Появляется Магомет-Оглы. Идет к Серке. Грибов и Егоров отходят в сторону.

ЯВЛЕНИЕ 6

Серке, Грибов, Егоров, Магомет-Оглы.

Магомет-Оглы (*подходит*). Здравствуйте, товарищ Серке! (*Низко и почтительно кланяется*). Не узнали меня, вероятно?

Серке. Как не узнать! Узнал!

Магомет-Оглы. Поговорить пришел. Одно прошение подать. Серке Алиев сейчас великий человек. Только одно слово Серке Алиева — и даже сам нарком исполнит всякую просьбу.

Серке (*нетерпеливо*). Что ты хочешь? Говори короче!..

Магомет-Оглы. Немножко хочу, совсем немножко. Магомет-Оглы сейчас лишенец, Магомету-Оглы карточки не дают, Магомета-Оглы хлебом не кормят, дом от него отняли, имущество отняли... Напиши записку, пожалуйста! Партийный билет мне теперь не надо, только имущество чтобы вернули.

Серке. Нет, Магомет-Оглы, этого я для тебя не сделаю.

Магомет-Оглы. Почему? За что меня не любишь?

Серке. А за то не люблю, за что ты меня не любил, когда я был пастухом, а ты хозяином. (*Идет к Грибову и Егорову*).

Магомет-Оглы. Ну что же, прощай, Серке Алиев! Спасибо тебе! Может быть, еще увидимся. Я был богатый — сейчас я

нищий. Сейчас ты богатый, потом - будешь нищий!..

Серке, Егоров, Грибов, разговаривая между собой, уходят. Магомет-Оглы оглядывается по сторонам. Ложится на землю. Появляется Ткач. Он в прозодежде.

ЯВЛЕНИЕ 7

Магомет-Оглы и Ткач.

Ткач. Ты что опоздал? Я второй раз прихожу.

Магомет-Оглы. Не сердись, пожалуйста. Зачем сердишься?

Ткач. Ну, как? Надумал?

Магомет-Оглы. Мало даешь Немножко надо прибавлять.

Ткач. Откуда у тебя такая Магомет-Оглы?.

Магомет-Оглы. Что значит — ность?

Ткач *(оглядывается)*. Ну хорошо. Ладно. Держи. *(Что-то передает)*. А сделаешь, как я говорил. Шутка немудрая Только смотри. Сегодня...

Магомет-Оглы. Не беспокойся, пожалуйста.

Послеобеденный гудок. Ткач уходит. Рабочие бегут на работу. Магомет-Оглы ложится. Приходят инженер, прораб, десятник, группа рабочих.

ЯВЛЕНИЕ 8

Магомет-Оглы, прораб, инженер, бригадир, рабочие.

Инженер. А это кто валяется?

Прораб. Нищий тут околачивается. Старик, по баракам кормится.

Инженер. С площадки убрать. Не допускайте вы, пожалуйста, этого разгильдяйства.

Рабочий. Эй, Магомет, пошел к аллаху! Сматывай удочки!

Магомет-Оглы. Что меня толк. Места тебе мало?

Инженер. Вообще около стройки них людей не должно быть!

Магомет-Оглы уходит, ругается. Рабочие подшучивают.

ЯВЛЕНИЕ 9

Прораб, инженер, бригадир, рабочие.

Прораб. Рабочие старика жалеют. Подкармливают.

Инженер. И еще, товарищ Новикова, как хотите, — кончить надо. Вы всю работу срываете. Ваш участок.

Прораб. Людей нет.

Инженер. А вы нажмите.

Прораб. Да и так уж по 12 часов нажимаем. Дальше некуда.

Инженер. Организуйте лучше работу экскаваторов. Машина у вас не дает то, что может дать.

Прораб. Семен Васильевич! Да ведь какие работники на экскаваторах. Казаки, пастухи вчерашние...

Инженер. Ничего. Они — смышленый народ. Кроме того, в порядке субботника вам сегодня дадут подмогу.

Прораб *(иронически.)* Счетоводов и машинисток?.

Инженер. Сумейте и их использовать. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 10

Прораб, бригадир, рабочие

Прораб *(бригадиру)*. Сюда четвертый «Марион» передвинуть! Шестьдесят лопат давай! Тридцать носилок!

Бригадир. Есть!

Прораб. Кто на «Марионе?»

Бригадир. Анисимов и Файзулла! *(Кричит.)* Алешка! давай копачей!..

Прораб с рулеткой что-то меряет. Записывает. Приходят рабочие и работницы. Очень мало русских, много казаков. Начинается работа. С грохотом ползет экскаватор «Марион». Ковш начинает работать.

Файзулла *(кричит с экскаватора)*. Нажимай, товарищи, нажимай!..

Работа. Грохот стройки. Лязг. Вой сирен. Стук перфораторов. Взрыв.

Разговор русских рабочих:

— Здорово дернули... Это, поди, полсклы вон...

— Одним махом...

— Вчера слыхал певца ихнего?

— Это в клубе-то который пел?

— Он самый.

— Серке Алиев.

Говорят, знаменитый певец у них... Из-за границы приехал...

Ну, глотка!..

— А что? Здоровая!..

— Железобетонная... Пять дьяконов перекроет.

А любят они его!

Взрыв.

— А что этому певцу деньжищ платят, поди.

— Да это не нам с тобой.

— А ты сравнил гвоздь с панихидой.

— Говорят, он из пастухов сам.

По ряшке этого не заметно.

— Вчера после митинга, когда вызов об'явили на ликвидацию прорыва, первый записался.

— Много он наработает!

— Конечно, для примера больше. Казаки теперь изо всех сил подтянутся.

Идет пестрая толпа служащих и жен с лопатами и носилками. Среди них Серке и культработники. На плакате лозунг «На помощь ударникам». Поют: «Ты, моряк, красивый сам собою»...

Прораб. На четырнадцатый участок, товарищи!

Голоса. — Ну, слава тебе, эти сразу подсобят.

— Успевай накладывать!

— А невредная мадамочка!

— Это которая?

— А вот стриженая.

— Ванька, глаза потеряешь!

— А мне вот та, золотистая, больше нравится.

— Ну брось ты, это посдобнее будет.

— Тише ты... Балда!..

— Мужик, необразованный, осиновая плаха дров!

— Иэх!.. Хороша Маша, да не наша!

— Ванька, в нашу артель ее пригласи..

Казаки заметили Серке. Окружили. Восхищенные возгласы.

Серке. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте! Некогда, работать надо. Видите, я сам не работаю, и вас оторвал. Инженеры ругаться будут. Нельзя. Записался на ликвидацию прорыва — значит работать надо. Увидимся еще, товарищи, увидимся!

Проходит со своей группой. Казаки возвращаются к работе. Взрыв. Инженер ведет приезжего осматривать строительство.

ЯВЛЕНИЕ 12

Те же, инженер и приезжий

Инженер. Сейчас ведь все идет какими-то особыми путями. Разумеется, если двадцать лет назад на постройку приехал Шаляпин — ничего путного не получилось бы. Ну, спел бы «Фауста», скажем, никто бы ничего не понял, он бы уехал обратно. Этим дело и кончилось. А сейчас, оказывается и голос певца содействует повышению производительности труда. Национальный певец, национальная гордость, желание в труде не отстать от русских... Вот он взял лопату, пошел на субботник, накопает он, разумеется, ерунду, куриное сало, но, вы понимаете, этот факт подчеркивает основную идею... Человек работает на себя, а не на чужого дядю... Старается... *(Взрыв.)* У меня зимой работали казаки-комсомольцы в котловане. Прозодежды не было, холода стояли исключительные, земля промерзла как камень. Буквально, ногтями грунт рыли. Один помер, трое изувечились... а план выполнили! В прежнее время — такой факт был немыслим. А кто их гонял? Сами вызвались! Ударники.

Приезжий. И певец приехал по своему желанию!

Инженер. По своему, культбригадой...

К инженеру подходит человек. Что-то говорит. Инженер пожимает плечами.

Инженер. Тогда вы проводите товарища до управления, а я встречу интуристов.

Приезжий. Много их бывает?

Инженер. Не так много, но работать все-таки мешают... Уж вы простите меня Приходится заняться новыми гостями...

Прощаются. Уходят вместе. Приходят прораб и бригадир. Совещаются. Часть рабочих переходит на новый участок. Появляется инженер, Зин-Тин-Хау и интурист.

ЯВЛЕНИЕ 13

Инженер, Зин-Тин-Хау, интурист

Инженер *(дает об'яснения, словно читает лекцию).* В общих чертах Чуйская проблема заключается в следующем. Постройка плотины... Вот видите там... Смотрите сюда... где этот островок... немного левее... Так вот постройка плотины поможет нам поднять воду на восемнадцать метров... Получая «белый уголь», мы сможем пустить станцию мощностью 120 тысяч лошадиных сил... Это первый момент. Второе мы накапливаем воду, которую 47-километровым каналом передаем на Джель-Дан-Узек и орошаем плодороднейший район... По плану, к концу пятилетки этой пу-

стыни не будет. Здесь будут рисовые и хлопковые плантации...

Зин-Тин-Хау. Очень интересно! *(Кого-то упорно разыскивает в бинокль.)*

Инженер. На строительстве заняты 12 тысяч рабочих... Через 1½ года будут закончены...

Зин-Тин-Хау. Очень интересно!

Инженер. А вот видите направо, на той стороне — вырастет город. Там закладываются четыре фабрики. Одна из них специально по обработке кендыря...

Зин-Тин-Хау. Очень интересно! *(Заметила доску учета соцсоревнования.)* Скажите, пожалуйста, а это что такое? Черепаха, самолет, рак... велосипед...

Инженер. А это мы отмечаем, насколько быстро выполняются принятые обязательства. Видите, самолет? Это лучшая бригада. Скорость выполнения стройфинплана. А это — черепаха... черепаший темп.

Зин-Тин-Хау. Но ведь у вас детского труда кажется нет?

Инженер. Нет!

Зин-Тин-Хау. Так для чего же вам эти игры?

Инженер. Это не для детей. Это для взрослых.

Зин-Тин-Хау. Для взрослых! Очень интересно! И рогожа почему-то...

Инженер. Это знамя для отстающих!..

Зин-Тин-Хау. Очень мило! Необычайно мило!

Взрыв.

Инженер. Теперь давайте пройдемтесь с этой стороны. Я покажу вам любопытнейшее... Осторожнее, здесь надо итти по одной доске... Теперь сюда...

Навстречу идет Серке. Он несет
Встреча. От неожиданности Серке
посылки.

Носильщик *(грубо)*. Вот чорт! Чуть по ноге не стукнул. Обалдел ты, что ли?

Зин-Тин-Хау. Серке Алиев!..

Инженер *(подсказывает)*. Это стный казакский певец!

Зин-Тин-Хау. Я его знаю по загранице. Мой хороший знакомый. Я очень рада, что его увидела...

Инженер. В таком случае простите... *(Отходит в сторону с интуристом.)*

Во время разговора Зин-Тин-Хау
Серке строительная площадка пустеет.
конце разговора опять заполняется рабочи.

Зин-Тин-Хау. Серке! *(Протягива руки.)*

Серке. Зачем ты здесь?

Зин-Тин-Хау. Я была в Самарканде. Из газет я узнала, что ты приехал сюда. Мне захотелось увидеть тебя. Мне хочется, чтобы ты вернулся ко мне.

Серке. Не надо было этого делать.

Зин-Тин-Хау. Я едва нашла тебя. Сумасшедшая — я пролетела на самолете всю Европу. А у тебя нет для меня ни одного ласкового слова.

Взрыв.

Серке. Наши пути с тобой разные.

Зин-Тин-Хау. Почему разные?

Серке. Оставайся тогда здесь.

Зин-Тин-Хау. Ну, что я буду здесь делать? Все это для меня — необыкновенное, чужое...

Серке. Вот именно. Ты верно сказала: чужое. Для чужого не надо работать. Бессмыслица...

Зин-Тин-Хау *(умоляюще.)* Поедем со мной! Серке! Поедем!

Серке *(не обращая внимания.)* Пять лет назад, когда я был пастух, я из своего города уехал на верблюде, а вернулся в него по железной дороге. Поезд, в котором я ехал, вела девушка-узбечка. Я с ней познакомился на станции. Пять лет назад она носила еще паранжу. За пять лет я не узнал свою страну...

Взрывы.

Серке. Ты слышишь — это гибнет старая жизнь. Это гибнет пустыня. Тысячи лет здесь были мертвые пески. Мой народ переделывает мою родину. А ты хочешь, чтобы я был дезертиром...

Зин-Тин-Хау. Все это не то! Все это не то! *(Ломает руки.)* Как ты не можешь понять? Ну, какое мне дело до всего этого?

Серке. Прощай, Зина! Поезжай назад в Париж! Ты много сделала для меня хорошего. Спасибо тебе за это! Но пути наши разные. Ты сама понимаешь...

Зин-Тин-Хау. Никогда ты меня не любил...

Серке. Не знаю. По-моему, и ты не знаешь!

Серке уходит. Зин-Тин-Хау стоит одна. Комсомольцы поют: «Ты, моряк, красивый сам собою»... Подходят инженер и интурист.

ЯВЛЕНИЕ 15

Зин-Тин-Хау, инженер, интурист

Инженер. Теперь разрешите вам показать наши мастерские...

Зин-Тин-Хау. Нет, подождемте здесь еще немного.

Инженер. Пожалуйста.

Молчание. Слушают песню.

Зин-Тин-Хау. Почему у вас интеллигенция выполняет черную работу?

Инженер. У нас нет черной работы.

Зин-Тин-Хау. Смотрите, культурная дама нагружает носилки.

Инженер. Это моя жена.

Зин-Тин-Хау. Простите.

Инженер. Пожалуйста.

Раздается веселая казакская песня. Снова поют русские комсомольцы. Песни сливаются. Грохот, шум и стройки.

Инженер. Тронемтесь дальше?

Зин-Тин-Хау. Да, пожалуйста! *(Проходят.)*

ЯВЛЕНИЕ 16

Рабочие.

Разговор рабочих. Это что соглазая была?

— Иностранная туристка. Японка.

— Не японка, а китайка.

— А видал, как она на певца Алиева глаза пялила?

Шум. Крики. Все перестают работать. Удивлены. Бежит Магомет-Оглы. За ним гонится толпа. Крики: «Держи его, держи»... Сшибли с ног. Поймали.

ЯВЛЕНИЕ 17

Файзула. Давай, давай! Шевелись...

Рабочие и Магомет-Оглы

Голоса. — В чем дело?

— Держи его крепче, там разберут!

— Дай ему по зубам что ли!

— Дай это Магометка.

— Поймали, товарищи...

— Да вот он здесь...

— Вот гадина! Чуть народ не поморил.

— А что он сделал?

— На фабрике-кухне задержали. Порошок какой-то хотел в воду подсыпать. Хорошо — заметили. Яд что ли... Собаке дали, сдохла.

— Вот гад...

— Ну-ка, тащи его за ноги, на две половинки!

— *Не надо самосудом*, товарищи!

Файзулла. Это Магомет-Оглы. Я его знаю. Сволочь большая...

Собирается толпа.

Магомет-Оглы. Не надо... Не надо... Зачем меня бить!..

Голоса. Тонко придумано. Народ бы отравился, а после все шишки на кооперацию.

— Это он не сам. Сам бы не додумалс

— Ясное дело — веревочка есть!

— Товарищи! Становись на работу!... Ста-но-вись!..

— Куда его тащить?

— А в контору.

— Ну-ка, пусти я ему лучше башку разможжу.

Магомет-Оглы. Не надо трогать, не надо!

Голоса. — Говори, стерва, где яд взял?

Магомет-Оглы. Ой, все скажу! Все скажу. Не надо трогать...

Голоса. Тащи его! За конверт и в кружку...

Магомета-Оглы уводят. Рабочие, волнуясь, обсуждают происшествие.

ЯВЛЕНИЕ 18

Бригадир, прораб, рабочие

Бригадир. По местам, товарищи, становись на работу!

Голоса. — А я смотрю — гвоздь в механизм это Магометка пихнул.

— Он же и песку в мотор насыпал.

— А кто его здесь приваживал?

— Давно гнать надо было.

— Бригадир. Кончай дискуссию! Кончай! Поговорили и хватит!

Появляется прораб, за ним служащие, пришедшие на субботник. Среди них Серке.

Прораб. Пятнадцать человек здесь, остальные дальше.

Группа с Серке остается. Остальные уходят

Бригадир *(показывает)*. Давайте, вот отсюда начинайте. Только вы в кучу не сбивайтесь, как овцы. Землю копать — это не карандашиком водить. Тут порядок надо понимать. Чудак человек, да тебе сподручнее в левую сторону бросать, чем в правую! Смотри вот он верно стоит *(Показывает на Серке.)* Главное — расстановка сил, а дальше у нас пойдет дело самим чередом... Эй, барышня, ты бы полегче лопату взяла... Смени, Егорка, ей... Ну, валяй теперь, нажимай!..

Разговор среди казаков. — Смотри, Серке Алиев пришел.

— Зачем он землю копает?

— Тебе помочь хочет.

— Да я и без него справлюсь.

— Э-э, какой дурак неблагодарный!

— Не надо певца заставлять землю рыть. Нехорошо!

— Никто его не заставляет, сам хочет. На субботник пришел.

— Знаменитый певец — землекопом стал! Стыдно нам!

— Тебе дурак стыдно, что ты глупый!..

Файзулла (*подходит*). Товарищи! Одну минуту слушай меня! Магомет-Оглы — сволочь, травить народ хотел. Ему не нравится социализм. А? Верно я говорю? Дальше слушай. Серке Алиев хочет, чтоб скорей социализм был, сам пришел с лопатой помогать нам. А? Верно я говорю? Еще слушай, Магомету-Оглы хана теперь будет, а Серке Алиеву — что? Какая награда? А? Верно я говорю? Мое предложение самое короткое. В ответ вредителям организовать казакскую бригаду имени певца Серке Алиева... Мое предложение, чтобы эта бригада лучше всех ударников работала... А? Верно я говорю?

Голоса. — Верно! Верно!

— Правильно Файзулла сказал! Правильно!

— Кричи ура Серке Алиеву!

— Товарищ Алиев! Бригаду твоего имени создали! (*шум*).

Гремят подряд два взрыва. Стучат перфораторы. Грохочет экскаватор. Лязгают лопаты. Пыль. Исступленная работа соревнующихся землекопов.

Бригадир. Кончай митинг!

Крики: — Давай! Давай! Давай! Голуби!

— Нажимай, братва! На-жи-май!

— Шеве-ли-ись! Джалдастар! Файзулла!

— Уйди с дороги! Зашибу! Ванька, дьявол!..

— Живее! Живее!.. Джалдастар!

— Давай! Давай! Давай!

— Джалдастар!

Картина социалистического соревнования.

Занавес.

Город Серафима Дагаева

Старый горбатый город — щебень и синева,
Свернута у подсолнуха рыжая голова,
Свесилась у подсолнуха мертвая голова,
Улица Павлоградская, дом номер сорок два.
С пестрой дуги сорвется колоколец бренча
Красный кирпич базара, церковь и каланча,
Красен кирпич базара, цапля — не каланча,
Лошади на пароме слушают свист бича.
Пес на крыльце парадном, ласковый и косой,
Верочка Иванова вежливая, с косой,
Девушка-горожанка с нерасплетенной косой,
Над Иртышом зеленым чаек полет косой.
Верочка Иванова с туфлями на каблуках.
И педагог-словесник с удочками в руках.
Тих педагог-словесник с удилищем в руках,
Небо в гусиных стаях, в медленных облаках.
Дыни в глухом и жарком обмороке лежат,
Каждая дыня копит золото и аромат,
Каждая дыня цедит золото и аромат,
Каждый арбуз покладист, сладок и полосат.
Это ли наша родина, молодость, отчий кров, —
Улица Павлоградская — восемьдесят дворов?
Улица Павлоградская восемьдесят дворов.
Сонные водовозы, утренний мык коров.
В каждом окне соседском тусклый зрачок огня.
Что ж, Серафим Дагаев, слышишь ли ты меня?
Что ж, Серафим Дагаев, слушай теперь меня:
Остановились руки ярмарочных менял.
И засияв крестами в синей как ночь пыли
Восемь церквей купеческих сдвинулись и пош
Восемь церквей, шатаясь, сдвинулись и пошли
В бурю, в грозу, в распутицу, в болото, в ковыли.
Пики остры у конников, память пики острей:
В старый, горбатый город грохнули из батарей.
Гулко ворвался в город круглый гром батарей
Баржи и пароходы сорваны с якорей.

По середине площади, не повернув н
Кони встают, как памятники,
Рушатся и хрипят!
Кони встают, как памятники,
С пулей в боку хрипят,
С ясного неба сыплется крупный свинцовый град
Вот она наша молодость — ветер и штык седой
И над веселой бровью шлем с широкой звездой.
Шлем над веселой бровью с красноармейской звездой,
Списки военкомата и снежок молодой.
Рыжий буран пожара пепел пустив потух
С гаубицы разбитой зори кричит петух.
Громко кричит над миром, крылья раскрыв петух,
Клювом впиваясь в небо и рассыпая пух.
То что раньше теряли — с песнями возвратим, —
Песни поют товарищи, слышишь ли, Серафим?
Громко поют товарищи, слушай же, Серафим —
Воздух вдохни — железом пахнет сегодня дым.
Вот она наша молодость — поднята до утра,
Улица Пятой Армии, солнце. Гудок. Пора!
Поднято до рассвета солнце. Гудок. Пора!
И на местах инженеры, техники, мастера.
Зданья встают, как памятники — не повернув назад.
Выжженный, белозубый смех ударных бригад.
Крепкий и белозубый смех ударных бригад, —
Транспорт хлопка и шерсти, послан на Ленинград.
Вот она наша родина с ветреной синевой,
Древние раны площади стянуты мостовой.
В камень одеты площади, рельсы на мостовой.
Статен, плечист и светел утренний город твой!

Павел Васильев

Последний шаман

Полярный круг сжимался уже.
И ртуть застывает как лед...
И радиомачта в оснастке стужи,
Казалось, вот-вот оторвется, всплывет.
Но пусть провода отзываются стоном
Надежней, чем парус — их тонкая вязь.
Крепчающий норд налетал с разгона
И выл, как шаман,
И падал крутясь.
О, гость круглоскулый, далеких становищ
Ветрам и пространствам готовящий плен
Ты судорогой цепкою не уловишь
Незримых духов поющих антенн.
—«Вам, людям с большого пловучего чума
все дымы виляют хвостами собак».
Так мне ты ответил. И я подумал.
И я сказал: «Да, Амгай, это так».
Ты бросишь, я знаю, шаман последний,
игрушкой свой бубен, детям на слом.
И некому будет отдать в наследье
твое необычное хитрое ремесло.
Шаманы, как мамонты древние вымрут!
И в каменном чуме рабфака гостя —
не жертвенной кровью — чернилами вымарает
свои закорузлые пальцы остяк.
Он знает: шаманы с ветрами споря
над тундрой поют.
Но не им нарушать
Безмолвие полярных аудиторий,
что кровью прилило, стучит в ушах...
Безмолвия нет.
Оно раскололось,
как треснувших льдов раскатистый залп!
. . . .
Нового Севера слушают голос,
Полузакрыв косые глаза

Лев Черноморцев

Голодная степь

Михаил Скуратов

В предгрозовую ночь апреля полуторатонный форд пересекал Чиназско-Джизакскую Голодную степь в северо-западном направлении. Мы отправлялись на поиски нового, только что народившегося острова хлопка, покидая Пахта-Арал, потонувший в мерцаньи электричества.

На северо-западе тревожно сигнализировали зарницы, с тугаев Сыр-Дарьи дул влажный ветер. Автомобиль наш был забросан хлопковыми семенами в мешках, на которых сидится, как на подушках...

И сразу же, со времени нашего отбытия, начались чудеса. Всю ночь мы настигали рокотавшую грозу и до самого рассвета не могли нагнать ее, постоянно боясь, как бы этот «громокипящий кубок с неба» не опрокинулся на наши головы. В Средней Азии, где капля воды драгоценна, понятна тревога агронома, моего спутника: будет дождь или не будет.

Ему хочется, чтобы дождь был, но совсем не хочется мокнуть в степи.

— Ах, черти, черти! — бормочет он. В Чардаре, где запоздали с пахотой, он опасался, как бы не пересушили землю, боясь за хлопок. В Пахта-Арале, где имеются богатые возможности полива, пахота в основном близится к концу. Но Чардара! Там даже не готова водно-оросительная сеть.

Тем не менее, жутко ночевать в степи под ливнем. Но если бы мы только знали, что будет утром в песках Кызыл-Кума! Свинцовые тучи с злым блеском ледяных, ежеминутно открываемых глаз обволакивали нас со всех сторон. Мы спасались от них бегством, летя к ним навстречу, чтобы прорвать заслон, перегнать их... Только бы добраться до второй или первой чайханы, миновать солончаки... Автомобиль развивал жуткую скорость, от которой еще до сих пор стоит свист в ушах.

Великая будущая хлопковая равнина развернулась перед нами в ночной тревожной красоте. Мы ехали в самое цветущее время года: вся степь была залита, судя по пряному запаху, цветами, зеленью.

Усики автомобильных огней нащупывали перед мотором следы резиновых шин, оставленных вчера, и бегут по ним, за отсутствием шоссе.

Колеса почти неслышно касаются травы, скользя... как по шелку.

— Чувствуете? — спрашивает т. Волков (агроном).

— Да! — шепчу, — мягче, чем по асфальту на Тверской.

То-и-дело перебегали импровизированную дорогу тушканчики. Ночные зверьки эти с упругостью резинового мячика отскакивали от земли: задние ноги у них, как у зайца, длиннее передних. Попадая в орбиту лучей, они слепли и терялись, бросаясь прямо под колеса машины.

Позади долго еще маячили огни Пахта-Арала. Хутора северного направления и самый дальний из них, Притугайный, или как его исковеркали здесь, — «Португайный», ныне Дзержинский, манил к Сыр-Дарье. Тугай — значит заболоченная местность: в тугаях прохаживаются фазаны, уркают кабаны, стонет ночная выпь, но у нас не было ружья, да и не след своврачивать. Мы у дела.

Взлетаем на легкую припухлость земли: это — богара, неполивная пахота. У самой дороги глинобитная изгородь, за которой торчит палка с конским хвостом. Такая же есть за Пахта-Аралом к югу, у Яяги-базара... Воображаю, что это могила муллы, вспоминая конские бунчуки и знамена, эмблему мусульманской духовной мощи, над изголовьями духовника Тимура и двоюродного брата пророка Мухаммада в Самарканде, в мавзолеях Шахи-Зинда и Гури-Эмир. Тов. Волков сообщает, что это три конокрада, убитые местным населением еще до коллективизации и похороненные, согласно обычаю, на перекрестке дорог в назидание потомству. Могила стала одновременно и памятником

челкому его зоологическому иерству.

Невольно отворачиваюсь от кровавого монумента и натыкаюсь глазами... на пирамиду, подлинную пирамиду со ступенчатыми крыльями по бокам и усеченной вершиной. В потемках она расплывается сумрачной, смутной громадой. Ничего страшного: обычный для Средней Азии кирпичный завод, изготовляющий для Пахта-Арала прекрасный жженый и сырцовый кирпич из лесса. Он даже немного преувеличивает свои размеры за счет густеющей темноты.

А вот мы и на богаре, на самой богаре! Впервые взрытая в нынешнем и прошлом году целина, предполагавшаяся под хлопок, освоена на половину пшеницей. Уж было за эту пшеницу головомойки Пахта-Аралу от инспектора Казакского наркомзема т. Глыбина, сухого, длинного, как жердь, человека, с лукавым поблескиванием глаз.

В этом году впервые решено произвести в массовом масштабе посев хлопчатника на неполивных землях (так называемых богарных), несмотря на их смехотворно малые урожаи, каких-то 150—170 килограммов с гектара. Но там, где нельзя взять качеством, мы должны взять количеством — сплошными массивами освоенной земли, с тем, чтобы впоследствии оросить их. А тем временем будет итти вытеснение нехлопковых культур хлопком и замена патриархальных омача и китменя трактором.

С этим и идет наступление победоносного советского хлопка на всю Среднюю Азию, Крым, Северный Кавказ, Казакстан и Нижнюю Волгу. Голодная степь должна первой отступить в пески. В 1931 году громадная территория в миллион гектаров будет отвоевана у степей, пустынь и зерновых культур. Вторая хлопковая весна даст стране 667 тысяч тонн волокна... На долю только одного Пахта-Арала ляжет 16 666 тонн. Но если бы Пахта-Арал дал вместо 3000 га неполивного хлопчатника еще 1700 гектаров, отведенных под пшеницу и другие культуры, то эта доля стала бы еще больше. Но совхоз захотел, как и в прошлые годы, пользоваться собственной пахучей пшеницей... Так ли осуществляется борьба за хлопковую независимость?

Вот о чем гремел т. Глыбин в долгие мартовские ночи, вскидывая в моменты ожесточенных споров старомодные бабушкины очки на нос. Он всюду искал промахов как инспектор Наркомзема. Он настаивал, со всей строгостью решений партии и правительства, на том, чтобы хотя в следующем году пшеницы не сеять, не превращать Пахта-Арал в зерносовхоз.

Его точка зрения восторжествовала.

Две недели назад богара сверкала огнями как город: день и ночь шла пахота. Светящиеся жуки-тракторы ходили по девственной земле и в полдень, и в полночь, бороздя ее сверкающими плугами и боронами. Степь кишела людьми, фыркала автомобилями и лошадьми, звонкими девичьими голосами, разноголосицей. Палатки военного образца и кочевничьи юрты стали лагерем на траве... Здесь шел бой за пахоту...

Теперь в Чардару, к великой пустыне Кызыл-Кум, шуршащей песками и барханами. Теперь — в степь, в горечь степных ковылей, свежих трав, цветов, суховеев. Автомобиль, еще раз скользнув электричеством по зеленым лоснящимся всходам, сразу круто взял в подлинную дикарскую степь, где редко-редко ступает нога человека. Владения Пахта-Арала сгинули. Мы во власти темной ночи, отданные самим себе. Странно думать, что мы как корабль или щепка затеряны в безбрежных пространствах и никто не знает, что где-то у края песков, в Средней Азии, маленькая светящаяся точка, бороздя золотую орбиту по горизонту,— продвигается во вселенной, в одной шестой части света, окрашенной в зарево восходящего человечества, пионерами которого мы являемся. Возникает представление о громадности мира и нашем ничтожестве.

Но наше ничтожество мнимое: мы покоряем пространства и — как? — без путей и дорог отыскивая верное направление. Верблюжья ступня, однажды или дважды прошедшая за сезон в Чардару, вчерашний след резиновых шин — разве это дорога?.. Спасибо совхозам, они хоть изредка оживляют степь, арену хлопковых битв, редкими одинокими гостями. Через год-два будут тысячи.

При этой мысли чувство одиночества и затерянности исчезает. Где-то в тугаях плачет шакал, «чекалка» по-местному, над павшим верблюдом.

Сбиваемся со следу и прокладываем новый... Ловим глазами тушканчиков, ежей; в одном месте спугиваем зайца-русака: бедняга так растерялся, что сослепу на фонарь налетел, прижав уши. Сынишка чардаринского директора, ехавший с нами, чуть было не взял его живьем, спрыгнув с машины, но шофер, в ребяческом восторге, давнул рожок, и косой тут же дал

стрекача на сто шагов в сторону. Сигал он здорово! Это стало его спасением и темой для разговора.

— Раньше здесь зайцев не водилось, — говорит т. Волков, — это уже влияние оседлости, земледельческой культуры. Тополя растут у самой пустыни. Прилетели воробьи; жирные лягушки усеяли каналы и не дают спать жителям Пахта-Арала. С появлением землеробов, машин, — климат Голодной степи меняется, меняется флора и фауна.

Товарищ Волков бывал в Голодной степи еще мальчишкой, лет тридцать назад, бывал и позже, когда она действительно слыла Голодной степью....

— Вы думаете, она всегда была такой? Я помню, какой она была лет тридцать назад. Это было настоящее сухое выжженное море, «чул», как говорят казаки, теперь осваиваемое под культурные участки. Представление о ней может дать только та половина, по которой мы сейчас едем, но не далее июня месяца, когда всякая жизнь здесь вымрет, когда солнце иссушит последние травы и подует сухой жгучий «гармсиль», прямо из печки раскаленной пустыни Кызыл-Кум.

Жуткая, безотрадная картина встает передо мною со слов агронома, старого опытного хлопковода.

Я восстанавливаю давний облик Голодной степи в июне или июле месяце... В воздухе, пахнущем жженой банкой, чахнут, висят миражи, редкий куст или жалкий стог сена, слабо дрожащий в мерцании дымки и мареве земных испарений. Ни жизни, ни движения. Где-то на черных прогалинах валяются кости злосчастных животных да останки золтичных растений, похожих на кости. Зловещий вид!

Спаленные травы не в силах больше прикрывать белые пятна или плесень солончаковых выцветов и желтые сплетения дерна, побуревшие от времени. Солнечные лучи вызывают пожары, окончательно губящие жизнь даже фаланг, даже черепах, — этих ходячих камней. На горизонте вьются смерчи из тончайшей солончаковой и лессовой пыли. На юге и на востоке возникают призрачные, мерцающие словно медузы заснеженные вершины величайших в мире хребтов, как бы отделенные от земли и неба.

А на самом деле только воды требовала пустыня для оживления и превращения ее в культурный оазис.

Вот в каких условиях решается борьба хлопковую независимость!

Волков любит Голодную степь, впрочем теперь она уже наполовину не оправдывает своего страшного названия, превращаясь в цветущий зеленый оазис, среди которого Пахта-Арал, возникший уже после революции, кажется изумрудом первой величины.

А какие времена переживала она, какие страсти! Незавидная доля лежит на пути древних караванных трактов между Самаркандом и Ташкентом. Эта проходная дорога не раз топталась конями Темучина или Чингис-хана, наводнялась полчищами Тимура, а какой-то Абдулла-хан вырезал в ней однажды целую армию своих соплеменников и высек надпись в Джизакском утесе в ущельи, замыкающем степь с юга, чтобы содрогались потомки; каждый путешествующий по Средней Азии знает ее.

Нас же интересует она особо, чтобы проследить характер прежних и новых битв, которые ведет советская власть в здешних местах в борьбе за хлопок.

... Скала, что у Тамерлановых ворот, близко, очень близко подходит к окну вагона... Читайте:

> «Да ведают переходящие пустыни и путешествующие по пристанищам на суше и воде, что в 979 году происходило сражение между отрядом вместилища калифатства, тени всевышнего хакана Абдула-хана, сына Искандер-хана в 30 тысяч человек боевого народа и отрядом Дервши-хана и Баба-хана и прочих сыновей. Сказанного отряда (было) всего родичей султанов до 50 тысяч человек и служащих людей до 400 тысяч из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дешти Кипчака. Отряд обладателя счастливого сочетания звезд одержал победу. Победив упомянутых султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от людей, убитых в сражении и в плену, в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности воды текла кровь. Да будет то известно».

Впоследствии «обладателем счастливого сочетания звезд» оказался русский самодержавный империализм, отбивавший марши тяжелым солдатским сапогом. В Ирджарской битве (20 мая 1866 г., неподалеку от нынешнего Пахта-Арала) двуглавому орлу посчастливилось вырвать у чалмоносных бухарских ханов полное господство над Голодной степью. А тому вре-

мени, отделяющего нас от тех дней, немного более полувека.

Таково недавнее прошлое. Вряд ли когда эта равнина была районом широкого заселения, хотя бы в глубокой древности. Но еще недавно найденные в ней, в целом ряде урочищ, цистерны с куполами от восточной постройки, сохранявшие в себе колодцы либо бассейны для снеговой и дождевой воды, говорят, что Голодная степь не всегда окончательно вымирала. Память об этих цистернах, или «сардабах», и караван-сараях сохранилась в преданиях, не так далеких от нашего времени. Куда-то исчезли древние каналы: Тюя-Тартар и Урумбай-Мирза, оставив по себе только легендарные воспоминания.

Царскому правительству днем и ночью тоже мечталось превратить Голодную степь в оплот русской колонизации в Средней Азии, и кое-что ему в этом отношении удалось. Советская власть выкорчевывает следы этой колонизации. Характерен один документ, являющийся как бы завершением пятидесятилетней колонизаторской политики царя в Голодной степи, «об отводе орошаемых системою Романовского канала казенных участков Голодной степи, Ходжентского уезда, Самаркандской области». Документ этот, являющийся законом, одобрен Государственным советом и Государственной думой и «высочайше» утвержден 21 июня 1914 года, накануне мировой войны. В нем говорится, что «к заселению казенных орошенных земель допускаются русские подданные всех христианских вероисповеданий, без различия состояний» (не имеющие состояния мыслились как батраки). Переселенцам обещались льготы по казенным платежам и земским денежным сборам. Об открыто завоевательном характере этой колонизации ясно говорят несколько строк оттуда же: «последователи таких вероучений, которые отрицательно относятся к исполнению воинской повинности, к заселению орошенных казенных участков не допускаются».

Двуглавый орел нуждался в крепкой вооруженной силе.

Романовский Голодно-степский канал торжественно открылся 5 ноября 1913 года, в честь генерала Романовского, главного «героя» Ирджарской битвы.

В момент пуска воды из головы канала в магистраль вся чиновная и военная знать, представлявшая «белого царя» в Туркестане, в густых эполетах и орденах украшала собою передний план. Дамы пылили шлейфами и скрывались от палящего солнца в беседке, украшенной вензелями и декоративными растениями. Остальная вольная публика и «быдло» почтительно стояли поодаль, теребя головные уборы в из'явлении своих верноподданнических чувств. На рабских ординарных лицах трогательное выражение. Так отпраздновано было самое крупное и первое строительство русского капитализма в области орошения в Средней Азии.

С тех пор много воды утекло... и не только по каналу. Драгоценную влагу оказалось возможным пустить в степь на 100 верст, постепенно удлиняя магистраль на северо-запад.

Ставка, согласно монаршей воле, была на крепкого русского мужичка, в силу чего и вся водно-оросительная сеть строилась по соответствующему принципу. При колхозном и совхозном строительстве, при вытеснении хлопком зерновых культур, такая система явно не годится и советской власти дорого приходится расплачиваться за неумелое кулацкое водопользование. Столыпинские заветы были живучи, когда на поливные земли садились новоселы из Украины и Поволжья отрубами и хуторами. Экзотические степи по соседству с оттесняемыми тюрбанами и чалмами, паранджами и чапанами, оглашались многоголосыми украинскими и поволжскими песнями... Ситцевая Рязань и Черниговщина перекочевывали в Среднюю Азию.

И только теперь, наряду с европейским населением в Ирджарском, а ныне Пахта-Аральском и во всем районе орошаемой Голодной степи происходит оседание коренного казакского населения на землю. Граница Казакстана прихотливо изогнулась между Самаркандом и Ташкентом, отведя степнякам самое сердце Средней Азии. Степные кочевники являлись давнишними вековыми хозяевами «сухого моря», Чула, оттесняемые к северу русским самодержавием, покамест этот спор не разрешила советская власть. Теперь они возвращаются на родные земли, но только более прочно, оседло. Много уже возникло вокруг Пахта-Арала казакских колхозов и кишлаков, с звучными названиями: Элтай, Янги-базар и т. д. Но следы царского владычества еще остались, и социалистическому сектору приходится приспособляться к прежней сети, рассчитанной на распыленные индивидуальные хозяйства.

Хуторяне, незнакомые с местными условиями, правильно решив, что вода — основной источник плодородия, переборщили, когда ста-

ли действовать по принципу: чем больше лить, тем лучше. В результате грунтовые воды, богатые солями, пришли в соприкосновение с поливными и чуть было не превратили цветущие земли вновь в пустыни, только засолоненные и заболоченные, в иточники малярии. Население вымирало, частично сбегало, пока, с приходом советской власти, не началось плановое и экономное распределение воды. Тем не менее, даже в Пахта-Арале, этом детище советской власти в Средней Азии, но возникшем в системе старой сети, коэфициент полезного действия воды не высок, составляя всего лишь 50—60%. Сеть требует пересмотра, и новый проект орошения, уже созревший, может дать Советскому государству еще 500 тысяч гектаров с лишком в Голодной степи и граничащей с нею Дальверзинской.

При упоминании о хлопковой независим т. Волков грустно качает головой.

— Вообразите себе карту Средней Азии,— говорит он,— белую простыню, засиженную мухами и залитую кофейной гущей. Там, где движутся бесчисленные, словно копошащиеся в глазах серые точки, надо подразумевать пески Кызыл-Кума, Кара-Кума, Муюн-Кума с примесью Больших и Малых Барсуков, Сары-Ишик-Отрау, Люк-Кума, Тау-Кума и прочих «кумов», а «кумы» — это пески! Колыбель человечества, чорт возьми! О ней напоминают редкие зеленые островки, вытянувшиеся словно распылившиеся жирные пятна на долинах рек и каналов.

— А там, где кофейная гуща, надо искать вершины Ала-тау, Балыклы-тау, Алайского, Заалайского, Петра Первого, Зеревшанского хребтов. Где же здесь жить человеку? Неужели на этой крыше мира — на Памире или в песчаных морях и сыпучих озерах? А ведь и в самом деле все эти «кумы» — днища когда-то настоящих морей, прародителей Каспийского, Аральского, Балхаша.

— Теперь понимаете, почему Пахта-Арал назван островом?

— Что же делать?

— Орошать! — следует лаконический ответ,— овчинка стоит выделки! Почему бы, например, хлопковые острова не превратить в сплошные хлопковые моря или озера или усеять ими лицо Средней Азии так же густо, как и Кызыл-Кумы и Кара-Кумы, вместе взятые?

Есть и на пустыню, на любую Голодную степь — гроза, и грозой этой служит вода. Любопытно, что там, где передвигаются подковообразные холмы песков — барханы, всюду присутствует вода на очень незначительной глубине, от 40 сантиметров до 2 или 2¼ метров. Пески «самая влажная почва» в пустыне, как это ни странно: там можно рыть колодцы и воздвигать над ними куполообразные сардабы. Но самое лучшее — это повернуть русла рек в степь и отвести от них щупальца каналов.

Вот выход, чтобы утереть нос заносчивым ики и англо-египтянам, везущим нам, за советское золото, шелковистое розоватое волокно, тогда как оно может расти и у нас.

Да, это и есть выход! Средняя Азия, вместе с югом Казакстана, самое подходящее место в СССР для хлопка. Здесь его основные массивы. Здесь, в этом пекле, хлопчатнику живется легко, если только его немного попрыскать.

Капризное дитя тропического и субтропического климата, он любит, чтобы его припекало солнце, не сходя с неба 150—200 дней. После заката он точно засыпает. Он любит, чтобы его полоскали водой, но не слишком много: время от времени. К почвам он сравнительно равнодушен: довольствуется и сероземом, а получив лесс, вырастает в целое дерево — в гузапаю; таким лессом обладает Голодная степь. Средняя Азия дает ему сколько угодно тепла, и он, в зависимости от пояса, удлиняет свой вегетационный период от 5 до 6½ месяцев, забираясь далеко на север.

Здешние края засушливы, но солнечная радиация мало чем уступает Флориде и Техасу в Сев. Америке и даже «стране хлопка» — Египту. Таким образом, северная граница хлопка в СССР, не говоря уже о Нижней Волге и Кры проходит выше, чем в Америке.

Нет ничего невозможного на свете, если делать с толком. Хлопок в СССР будет, не исключая даже самого тончайшего египетского, который вырастает и в Таджикистане. Чтобы стало понятным, как мы дорого переплачиваем иностранцам за привозное волокно, достаточно взглянуть на шкалу ввоза в СССР, где хлопок занимает второе место после машин и оборудования. Это при богатейших возможностях его произрастания в Средней Азии и Казакстане! Никакие затраты на освоение новых земель и орошение не идут в сравнение с тем, как много мы теряем из-за него валюты.

земель-то! — говорит т. Волков,— хоть до самого Казалинска можно продвигать хлопок, если хватит уменья и сил, а это у самого Аральского моря. Узкой полоской он продвижет, вытекая из широкого хлопкового клине

Голодной степи, по извивающейся ложбине Сыр-Дарьи. Какие богатые возможности!

Туда его и продвигают, примером чего может служить совхоз Чардара, лежащий в трубе Голодной степи на северо-западе. Дальше уже начинаются притугайные и прибрежные земли, каемкой вьющиеся между песками и Сыр-Дарьей. Только бы пустить туда воду, посмотрите, как заволнуются там поля под гузапаей, с распускающимися на ней бутонами будущей пряжи. Конечно, чем дальше на север, тем ниже сорта, но для этого существует пересадочная парниковая культура, искусственно удлиняющая вегетационный период и улучшающая качество. В конце концов и низкие сорта на что-нибудь пригодны: не всегда же люди одеваются в лучшие ткани и носят маркизет. Этим сортам место еще дальше на севере.

Да, это действительно эпопея, поэма, развертывающаяся у нас на глазах. Это куда пославнее битв Абдуллы-хана в той же Голодной степи, из которой под напором коллективизации уходит бай, мулла и кулак. Последние сорняки покидают степь...•

ЧАЙХАНА «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

— Да, степь! — встрепенулся я. Мы уже и забыли о ней в разговорах о будущем хлопка. Вот она дышит на нас испареньями, солью, полынью, думает залить нас ливнем или только смеется... Покамест еще сухо, но ветер уже треплет платье, становится прохладным.

— Поспешайте скорее! — колотим мы по передку автомобиля. Им там хорошо, в кабине-то, а мы тут коченей от холода.

Волков кутается в овчинную кургузку. Я плотно застегиваю все пуговицы на плаще и ставлю воротник стоймя.

— Пожалуй, хватит с востока, — говорит т. Волков, определяя силу грома по приметам, ему одному знакомым. — Не так страшно вымокнуть, сколько завязнуть. Знаете, какие здесь почвы? Встанешь в грязь в зашнурованном ботинке, а шнурки и лопнут, ботинок с ног долой и пойдешь босиком по этакому тесту, добавляет он.

Я с уважением взираю на него.

— Почему вы не спите? — спрашиваю его, указывая на мягкие хлопковые мешки, где свернулся калачиком сын директора (к отцу едет, на побывку).

— Я не люблю спать в степи, — рассеянно пробурчал Волков, оглядывая небо. Он постоянно озабочен какой-нибудь мыслью и главная из них направлена сейчас на то, как бы обратить силу дождя в Чардару. Ах, как бы там не пришлось пахать лессовую пыль.

Сердитая молния блеснула в его пенсне. Маленькое острое птичье лицо тревожно что-то высматривает впереди, но зрение не позволяет.

Началась самая замечательная часть нашего пути. Над самой головой тарарахнул предостерегающий взрыв грома и огненный шар покатился по земле.

— Ну, будет заваруха.

Ветер становится немилосердным, срывает с сиденья.

Стараюсь увидеть хотя что-нибудь впереди. Ни зги. Одна сажа, копоть ночи. Есть же такие нелюдимые места на свете! И только какая-то странно одинокая звезда уцепилась за горизонт...

— Что вы там увидели? — спрашивает Волков.

— Звезду, — отвечаю.

— Поищите там еще одну, — говорит он серьезным тоном.

— Чего искать? Сообщаю, что она одна-одинешенька...

— Тогда, значит, это не звезда.

Тут сбоку хватил нас вдруг косой ливень. Вдохновение сразу осеняет Волкова. Он перегибается через передок:

— Валяй, брат, — кричит он шоферу, — на чайхану, если не хочешь сгубить машину.

Шофер, молодой парень, послушался и горячо взял смаху, на полном ходу описывая дугу под углом в 20 градусов.

— Шибче! — крикнул агроном.

Машина, выпрямившись, дала полный ход без колеи, напрямик, без всякого следа по девственной степи, имея в виду, как компас, только маленькую светящуюся точку. Можно было не опасаться, что мы сломим шеи в яме или рытвине, — настолько степь ровная и округлая. Единственное, что нам могло встретиться, это древние колодцы («сардабы»), но в таком случае мы должны были их заметить, спугнув джейранов (косулей), которые обычно ходят сюда на водопой. Но мало ли что бывает в степи?

На перегоне в 140 километров, между Пахта-Аралом и Чардарой, расположены две красных чайханы. Обычно автомобиль проходит этот путь в 4 часа без передышки. Над каждой из них посажен на шест фонарь «Летучая мышь». Светящийся пузырь этот служит маяком, при-

глашая на огонек уставшего или п шего путника.

Замечательно, что эта жалкая пузатая застекленная коптилка «Летучая мышь», торчащая на сравнительно невысоком шесте, видна на ровном плато за 20—30 километров! Вот когда возникает подлинное представление о степи, как о сухом море.

В безлюдной равнине такой огонек особенно гостеприимен и уютен. Это трудно ощутить, не побывав там самому.

Мы ворвались туда ураганом под самые сумерки фосфорического рассвета и раскаты грома, настигавшего нас.

В зеленоватом сумраке даже приземистая сакля чайханы и двор казались особенно романтичными. Чайхана при вспышке молнии принимала плотные очертания сплошных масс и контуры ловко задуманной гравюры.

«Летучая мышь» вблизи показалась такой тусклой, что было удивительно, как она дерзкая, могла бросать свет так далеко.

Словом, в ту ночь я навсегда оставил представления о степях, как об унылых бессодержательных просторах! Мы постепенно перенесли свои пожитки под накрапывавший дождик в чайхану, не нуждаясь в освещении. Электрического света было вполне достаточно и на небе.

Темные, еле приметные сугробы зашевелились и разволновали темноту. Раздался жалобный скрипучий стон колодезного журавля и замолк. Бредили потревоженные нами верблюды. Со двора им ответил надсадный ишачий рев, от которого и львы склонили бы головы. Чайхана была набита погонщиками караванов и обозов, медленно ползущих в Чардару с грузом. Утомленные люди даже не повернули головы, вповалку устилая приподнятый земляной пол. Сторож чайханы готовил нам уже чайник и расставлял лепешки, за которые мы платили по рублю... Кооперативные цены глухой ночью не действительны.

— Ах, спекулянт! — бормочет кто-то подле нас.

С нами вместе бодрствовал человек почтово-телеграфного вида, в очках и с русыми жиденькими усами, угощавший нас даровыми лепешками и сахаром и, видимо, на что-то рассчитывавший. Это был наркомпочтелевский строитель из Актюбинска, ехавший проводить телефонную линию в Чардару. Все для Чардары! Люди, лошади, грузы в этой дикой полусонной степи, по соседству с песками... Вызвать к жизни нелюдимое место — это что-нибудь значит!

А между тем?.. А между тем, чай почему-то казался особенно вкусным и пахучим, лепешки и сахар хрумкали на зубах, но спать нам было негде. Мы перешли во второе отделение но там ночевали не то чьи-то щенята, не то поросята, во всяком случае запах был очень духмянный и... еще какие-то два человека. Щенята, те, что поближе, спросонья им сосали пальцы и тихонько, но ровно подвизгивали и вздрагивали. Их, видимо, пугал гром, грохотавший уже в отдалении. Слабый дождь едва прыскал, нагнав больше страху, чем ожидаемой влаги... Или, возможно, удар прошел где-то дальше: во всяком случае переждать надо было. Ломило голову и часок-другой требовалось заснуть.

Строитель подговаривался к нам, нельзя ли ему утром взмоститься на автомобиль, так как распроклятая бричка и здешние солончаки растрясли ему все «сдухи» и он в два дня не доберется до места. Секретарша Чардары, обрюзгшая за ночь и ехавшая вместе с нами, бессмысленно хлопала на него глазами и клевала, клевала... Шофер отмалчивался, так как в дороге, рассосанной дождем, каждый лишний человек казался ему обузой, да и в самом деле автомобиль не мог брать больше полутóрых тонн. Но у нас хватило бы места еще на два человека... Шофера, впрочем, было трудно уломать.

Агроном тем временем спугнул с земляного пола фалангу и скорпиона, скорчившихся в смертельных об'ятиях при случайной встрече в поисках теплого места вблизи человека. Секретарша взвизгнула и поспешила в кабинку... Землю кропил дождь, но мы тем не менее забрались на автомобиль и сладко переспали на хлопковых семенах.

К утру нас догнал караван с чардаринским кооператором и заведующим хозяйством, бывшим старшим конюхом Солохненко.

Спросонья смутно ощущаю, как два человека забираются к нам в кузов. В удивлении таращу глаза и просыпаюсь. Машину уже лихорадит мелкой нервной дрожью. Собираемся в путь. Совсем рассветало. Последние грозовые тучи в расстроенном порядке отступали на запад. Лирическая чайхана, на фоне разоблачающего трезвого утра, мокла недоумевающей прелой грудой безобразных глиняных строений, осклизлых от дождя.

Какое горькое пробуждение! После всех причуд и фантазий ночи она казалась разбитым живым существом на склоне лет. Мокрая, расползающаяся убогая мазанка дымилась кучей навоза... В таком виде она являла еще большую печаль и усталость. И как бы в насмешку над нею, пестрый хохлатый удод, с клювом больше его самого, сидел на шесте и мерно качался на фонаре «Летучая мышь». На том самом, который я вначале принял за звезду. Фу, ты пропасть!

Последнее наваждение сгинуло. Караваны готовы к отбытию. Верблюды медленно выплывают величественными горбами. Но величественность не совпадает с нашими темпами, и мы забегаем вперед. Впереди тарахтящего мотора вздымает руки к небу почтово-телеграфный строитель с грустно-поникшими усами и слезящимися очками, в балахоне, усердно взывая к шоферу. Но шофер отрицательно качает головой и бедный строитель проводил нашу машину живым укором, застыв одинокой удаляющейся фигурой среди верблюдов и подвод, в мешковатом капуцинском одеянии. Пропали даровые лепешки и сахар!

Мне стало его жалко, но случай выручил его впоследствии и посмеялся над нами, дав о себе знать тотчас же после нашего отбытия. Форд сразу же стал давать толчки, подбрасывать, коптить и недовольно фыркать, почувствовав изменчивость дороги. Чем дальше на север, тем больше мы убеждались, что главная сила дождя прошла где-то вблизи нас. Все чаще поблескивали засасывающие оконца луж, особенно опасные на солончаках. Задние колеса буксовали, забрызгав нас комьями липкой грязи. Утро не обещало ничего хорошего. Оставалась одна надежда на восходящее солнце: взойдет, подсушит...

Впереди расстилался глубокий сай (лог), застланный молочным туманом, расплывающемся, как река.

Обретаем необходимое спокойствие и безразличие, даже способность разговаривать. Разговор приобретает едкий характер. Подсевшие пассажиры не слишком-то довольны тем, что их Чардару берут на общественный буксир.

— Нечего нас тащить, мы и так хорошо идем...

— Хорошо-то хорошо,—возражает Волков,— а с пахотой вот запоздали. Не будет дождя, тогда и сидите до морковкина заговенья. На вашу сеть рассчитывать нечего.

— Как не будет! Дождь будет! — уверенно заявляет т. Солохненко, — да и с сетью ничего. Первый участок мы уже промываем.

От украинского лица Солохненко веет невозмутимостью и благодушием, но Волков отыскивает в нем «казенный оптимизм», и по-своему прав. Он знает, что в Чардаре сеть еще не готова и никаких промывок засолоненных земель не было. Перемычки, дамбы, при первом напоре воды могут рассосаться. И о чем только думает этот водхоз?

Тов. Солохненко умолкает, и тогда начинает кооператор. Он прежде всего ругается: посылает всех к чортовой матери. У него своя забота — как бы заблаговременно забросить в Чардару товары — «провиант». Это на верблюдах-то за сотню-полторы километров от железной дороги по пыли, по солончакам. За что только люди маются?

Оба «друзяки», видимо, раздражены и уязвлены общественным буксиром и не склонны признавать Чардару в числе отстающих совхозов. Глаза их говорили: она еще молода, наша Чардара, и вовсе не отстает. Это надо, товарищи, различать. Но языки их замолчали, потому что потряхивания автомобиля стали еще более частыми.

Поеживаемся от мороза: такой приятный утренний холодец. В далеком логе (сае) пробуждается кочевой улус, или кишлак. Конусообразные кибитки распахнуты: на роситую траву с гаем выбегают мальчишки на босу ногу. Отдаленные голоса, пощелкивание бичей даже в нас будят первобытные ощущения, от которых можно изойти тоской. Верблюды скорбно провожают нас, по-лебединому вытягивая шеи.

Степь дышит паром и горьким кизячным дымом от сизых кишлачных костров.

Но при первом же встряхивании машины, со всего размаху в'ехавшей в затормаживающее солончаковое озеро, забываем думать о кишлаках. Солонцы, если они рассосаны влагой, обладают тем удивительным свойством, что ловят машину как муху клейкая бумага, и как бы она быстро ни шла, могут повернуть ее назад, вот так, крест на крест, и... завязить. Вот чего мы опасались.

Впереди вставали туманные красные горы, огибая холмистой стеной Голодную степь. Мы, кажется, близко у цели.

— Что это за горы? — спрашиваю Волкова, удивляясь, что уходящие вдаль холмы Красного Яра, замыкающего степь, не значатся на моей карте.

— Это красные пески, Кызыл-Кум, — отвечают мне. — Да, барханы, красные барханы... Кызыл — значит красный, есть еще черные пески Кара-Кум... Вот под'едем — увидите.

Никогда не предполагал, чтобы пески были выше многоэтажного дома.

Приподымаюсь на цыпочки и впиваюсь глазами в парадиз настоящей воспетой пустыни. Почтительно поглядываю на гряду застывших в своем вечном движении увалов — и ничего больше не обнаруживаю.

Агроном предупредил меня, чтобы я ничего другого от песков и не ждал. Все эти воображаемые миражи, фата-моргана, оазисы — только фон, на котором возникают крепости.

— Нужна большевистская воля, — говорит мне Волков, — чтобы двинуть сюда человеческие потоки. Они идут, эти потоки... Но пески, пески... они угнетают.

Да, конечно, если бы было здесь все, как в Пахта-Арала, где люди, тракторы... тогда совсем другое дело. А здесь, в этом классическом месте смерти, я думаю, негде даже повеситься.

— Что за ерунда! Вы бы лучше подумали, — говорит Волков, — какая это угроза хлопку. Мы в Чардаре осваиваем новые земли, отвоевываем их у Голодной степи шаг по шагу, а пески! — с горечью восклицает он, — ведь они наступают.

Осторожно огибаем солончаки и за разговорами неожиданно в'езжаем в какие-то развалины и закоулки.

— Актюба! — возглашают спутники. — Мертвый город.

Что значит мертвый город под пазухой Кызыл-Кума? Ископаемый Хара-Хото с фантастическими башенками Субурган или нечто вроде? Нет, проще!

Провинциальные глинобитные дворики носят еще следы вчерашнего сухого помета и верблюжей ступни. Ставни восточного типа с решотками, заколоченные лавчонки, разные азиатские дверцы и падающие своды плоских крыш говорят о том, что здесь еще недавно сочилась жизнь. Теперь, все перекочевали в соседнюю возникающую Чардару.

Стоило года три назад перенести район из Актюбы в иное место, и за три года все люди разбежались. И теперь на всю Актюбу остался один старик, который удит рыбу и, возможно, ест черепах, да и тот жив ли?

Петляем кривыми пустыми улочками, набл даем мерзость запустения. Глинобитные сре не-азиатские постройки за три года превра лись в тысячелетние развалины, а еще чер три от них останется одна глина. Актюба б зально скоро уйдет в землю: во-первых, сотрут красные пески (Кызыл-Кум), уже зан шие гребень над самым мусульманским кла бищем, а, во-вторых, она сама обратится пыль.

Мельком замечаю одинокий крест, свес шийся с бугра над скатом у дороги, нескольк советских памятников и груду камней с изо чениями из Корана: будет работы археолог разбирать потом, почему на одном и том кладбище разные черепки и останки...

Тишина, покой, безлюдье!

Земля открыла здесь два перламутровы глаза, как два жемчуга, чтобы смотреть мир. Между озерами пролегла переносица припухлая выемка дороги.

Мы врезались в бархан, перегораживающ нам путь. Бархан сползает в камышевое озе устилая его дно янтарным щебнем. Автом биль буксует, с трудом перебирая колесами шуршащему измельченному гравию.

Но потому что гравий недавно смочен д ждем — выскальзываем из песчаных сугроб и «шпарим» вдоль озер.

Мы близки к цели, — осталось каких-т 25 километров!

В'езжаем на припек и странно, словно н окатили ушатом холодной воды или опустили колодец — нам стало холодно. Шалости ли э небесной канцелярии или чудесное явление пр роды? Все выбоины, рытвины, ямы заполне льдом, величиною с детский кулачок или кур ное яйцо, а скатавшись, слежавшись — он ст и еще больше! Несет, как из погреба. Гра

— Целое побоище, будто Мамай воевал!

Лягушки, тушканчики, окровавленные и ра терзанные, валялись сотнями при дороге.

Но что стало с почвой? Автомобиль вста на дыбы и, дико вращая передними колеса в воздухе, рвется назад, воротит в обратну сторону. Шофер осаживает взбесившуюся ма шину в гиблое месиво, напрасно — машина двигается. Она не может двигаться, основа тельно завязнув в лессовом тесте... Мотор раз вивает предельную скорость. Бешеный бег н месте. Шофер последним усилием нажал н рычаг, еще на что-то надеясь и, обессиле горячо плюнул. Задние колеса буксуют вхоло стую, выгребая под собой целые котлован грязи.

Сели!

Упарившийся бедняга, вымазанный загаром и мазутом, покинул кабинку.

— Надо, ребята, помогать! — говорит он смущенно.

— Влипли, чорт возьми, влипли! — бормочет Волков.

Утро было замечательное. Иззябшие, синезатые озера стыли, подернутые паром. Гоготали птицы, плескались земноводные, коршун-рыболов, как выстрел падал в воду и, хватая рыбу за жабры или хвост, скрывался с нею в синеве.

Кызыл-Кум безмолствовал.

Ледниковая стужа шла из ям, наполненных градом, как картошкой. Каждая такая градина, пущенная в ведро, гнула жесть. В лощинах град лежал на 2 метра глубиной. Я собирал эти градины (по две-три на стакан!) и пил чистейшую ключевую воду. И хотя от нее ломило зубы, она была очень приятной на вкус.

Высаживаемся из автомобиля. Шофер же садится за руль. Четверо из нас подкладывают камышевую плетенку под задние колеса, чтобы они не буксовали.

Секретарша и мальчуган лениво прогуливались. Немного спустя и мы присоединились к ним. Сходили к озеру за камышем, разбирая плетеную изгородь, оставшуюся от более счастливых времен, от дней существования Актюбы.

Под ногами у нас чавкала булькающая топкая вязь. Но мы не смущались этим, только бы двинуть машину. Мы помогали ей локтями, боками, чем угодно, и получали от нее только плевки из-под колес.

Секретарша, с обрюзгшим породистым лицом, пренебрежительно посматривала на нас. Вид у нас был совсем не парадный, когда мы, захлестанные грязью, в сотый раз возобновляли свои яростные атаки на машину...

— Нет, не берет! — сказал т. Солохненко.

— Да, крепко зазнобило, — ворчим.

Дальнейшие исследования убедили нас, что двигаться дальше нельзя. Эти «кисельные берега» тянулись, пожалуй, до самой Чардары.

Полагаемся на милость солнца. Волков утверждает, что здешнему солнышку достаточно 4 часов и оно превратит дорогу в камень, в пыль!

— Будете знать, как ездить к нам в Чардару! — язвит т. Солохненко — это вам наука. Нечего нас стращать общественным буксиром. Что бы ни говорили, а мы по таким дорогам, где верблюд вязнет или дохнет, доставляем и горючее и грузы, — и баста! Еще спасибо скажите нам.

Транспорт — узкое место Чардары. И все-таки там совхоз, молодая поросль...

— Попробуйте смочить глину, — говорит Волков, и предлагает: — Наденьте, голубчик, ботинки, зашнуруйте, а потом и ступайте в это тесто из леосовой муки. Ступайте смелее.

Я ступаю и остаюсь без ботинок: шнурки лопнули. Шлепаю босиком по грязи.

Удивительные свойства у этого лесса! Самая благодатная порода для очагов плодородия, если есть вода, и для засушливых пустынь, если воды нет. Местами лесс залегает жирными толщами от 2 до 10 метров глубины, меняясь от плотных суглинков до супесей. Особенно хороши по своим питательным свойствам суглинки, но супесчаный лес лучше противостоит иссушающим свойствам здешнего климата. Да и работать с ним сподручнее плугом или местным омачем. Суглинки чертовски пористы, зернисты и влагонепроницаемы.

Но стоит этим суглинкам подсохнуть, и они, словно черствый хлеб, вздымают корку, которую и плугом не проворотишь и топором не угрызешь. Средне-азиатская корка на почвах — сущий бич Голодной степи... Сквозь нее, как гробовую покрышку, не пробиться молодым всходам, и они там глохнут в земле, как в гробу. При пересушке она обычно превращается в труху и пахать ее в это время — значит пахать пыль. Вот почему Волков боится, как бы в Чардаре не пересушили земли и не сорвали план пахоты.

Конечно, баснословность плодородия лесса преувеличена, но при своевременном уходе и поливе он дает такие урожаи, какие и не снятся в европейской части Союза. В год снимается несколько укосов люцерны.

В чистом виде лесс, при всем своем богатстве, лишен перегноя, азота и гумуса как в супесях, так и в суглинках. Приходится поневоле перемежать севооборот хлопчатника с люцерной, поскольку она является азотособирающим растением (4 года хлопчатник, 3 — люцерна), и восстановителем плодородия почв. Две службы у нее. Эта прекрасная кормовая трава не только восстанавливает, но и спасает почву от засолонения, затеняя и рассолаживая ее.

Помимо плодородия, лесс оказывается универсальным строительным материалом... Из него можно получать прекрасный жженый кирпич, прославивший медресэ Самарканда и «сардабы» Средней Азии, и не менее хороший сыр-

цовый кирпич, из которого строится большинство зданий колхозов и совхозов. Даже при простом смачивании лесс дает вполне пригодный глинобитный материал, примером чего служит наша печальная чайхана и покинутая Актюба.

Но — это вероломная почва. Будем ждать, когда она, согласно увереньям Волкова, отпустит наш автомобил, превратясь из теста в камень.

Страшно хочется есть. Волков предлагает поискать на холмах или в камышах битую птицу. Если градом побило тушканчиков и лягушек, то почему бы не побить ему перепелов или бекасов?

Вдохновленный этой мыслью, т. Солохненко, находящийся в камышах, уже снимает штаны.

Солохненко по шею в камышах. Машет руками... Сын директора и я бежим туда стремглав. Неужели утки в руках? Тов. Волков дал идею, — т. Солохненко ее осуществил.

Подходим — в каждой руке по животрепещущему сазану. Ну, это более правдоподобно и не менее лакомо, но только голыми руками никто рыб не ловит.

— Вы что прыгаете, т. Солохненко? — участливо спрашиваем.

— Да меня тут лягушата за волоски шкают. Проголодаешься, так хлеба достать сдогадаешься, — улыбается он, — приходится, ребятки, старика из Актюбы обворовывать.. Он тут сетей, язва, расставил, а я набрел.

— Тогда их надо обратно в воду побросать, — кричим, указывая на сазанов. Я предлагаю, в качестве компромисса, привязать к сетям червонец.

— Шибко жирно будет! — возмущается Солохненко. — Он тут налогов не платит, а мы ему червонец плати. Вот накроем его за это раз в году, будет знать, а деньгами он все равно сыт не будет. Давай, бери, тут свои законы. Придет в Чардару, я его кашей накормлю.

Доводы Солохненко удивительно совпали с доводами желудка. Пустыня имеет свои понятия о морали.

Хватаем сазанов за жабры и несем их. В самом большом из них было чистого весу не менее 5 кило. Приспосабливаем поганое ведро, взятое у шофера из-под горючего, под уху. Ничего, славно получится.

Секретарша за хозяйку, Солохненко за потрошителя. Отойдя в сторону, я стал набрасывать в блокнот свои впечатления.

— Корреспондент уже что-то записывает! — опасливо «шутит» секретарша. Господи, уж опять не обо мне ли? — умоляют ее глаза. У нее несколько неблагополучно с социальным происхождением...

Захлопнув блокнот, чтобы не тревожить спутницу, и в ожидании ухи отправляюсь к безжизненному озеру. Встречаю великолепную черепаху, ползущую на водопой и приготавливаю перочинным ножиком пепельницу... Выскребывается легко. Промываю панцырь в воде и с ужасом замечаю, как водяные жуки рвут черепашье мясо.

Идя берегом подбираю маленьких бекасиков, убитых градом... Головки, запекшиеся в крови, мотаются из стороны в сторону с лоснящихся сизых грудок. Таким образом, догадки Волкова о битой птице оправдались.

— Можно есть? — спрашиваю.

— Вполне! — отвечает он, — все равно, что убиты дробью.

Пушок щиплется легко, получается вкуснейшая дичь. Приготовление их было очень любопытно. Насаживали птицу на вертел и поджигали кочки с засохшими пучками трав. Сухие сплетения дерна и камышей воспламенялись быстро, оставляя золу. Бекасики жарились в собственном сале. Они верещали, подрумянивались и издавали тончайший аромат. На таких же кочках Солохненко с секретаршей варили уху в ведре.

Словом, закусили мы отлично. Сазаны таяли во рту, уха хлебалась чашками, без соли, пилась из ведра.

Волков утверждал, что свежая рыба самая витаминная пища. Тов. Солохненко рассказывает, как недавно привезли в Чардару двадцатипудового сома с Сыр-Дарьи... А вез его один верблюд! Весь совхоз питался им дня два.

Далеко забрался совхоз!

В бездействии мы купались в озере, слонялись, спрашивали, почему град не тает и, в конце концов, заснули. Град действительно не таял, особенно в тени, где почва была еще вязкой.

Солохненко спал, как тюлень, перекинувшись через борт автомобиля и храпел, разинув рот. Утомленная секретарша долго боролась со сном и наконец уронила голову на грудь. Мертвый час!

Он продолжался даже тогда, когда мы проснулись. Далеко-далеко от нас стояли кибит-

ки кочевых казаков, безмолвные, как степь, как барханы, как Кызыл-Кум. Вымирала жизнь, вымирала природа.

Приходил казак с пугливой дочкой и просил керосину за связку сазанов... А так как керосину не было, он уступил связку сазанов весом в 5 кило за 3 рубля.

— Дашь ему бензин, он еще спалит себя,— говорил шофер.

Земля чадила тлетворными испарениями. Дышала. И там, где она дышала, образовались солончаки... Тишина... покой... безлюдье... И только одно озеро кишело утками.

Потом Волков ходил выслеживать дорогу, приволок намогильный мусульманский камень, сообщил, что на припеке греется полосатая змея, и утешил, что скоро земля подсохнет...

Шофер окончательно потерял вчерашнее мужество. Он уже не пускал так отважно машину вперед, а с большими ухищрениями, под нашим руководством выбирал бугры и косогоры. Мы забегали вперед и указывали ему, где надо пройти. Стоило показаться маленькой луже, и он терял хладнокровие и вместо того, чтобы пустить машину полным ходом, останавливал ее. И так мы ползли черепашьим шагом еще несколько долгих часов.

Впоследствии мы прибегали к еще более хитроумным способам: спускались в длинные саи (логи), где было больше перегною и травы, и уходили километра за два, за три... Наш путь мы отмечали, как наиболее безопасный, вехами из бумажек, воткнутых прямо на какой-нибудь колючий куст. И вилась ленточка этих бумажных лоскутков по зеленому логу самым причудливым образом на 2—3 километра. Затем мы махали шоферу: валяй, брат, прямо, по этим бумажкам. Ничего не будет!

И вот он выписывал среди них различные «вальсэ» и фортели, и когда благополучно добирался до конца, счастливо улыбался. А потом чудак спрашивал, так ли он шел?

Так мы и провели его саями, этими пылающими реками тюльпанов и полевых маков.

Велика была наша радость, когда на горизонте всплыла сопка кургана. Этих курганов четыре и они знаменуют когда-то бывшую крепость Чардару, замыкая собою ход в Голодную степь.

В свое время они служили дозорными пунктами, важными стратегическими вехами, откуда бухарские ханы и грозные Тимуриды наблюдали за движением орд и кочевников.

Явились новые люди, крепкие, бодрые, игнорирующие пыль веков, и сказали: здесь будет город заложен...

Город Чардара! И да погибнет Актюба! Он примостился у самого подножия синеющего кургана, молодой советский городок, центр Кызыл-Кумского района и хлопководства. Город разбросался, разметался во все стороны редкими белыми квадратами построек: широкие площади, широкие пустыри. Но есть в нем районный совет, райком партии и ВЛКСМ, планирующие организации, водхоз, сберкасса, почта и т. д. В 12 километрах и сам совхоз Чардары, пионер хлопководства в северо-западном углу Голодной степи...

На дороге появились люди. Сто, двести верблюдов вытянулись в караван. Все в Чардару, в молодой нарождающийся совхоз.

С нами поровнялся кочевник-казак и взапуски пустил свою степную лошаденку. Новый вид азарта. Обогнав «шайтан-телегу», он остался очень доволен, а «шайтан-телега» делала всего-то 10 километров от бессилья.

Наконец ухабами, выбоинами, грязью в'езжаем в Чардару. После расспросов, убедившись, что за Чардарой дожди образовали болото, и чтобы больше не рисковать, мы решили оставить мешки с семенами в водхозе, том самом, что сооружает водно-оросительную сеть в районе.

В'езжаем во двор запыленные, запаренные, к ужасу выбежавших, и просим воды. Нам подают ее целыми ковшами и засыпают расспросами. Сваливаем мешки, в надежде, что их завтра заберет совхоз, освобождаемся от лишнего скарба новостей и стремительно вылетаем за ворота.

У самых ворот на нас насмешливо поглядывал вчерашний строитель, просившийся к нам на автомобиль в чайхане «Летучая мышь».

— Здорово живете! — кричал он нам, отлично зная, что у нас далеко не все здорово. Как злорадно поблескивали его окуляры! Он давно уже приехал, отдыхал, разглагольствовал, что бричка пройдет там, где автомобиль не пройдет, и чувствовал, что он отомщен.

Немедленно скрываемся за угол от заслуженного упрека, и вот уж мы за Чардарой.

Еще 12 километром и перед нами развернется панорама совхоза, возникающего на голом месте, как гриб после дождя.

Усиленно боремся с последними тестообразными солончаками и наконец-то попадаем в совершенно сухую зону. Полоса дождей, видимо, прошла не здесь. Агроном приуныл. Со-

лохненко и кооператор тоже не могут опомниться.

— Несчастная ваша Чардара! — разразился наконец ругательством Волков, — против нее в заговоре все небесные силы. Определенно, тут центр рассеивания туч.

Проходим последний бурхан. Во все стороны от автомобиля разбредаются «ходячие камни» — черепахи. Тихими струйками пересыпается песок. Похоже на то, что кто-то сидит за бугром и забавляется: надул губы и сдувает ими песчинки.

— Вот вам наглядный пример, что пески не стоят, а движутся... Опасное соседство у Чардары!

Вспоминаю участь Актюбы и мне страшно становится за будущее совхоза.

— Не беспокойтесь, — утешают меня, — на то он и совхоз. Вон Пахта-Арал заставил пески отступить назад. Отступят и здесь. Дайте только распорядиться насчет воды.

Машина зарывается в песчаные волны сухого моря и могучим напором рассекает их. Щебень летит веером... Последнее препятствие преодолено. Караван за караваном шествуют на встречу и позади нас... Типичная картина Средней Азии: два взрослых человека трусят рысцой на маленьком ишаке. Веблюженок, едва продравший глаза, болтается среди верблюжьих тюков... он видимо только что родился в пути и его посадили на горб матери. На длинной шее болтается головка страуса или большой змеи — таково впечатление издали.

Всюду, куда глаз хватит, разбросаны конуса кибиток, которые легко принять за стоги сена. Это будущие кочевые колхозы, — еще не пришедшие в состояние покоя кишлаки. Вулканизируют.

Всюду мерцает дымок. Идут стройные казачки, путающиеся в долгополых извивающихся платьях. Позвякивают мониста. Смуглые раскосые лица улыбаются. Встречаются подлинные красавицы. И невольно содрогаешься, что в этих кибитках все еще гнездятся сифилис, тьма, невежество, губящие красоту, молодость, жизнь... Впрочем, идет уже оздоровление быта, строятся лечебные пункты, казачки срывают свои традиционные пятиметровые тюрбаны, стелющиеся с головы до пят, и делают из них простыни. В юртах уже моются руки, внедряются умывальники, дезинфицируется посуда.

Казаки идут на земляные работы в совхозы, в трактористы, вступают в ряды ударников, пересаживаются с кочевого седла на более удобное сиденье трактора, впервые берутся за лопату, китмень или плуг.

— Ну, что вы задумались? — говорит Волков, — смотрите, вот центральный арык совхоза.

В самом деле, по правую сторону нас свеженасыпанные амбы. Пущена вода, впервые в этом месте, словно бы кто полосанул степь сверкающей бритвой.

Взлетаем на шлюз, на мост, пылим мимо хозяйственного оросителя, идущего прямо в сердце совхоза. Солохненко и кооператор различают строения, которых еще не было вчера, различают окна, которые только сегодня прорублены, видят глину, которая еще не обсохла на новостроящемся бараке. Понять их радость не трудно, если вообразить, что жить им здесь долгие годы, что рост, стройка, расширение совхоза — их собственный рост, их гордость...

По ту сторону арыка нарезаны пахотные карты. Вдоль и поперек их плужат могучие многосильные «Интера». Когда-то Голодную степь завоевывали Темерланы и Тимучины, когда-то...

Мы в самом преддверии совхоза Чардары.

В тот момент, когда мы туда в'езжали, у самой дороги свежевали молодого жирного верблюда.

— Завтра будете есть мясо, — прищелкивает языком Солохненко.

Машина затормаживает ход, пронесясь через весь хутор, — а он и весь-то на ладони, — и останавливается у кузни.

Секретарша, выскакивает из кабины.

— Ну, слезайте, — ласково говорит она, — вот и наша Чорт-дыра.

— Чардара, — поправляю я ее.

Голодная степь осталась позади, за увалами.

Тунгусбасс

Макс Зингер

НЕВЕДОМАЯ РЕКА

Мы вылетели на воздушном корабле «Ком- зеропуть 2» из Туруханска девятого августа шесть часов утра. Всю ночь перед полетом е спали. Лавров — председатель правления омсеверопути — прозаседал в Туруханске, где опутно с его докладом о выполнении Комсе- еропутем взятых перед страной на себя обяза- ельств ставился вопрос и о неполадках в ра- отах Комсеверопути. Эти неполадки имели юей подоплекой слабую работу транспорта, елосильные кадры работников в отдаленных очках наступления на север.

Вырвавшись из каменных тесин Тунгуски вольные просторы безбрежного Енисея, лет- ики лихо резали тайгу.

Липп и Страубе — молодцы.
Не нахвалятся отцы!
Не взирая на погоду,
Режут небо, лес и воду!
Насажали чудаков,
Взяли выше облаков...

Ходила по рукам чья-то записка в самолете. Впереди по курсу «Комсеверопути 2» дым- й тумана полузакрыты горы. Под нами буд- расчесанная конская грива лежат расщеп- нные водой Енисея песчаные косы.

Мы вдруг оказываемся над узкой площад- й воды. Очевидно под нами уже устье Ку- йки. Мы кружим над чумом и несколькими ойками. Видны сети на берегу за тальником несколько лодочек.

Самолет садится недалеко от самого устья ки Курейки или Нумы, как зовут ее тунгусы. Здесь стоит верповальная лодка. Нам не идется дожидаться. На этой моторной лодке пойдем вверх по реке, о которой в геогра- и не сказано ни слова, но которая богаче бой реки Европейской части Союза.

На берегу у самого устья Курейки живет ее ток остяк-лоцман Серков. Серкову далеко до тунгусского Воронова. Но на Курейке Серков один и не знает себе соперников. Он подучил своего сына лоцманить на нижнем плесе реки, а сам стоит за рулем на остальном ее пространстве до самого Курейского графитового рудника.

Сын Серкова на веточке по одному перевозит нас с самолета к чуму своего отца.

Лавров говорит с Серковым о новостях Курейки.

В Курейке налажено радио. Так сообщает Серков.

— Теперь все в порядке, — говорит Лавров. — Как только вода в Курейке прибудет, так и кричите нам по радио в Игарку.

— Давай лодку! — крикнул молодой Серков и в чуме все рассмеялись.

— Лодка в Курейке не так нужна, как продовольствие и оборудование. Его надо будет доставить сюда с первым под'емом воды, — говорит Лавров.

Отец Серков закончил чаепитие. Повязался черным платком, как женщина, и пошел торопливым шагом к верповальной лодке. Его провожала жена. Они расстались без рукопожатий и поцелуев. Старая жена остяка спустилась с крутого берега, чтобы проводить своего старика в обычный для него поход на реку Курейку.

Мотор запущен, и мы тарахтим по невиданной реке. С нами вместе едет профессор Ключанский для того, чтобы дать свое заключение о курейском графите, его месторождениях и самой постановке работ на руднике.

Инженер Дорофеев остался на один день в Туруханске. Та же верповалка доставит его к графитовому руднику.

Вначале река Курейка похожа на Сухону. Берега ее живописны, но не высоки. Нельзя представить, что вот скоро они станут гористыми, выступят из воды острыми высокими сказами, щеками.

Заливные луга поднимаются, взбегают выше тальники, на верхушках которых половодье оставило свои следы — наносы всякого мусора. Безлюдно. Река холмистая. Мы чуть коснулись днищем верповалки каменистого грунта и не останавливаясь идем дальше. Вон два косца косят прибрежный луг. Их послали сюла с рудника для сенозаготовок. Слева поднялась на горизонте высокая фиолетовая гора Наковальня и справа пониже Рудничная, на которой, по словам туземцев, есть руда. Вот и первый перекат — Мундуйский.

Берега вырастают. Неожиданно встают столбы выветренных скал, остатки извергнутых тысячелетия назад пород, темнокоричневых траппов с прожилками белого кальцита, сверкающего и видимого издалека с верповалки.

Изверженные породы перемежаются с осадочными, траппы чередуются с песчаниками. Серые камни сменяются коричневыми с белыми и голубыми блестками камышитов.

На скалах белой масляной краской крупными буквами выведено «Зацепа». Имена скал написаны для того, чтобы легче можно было запомнить будущим лоцманам фарватер этой быстрой и выстланной камнем реки.

Вот надпись «Щербатый» — здесь скалы выщерблены ветром и дождями, вот «Щеки», в которые зажало реку и где она течет наиболее быстро, вот «Носок», «Столбы», «Корга» с падающими пластами.

Я смотрю на лоцмана остяка Серкова. Он уверенно ведет лодку, покручивая маленький штурвал. Вдруг колесо штурвала запрыгало в его руках, мы жмемся ближе к берегу. Удар! И лодка загрохотала железным тонким дном по камням прибрежной скалы. Все выскакивают, бегут к носу лодки. Командира нет, очевидно лоцман «стушевался», как говорят сибиряки. Вдруг лодка отползает от берега. Теперь уж не спрыгнуть с борта на камни. А лодку не отпускает с банки. Под бортом быстро несется река.

— Руль попал в улово! — об'ясняет виновато Серков.

Река будто рукой захватила руль лодки. Руль отказался повиноваться старику Серкову, имя которого записано на скалах Курейки.

Прибежал заспанный командир. И через минуту выяснилось, что лопнул трос рулевого управления. Командир исправил повреждение, дал задний ход, и мы медленно с помощью моторов и бешеного течения реки стягиваемся с камней, гремя словно трактор по мостовой.

Внизу под скалой «Серков» пенятся шивера, насупились иссера-синие скалы, изломанные временем и ветром, а наверху, на маковках каменных глыб стоят весело-зеленые березы. Они подошли сюда будто смелые купальщики, готовые броситься ласточкой в быструю реку.

Лодка как будто не пробита. Воды в ней не прибывает. Мы идем снова вперед и старик Серков качает головой, сам удивляясь себе. Серкову неловко. Он в первый раз посадил на Курейке верповальную лодку. И что досаднее всего — в нескольких километрах от рудника.

Мы — у цели! Вдали виднеется гора наковальня. До нее несколько десятков километров, но ее столбчатые склоны видны отчетливо, так чист и прозрачен полярный воздух.

Мы — в Курейке!

На крутой берег мы поднимаемся по крутому деревянному настилу, по которому обычно плотники переходят с этажа на этаж вновь строящегося здания.

Дорогу нам перебегает рыжий бурундук. Он не боится человека. У самого настила бурундук останавливается и я вижу ясно черные тонкие полоски на его рыжей спинке и пушистый хвост. Вот бежит и второй бурундучок и оба зверька вместе куда-то вмиг исчезают.

Где-то по рельсам гулко грохочет поезд Но здесь его нет. Я знаю это.

— Что это шумит?

— Водопад, — отвечает мне старожил рудника.

ПОД КУРЕЙСКОЙ ЗЕМЛЕЙ

В местной столовой, собранной из пилоотбросов рачительным хозяином рудника Семеновым, мы напились кирпичного чая ранним и свежим утром.

— Идем в шахту! — говорит Лавров.

По узкой тропе, среди матово-серых кусочков добытого графита, мы пробираемся к шахте курейского графитового рудника.

Рудник стоит. Шахта сейчас остановлена Нет транспорта, чтобы вывезти выбранный графит, обременяющий теперь курейскую землю.

На поверхности близ рудника — горы графита; его выдали шахтеры при помощи под'емной лебедки из-под земли на поверхность, точно выполнив заданный план, несмотря на морозы и повальную курейскую цынгу.

Близ шахты густо чернеют четыре тысячи тонн добытого графита. И внизу у Курейки на самой пристани сложено еще две тысячи тонн добытого графита. В нем видны золотистые следы пирита (железного колчедана) и белые

жилки кальцита, чего нет в чистейшем графите Нижней Тунгуски.

Мы идем в конторку, где висят брезентовые брюки и куртки-спецовки. Нам выдают свечи. Мы одеваем проолифенные шлемы, такие, которые носят моряки или зверобои в неспокойном, ветреном море.

Здесь в Курейке нет ни одной лампы-шахтерки. И никто не знает, есть или нет газ в шахте, его нечем замерить, нет лампы, не видать ее огонька-ореола, по которому можно определить силу газа.

— Откуда здесь быть газу? — говорит мне шахтер. — Наша шахта молодая! Если бы газ шел, свеча бы перво-наперво потухла.

Мы подходим к лестничному отделению, к спуску в шахту. Жесткие кожаные рукавицы неудобны и жмут руки.

— Держитесь крепче за ступени и нащупывайте их сапогом, не поскользнитесь! — предупреждает меня старый штейгер.

Лестница идет отвесно в шахту, как пожарная лестница на высоких домах в Москве. Под нами глубина двадцати пяти метров. Слабо мерцает в руке свеча, готовая вот-вот потухнуть. Где-то подо мной мелькнул яркий свет. Это горит внизу электрическая лампочка. Кто-то наверху над шахтой включил свет. Теперь видно ступени, из'еденные от времени сапогами шахтеров.

Спуск разбит на шесть лестниц, под каждой из них крошечная площадка, на которой едва может повернуться человек, чтобы дальше ползти глубже в землю.

Начался капёж подземной воды. Шлем и брезентовая спецуха защищают меня от этих подземных капель. Ступеньки влажны и скользки. Я погасил свечу и опускаюсь вниз держась обеими руками.

Шумит подо мной насос рудника.

Мы прошли вниз все двадцать пять метров. Новый брезентовый пиджак зачернен на мне уже графитом, отсырел от капёжа. Я становлюсь ногами на почву. Мы — в руднике!

Тесное лестничное отделение теперь над нами, за ним высоко светит солнце и шумит вечным шумом Курейский ошеломляющий порог.

Крепление шахт прочно. Здесь крепят лиственницей. Это железное дерево. И чем больше оно в воде, тем становится крепче. Вода не поднимает плоты из лиственничных бревен. Эти тяжелые плоты тонут в реке, как железо.

Тесно в рудничном подземном дворе. Как не похоже здесь на просторы рудничных дворов донецких шахт, где много электрического света и словно по улицам города бегают, носятся с вагонетками лошади и слышен разудалый посвист коногона.

Шумит капеж со строек и кровли подземного городка. Два насоса работают по двадцать четыре часа в сутки, откачивая по три с половиной тысячи ведер воды в час. Этого достаточно для того, чтобы не затопить шахту подземной водой.

Мы идем по главному штреку, по этой черной улице, откуда выбраны траппы на поверхность за шахтой. Это западный коренной штрек. Миновали ряд выработок западного крыла и переходим в вентиляционную шахту.

Подносим мерцающие свечи к пласту графита. Он черен, как уголь, и светится жилками золотистого пирита.

По збойкам — промежуточным штрекам, рассечкам для подготовительных выработок, попадаем в восточное крыло шахты. Пласт графита идет с пережимами, то утолщаясь, то ужимаясь. Пласт нарушен под тяжестью изверженных миллионы лет назад пород траппов. Местами он вспучен, местами отклоняется от нормального залегания.

Мы стоим сейчас ниже уровня пенящегося наверху водопада Курейки. Штрек пройден шахтерами не до конца склона горы. Между подземным городом и бурной рекой оставлен целик. Он — нетронутая толща графитового пласта вместе с пустой породой — сдерживают напор дикой и своевольной реки. Целик оставлен для того, чтобы воды Курейки не взяли штурмом графитовый рудник, не затопили шахтеров.

Мы совершили весь подземный путь около километра по Курейской шахте и выходим к рудничному стволу, к лестничному отделению.

И по скользким ступеням ползем к солнцу на поверхность, нагорá, где сейчас зеленеет трава, где нет этой мерзлоты, капежа и холода, где шумит неустанно в веках порог, поднимая высоко, выше скалистых крутых берегов водную пыль, ярко освещенную солнцем.

ПОРОГ-ХИЩНИК

С пожарной каланчи Курейки ясно виден весь порог многошумной скалистой реки. Тысячи лет назад зажатая здесь скалами в узкую щель Курейка прорвала себе путь, снеся, подточив, разрушив каменные громады. Курейка низверглась пенящимся водопадом, торопясь к полноводному Енисею. Енисей захватил и бурную Ангару, Подкаменную и Нижнюю Тунгуску, Курейку и других северных красавиц.

Вода падает с трапповых густокоричневых плит вниз белой стеной, искрящейся на солнце, словно штабель драгоценных самоцветов.

Там, где траппы высоки для Курейки и она не может взять приступом их со своего многокилометрового разбега, вода нашла себе ходы в расселинах, между развороченными, раскиданными камнями.

Старик-сторож ходит по каланче, выслеживая каждый дымок. Походит, походит вокруг каланчи, да и остановится. Любит старик посмотреть на водопад, работающий здесь без устали и без выходных дней.

За последние дни вода в Курейке сильно упала. Многие камни порога, до того скрытые под водой, теперь оголились сильней. Высота падения воды увеличилась. Устремляясь с плиты вниз, вода разбивается о большой камень, который закрыт от взоров человека вечным, неизбывным фонтаном брызг, облачком капелек, в которых от солнца видна постоянная радуга, переливчато играющая яркими цветами.

Сюда к этим каменным плитам, мимо заброшенных давно на берегу старых штолен купца Сидорова, приходят нередко рабочие Курейки полюбоваться красотой порога.

Его шум и энергия чаруют и сковывают человека, будто глаза змеи или гипнотизера.

Я долго не могу оторваться от этого захватывающе-красивого и мощного потока пены и искрящихся брызг.

С каланчи видно, как выше порога идет на тот берег, где живут рыбаки, лодка. В лодке — девушка, парень и собака. Едут должно быть на охоту или за рыбой.

Опасен курейский порог! К нему не рашаются близко подходить курейские шахтеры на лодке. Говорят, он затягивает к себе силой устремленных с каменных плит прозрачных вод.

Старик свернул папироску из махорки, вставил в мундштук и клубит желтоватым облачком. Вчера утром он заметил начинавшийся пожар в механической мастерской и во-время пробил тревогу. Сторож оглядывает деревянные строения, раскиданные по Курейке, и затихшую шахту, стерегущую горы графита. Все спокойно!

Лодка отходит с рыбацкого берега к руднику

— Ишь, дураки, откуда реку переходят! — говорит старик.

Он не успевает закончить фразы, как вдруг лодка устремляется вниз по реке и видно, как молодой гребец, оторопев, машет, брызжет по воде веслами.

Со скоростью двадцати километров в час несется захваченная уже течением лодка к порогу.

— На плиту! На плиту греби! — кричит сторож с каланчи, но его не слышно из-за шума водопада, за грохотом воды.

Сторож хотел пробить тревогу, но теперь уже поздно. Видно как женщина встала в лодке и что-то кричит. Вероятно, молит о спасении. Но гибель неотвратима. Женщина опускается на банку и вдруг люди пригибаются ко дну лодки, как кролики пригибаются к земле в ожидании смерти.

Лодка сейчас у самого слива, где стоит облако брызг над этой каменоломней Курейки.

Один миг — и не видно больше ни людей, ни лодки. С рудника бегут к берегу, заслышав о несчастьи.

Метрах в двадцати выскакивает лишь нос лодки из пенящихся камней. Людей уже не видно. Их смыло! Они разбились о камни и поглощены порогом. Их вынесет позднее, быть может, даже в Енисей. Наш первый день в Курейке омрачен несчастьем.

Целый день весь рудник говорит только о случившемся.

Все ходят на порог, словно паломники, и подолгу смотрят, не покажутся ли утопленники, не выплывет ли лодка. Но разбита лодка в щепы и нигде не видать ее гребцов.

— Здесь в прошлом году тоже затянуло одного, — рассказывает мне шахтер, перезимовавший в Курейке. — Но он не стушевался, направил вон на ту каменную плиту. Лодку выбросило на камень и он на этом камне трое суток без пищи просидел, пока наконец мы его не сняли оттуда. А это сейчас утонули молодые. Я еще утром им на чердаке, где мы квартируем, говорил: не ездите около порога — затянет! Ничего, говорят, нас не затянет! Вот тебе и не затянуло!

Поздно вечером, когда над Курейкой повисли клочья тумана, к заведующему кооперативом прибежала собака, та самая, которая находилась в погибшей с людьми лодке. С длинной шерсти ездовой собаки стекали струйки воды. Собака дрожала, не забывая лизать руку хозяина.

И долго думали люди над тем, как могла в этом водяном хаосе в этих развороченных скалах, при таком бешеном течении, на пороге более мощном, чем Иматра, уцелеть попавшая в него собака.

А порог-хищник, поглотив свои жертвы, ак ни в чем не бывало продолжал хлестать о камням своей сияющей водой и собирать озле себя свободных от работ людей Курейкого графитового рудника.

БОГАТСТВА КУРЕЙКИ

— Кто за то, чтобы ехать верхом к угольным штольням? — голосует Лавров.

Несколько рук поднялось вверх. Нас пять еловек поедут верхами к угольным штольням, аложенным этим летом между вторым и треьим порогами Курейки. Пешком итти по тайе за восемь километров — убьешь весь день.

На конном дворе нам подводят лошадей. Мне дают вороную кобылу, оседланную казацим седлом. Я второй раз в жизни сажусь на ошадь, но чтобы не казаться смешным, быстро вскакиваю на седло, держась за луку, и одрым шагом еду за белым мерином, на котором сидит Лавров.

— Как ее остановить, если она помчится вдруг? — тихо спрашиваю я Лаврова.

— Потяните назад поводья, вот и все!

Мы едем по вырубленной тайге. Торчат посюду береговые пни и кое-где видны рошки.

Белая лошадь впереди замедляет ход. Лавов полуоборачивается ко мне и предупредает о том, что мы приближаемся к круче.

— Когда будете спускаться, откиньтесь по озможности назад! — советует Лавров. — Облегчайте работу лошади! Если спотыкнется — отяните слегка поводья! Упирайтесь только осками сапог в стремена, иначе, если вас выросит из седла, вы не выскочите из стремян будете головой считать деревья!

Моя вороная — умная лошадь, она спускается по этой круче боком, перебирая сразу четырьмя ногами. Не мне учить ее, как спускаться с обрыва. Она знает это сама. Внизу в враге бежит ручей. Вода его прозрачна. На не его видны все камни.

— Ваша кобыла хорошо за конем пойдет, — оворил конюх, передавая мне поводья вороой.

И, действительно, за белым конем вороная мело входит в ручей и через несколько секунд мы уже на другом его бережку и поднимаемся по крутому склону.

Я пригибаюсь к стиженой гриве, чтобы облегчить лошади под'ем в гору.

Ветки берез бьют меня в лицо. Комары неистово. Конек под Лавровым переходит на мелкую рысь и вороная побежала за ним. Я обжимаю слегка коленями вороную, чтобы не выпасть из седла, и стараюсь в такт ее бегу поднимать свой корпус над седлом, становясь на стремена. У меня это плохо получается. Я прыгаю мешком по седлу, но держусь крепко.

Вскоре показывается и жилье шахтеров, которые работают на разведке недавно найденного здесь каменного угля.

Мы спускаемся по береговы вниз к штольням.

Бурением, шурфованием и открытыми работами здесь обнаружен угольный пласт общей толщиной в восемь метров. Пласты залегают между сланцами и траппами.

Эти штольни показали присутствие в недрах Курейки сильно графитизированного угля, приближающегося к полуантрацитам. Но качество его тем не менее оказалось удовлетворительным. Курейская кузница работает на собственном каменном угле. Куда идет пласт — никто не знает. Уголь не разведан ни бурением, ни канавками.

Уголь содержится в мерзлоте и ближайшей задачей рудника является выяснение глубины залегания этой вечной мерзлоты, которая понижает качество угля. Рудник должен добиться лучшего качества угля, свободного от влажности.

Месторождение имеет большое значение для рудника, который быть может весьма скоро построит силовую станцию на этом топливе и будет снабжать электроэнергией Курейку.

Инженер Чайковский, работающий в Курейке от Московского института прикладной минералогии, провел здесь семь лет и зимовал три зимы. В последнюю зиму он жестоко болел цынгой, сильно припухали десна, плохо повиновались ноги. При сыром климате Курейки здесь без достаточного количества жиров, мяса и овощей цынга была обеспечена.

Чайковский находит, что пласт угля залегает в исключительно выгодных условиях близко от поверхности с небольшим углом падения в 8—10°.

Чайковский ведает буровой разведкой и составлением геологического очерка по графитовым месторождениям в долине реки Курейки.

Здешние породы очень близки к Норильским на севере Енисея и как те могут оказаться платиноносными.

Еще только вчера на скважине номер девятнадцать мне говорили рабочие, что это напрасный труд бурить кемень, пустую породу. Здесь графита нет.

А сегодня после нашей езды на угольные штольни я встретил сияющего Чайковского.

— У нас на девятнадцатом номере появился графит! — радостно сообщил он. — Графит попал под наносы ниже уровня Курейки!

В скважине номер одиннадцать ниже уровня Курейки оказались речные наносы. Возможно, что много, много веков назад здесь было русло древней Курейки или же эти отложения были перемещены сюда позднее вследствие особых геологических процессов.

Некоторые скважины не давали совсем никаких результатов, не показывали присутствия графита. Бур попадал, очевидно, в трещины сброса, где некогда ледники выпахали начисто графитовый пласт. Мощные траппы задержали ход ледника и направили его разрушительную силу на графит. Вот почему он шел здесь под землей Курейки с пережимами.

В тесной комнате инженера Чайковского, где жило несколько человек, я видел образцы удивительно прозрачных сочно-зеленых гранатов, зеленовато-желтых эпидоров, черных турмалинов, их мелкие кристаллы и блестящие будто золото колчеданы, содержащие без сомнения медную руду. Все это приносили Чайковскому шахтеры из глубины Курейского рудника.

В Курейке два об'екта горных пород — графит и уголь. Здесь можно было бы построить крепкое горное предприятие по добыче графита и каменного угля.

Воздушно-канатная дорога удешевит переброску угля за семь километров от штолен к поселку Курейки. До сих пор стоимость добычи угля равна цене его транспортировки до рудника.

Электростанция, построенная на угле, по даст ток по проводам в рудник, это удешевит стоимость добычи графита.

Даст возможность механизировать шахту, снабдить ее отбойными молотками.

Камни огромной силы водопада не дают человеку овладеть его даровой энергией белым углем. Гидростанцию, которую соорудили бы на пороге Курейки, пришлось бы каждую весну в ледоход снимать с реки. Расходы на нее вряд ли оправдались бы. Так говорят инженеры. Но рабочие верят в то, что Курейский водопад можно обуздать и заставить отдавать белый уголь.

Запасы графита, по предварительным далеко еще не окончательным подсчетам, равняются одному миллиону тонн, годных для нужд нашей металлорудной промышленности.

Весной в Курейке высоко поднимается вода; она закрывает все пороги. Тогда, по заверению лоцмана Серкова, на Курейке до рудника может смело пройти даже теплоход с большой двухтысячетонной баржей. Теплоход снабдит продовольствием рудник и возьмет его добычу с несколькими баржами, поочередно доведя их до устья с грузом и оттуда всех вместе в Красноярск к железной дороге.

Сейчас развертывается стройка домов в Курейке из местной лиственницы. Вверх по реке трудно подать из Игарки сюда плоты и пиломатериалы. Только в половодье, когда воды Енисея входят вверх по Курейке километров на шестьдесят, подпирая, гоня ее обратно, поднимая ее, тогда можно на эти шестьдесят километров поднять вверх по Курейке плот самосплавом.

Ища за штольнями по берегу Курейки камни, которые подтвердили бы нам нахождение поблизости железной руды, мы неожиданно наткнулись на два бревна, ошкуренных порогами Курейки. Бревна были не только ошкурены, но и оторцованы пилой, человеком. Они пришли сюда только сверху. Но в верховьях Курейки не было поселений, не было пильщиков или лесорубов.

— По-моему, эти бревна с Нижней Тунгуски, — сказал Лавров. — У меня давно есть подозрение, что Курейка где-то в своих верховьях соединяется или близко подходит к Нижней Тунгуске. Возможно, что в их водоразделе имеются озера и во время разлива рек Курейка соединяется с Нижней Тунгуской посредством этих озер. Откуда же иначе могло сюда притти это оторцованное человеком бревно?

Курейке нужны в первую очередь больница, школа и клуб. Их решено рубить из местной лиственницы, отдав на это общественное дело по два сверхурочных часа в день.

Так решило общее собрание рабочих Курейского рудника.

Для борьбы с цынгой Игарка посылает сюда по большой осенней воде транспорт с сорока сибирскими коровами. Продовольственный паек горнякам будет увеличен для того, чтобы лучше можно было бороться с цынгой.

— Мы берем на себя обязательство снабдить вас всем необходимым, — говорил Лавров на общем собрании рудника, — а вы обязуетесь перед партией и правительством на следующий год, к следующей навигации поднять на поверхность из шахты двенадцать тысяч тонн графита, которого ждет наша тяжелая промышленность.

Порт Игарка на Енисее об'явлен постановлением правительства городом. Город Игарка окажет содействие Курейке. Курейка должна наладить тесную связь с этим новым городом на севере, нашим опорным пунктом.

Необходимо в этом же году проложить дорогу через тайгу из Курейки в Игарку. Зимой на оленях надо обвеховать дорогу и замостить ее местным лесом.

Две точки на севере Союза будут соединены между собой лиственничным мостом и чем скорее, тем лучше.

В ГОРАХ СМЕРТИ И КРАСОТЫ

С того дня, когда зимовщики Курейки зачеркивали на стене последнее число декабря, сюда, в эти горы, в жилье человека приходила и забиралась в кровотворные его органы страшная болезнь севера — цынга. Зимовщики севера по-разному об'ясняют ее появление. Одни говорили, что спасались от цынги, находясь в движении, другие наоборот уверяли, что зимою спали по двадцати часов в сутки и потому оставались невредимы. Были зимовщики, которые спиртом отгоняли цынгу, другие наоборот воздерживались от алкоголя. Каждый по-своему боролся с этой малоизвестной еще нашей медицине болезнью.

— Если вы станете все время думать о том, что отдадите концы в воздухе на самолете, то вам обязательно придется травить, — говорил каждому участнику полета борт-механик Побежимов, выставляя на всякий случай перед полетом ведро в кормовой отсек.

Чем больше донимал себя человек мыслями о цынге, тем вернее попадал к ней в лапы и к весне уже ходил словно старик, опираясь на палку, еле волоча свои одеревеневшие ноги.

Коровы рудника находились прошлой зимой на устье Курейки, в ста километрах от рудника, потому что во-время не заготовили и не доставили для них на рудник сена. Поэтому зацынжавших отправляли с рудника на устье реки. Молоком в две недели выхаживали больных и они возвращались на рудник окрепшими.

Влажный климат Курейки сказывался на здоровье пионеров этого края — ее зимовщиков.

Редкий человек не испытал здесь зимой цынги. И если он не цынжал в первую зиму, то отдавал дань этой тяжелой болезни в следующую зимовку.

Но все зимовщики в один голос утверждали, что, если на руднике была бы разнообразней пища и до лета продержался картофель, все обошлось бы благополучно. Сырым картофелем люди спасались от появления первых признаков цынги, опухания десен.

С продовольствием в Курейке обстояло неблагополучно. Сказывалась отдаленность Курейки, оторванность ее от главного нерва — Игарки. Хотя по прямой линии до Игарки от Курейки было всего лишь около ста километров, но пройти по кочкам заболоченной тайги, по ее бурелому, сквозь заросли тальника и комариные тучи, которые зачумляли не только людей, но и таежного зверя, стоило огромного труда, лишений и около трех недель времени.

Купец Сидоров пришел в Курейку в начале второй половины прошлого столетия. Возможно, что сюда его привели туземцы, рассказав об обнаженных Курейкой на берегу у самого порога пластах графита.

Сидоров и начал с разработок на берегу. Еще до сих пор у Курейского водопада сохранилась штольня, заложенная здесь десятки лет назад этим предприимчивым человеком. Мы попытались заглянуть в эту штольню, но она оказалась затопленной. А пласты выветренного графита и до сих пор лежат у самого берега Курейки. Первые строения Сидоров ставил здесь уже близко, недалеко от своей штольни. Рубить тайгу и забираться выше было и накладно для кармана и трудно. Не хватало рабочих рук, чтобы валить лес и мостить лиственницей дорогу. Вот и строился Сидоров в этой низине, с ее сыростью и туманами, от которых и сейчас страдают жители Курейки.

А чуть выше низины на высоком холме не было уже этой промозглой сырости и только там должен был строиться новый человек.

Молодая шахта Курейки уже имела свои жертвы. Здесь близ шахты погиб рабочий во время взрыва случайно оказавшегося на поверхности патрона, а инженеру ударило в лицо, на время лишило зрения и навсегда черными точками в'елась в кожу лица пыль графита.

У самой шахты зимой рабочие из-под самого низа подкайливали графитовые штабеля, завозили сюда санки и прямо в них сбрасывали замерзший графит. Лошади отвозили через несколько минут уже полные сани к пристани, где с большой водой графит уходил в Красноярск.

Под навесами графита в его штабелях шахтеры сидели покуривая в ожидании возчика. Не раз заведующий рудником Семенов преду-

преждал рабочих об опасностях завала, который грозит при такой нагрузке графита.

— Да что сделается, его кайлом не возьмешь, он весь к свиньям смерзся, сам никогда не завалится! — говорили рабочие, продолжая покуривать под смерзшимся графитовым навесом.

Однажды графитовая глыба весом свыше тонны отвалилась и погребла под собой рабочего. С тех пор так в Курейке графит не подкайливают.

— Мы живем на графите! На берегу пластом лежит графит! Под тайгою — графит! У горы — графит! Его так много, что становится противно, — говорили курейцы.

С 1862 года по 1926 год Курейский рудник дал всего 11 043 тонны графита. А за один лишь 1931 год из рудника выдали на поверхность эти же одиннадцать тысяч тонн, из них около трех тысяч тонн уже отгрузили на Красноярск, и около двух с лишним тысяч тонн хранили на берегу у пристани, чтобы спустить с первой большой водой к Енисею.

Но не только один графит залегал на берегу Курейки. Река выносила сюда со своих безвестных верховий колчедан, пирит, кальцит каменный уголь и полудрагоценные камни: опалы, гранаты, турмалины. У многих рабочих хранились дома в тесных комнатушках целые коллекции этих красивых камней с Курейки. Они ставили цветные камни на подоконники так же, как где-нибудь в центральной России — яркую герань.

Изредка сюда заходили туземцы. Здесь долго жила на руднике семья рыбака, тунгуса Петрухи. Бывший военнопленный инженер мадьяр, работавший на графитовом руднике, находил много общего между своим родным языком и языком тунгусов.

Лес у левого берега Курейки уже давно повырубили, но за прибрежной полосой он еще стоял нетронутым и поставлял в Курейку по вечерам тучи комаров. Поэтому все курейцы по вечерам надевали на голову тюлевые сетки — накомарники. Чтобы избавиться от гнуса, туземцы устраивали дымокуры, разжигали большие костры и нередко выжигали здесь сотни гектаров леса. Эти палы лесов встречались нам и по Енисею, и по Нижней Тунгуске. Туземец будто не дорожил этим лесом, хотя, выпаливая его, он лишал одновременно своих оленей белого мха — ягеля, лучшего корма.

Необходимо охранить леса от этих пожаров. Чем сжигать его, не лучше ли рубить на стройку и на дрова, из-за которых здесь, ка ни странно, по зимам бедствует население.

Я не видел более красивого места в Союз чем Курейка. Обсаженная высокими горам раскинувшись у трех порогов, близ которы от шума водопадов не слышно собственны слов, утопая в зелени лесов, благоухающа смолистыми запахами пихты и лиственниц Курейка красивее даже замечательной на Ниж ней Тунгуске Бухарихты.

По Енисею в Курейку, как только наладит ся транспорт, придут не только наши рабочи туристы-ударники, которых заводы пошлю сюда на лето в виде награды за их отличны показатели в соревновании. К этим диким ска лам и пенистой, шумящей вечным шумом рек придут и иностранные путешественники, отда нам валюту для закупки заграничного фабрич ного оборудования.

Из этих гор красоты необходимо изгнат цынгу. Сюда требуется завозить больше про тивоцынготных продуктов. Клуб и школа, куль тура и снабжение — вот кто крепко ударит п цынге.

Рабочие Курейки уже приступают к обще ственной стройке школы и клуба. На послед нем общем собрании рудника Лавров догово рился с рабочими о взаимном выполнении взя тых на себя обязательств. Комсеверопуть снаб дит продовольствием и медикаментами шахте ров Курейки, шахтеры Курейки выполнят н сто процентов новое задание, — выдадут на поверхность двенадцать тысяч тонн графита.

В этом изумительном уголке природы долж ны легче вздохнуть труженики — наземный и подземный.

СЛЫШНО ПЛАНЕТУ

С утра пять человек ушли с Курейки к Руд ничной горе. Лавров и профессор Ключанский решили исследовать ее камни, найти богатства горы, о которых не знал человек. До горы — километров девять сквозь тайгу, болота и то пи, где не положено троп, где не пройти без сетки от комаров. Каждый оделся полегче. Не взяли с собой даже консервов.

На пятерых — три ружья, две зауэровки и одна малопулька. Будет чем встретить и зайца и медведя. Разрывные пули Жекана блекло светятся из патронташа, показывая свои огромные свинцовые головки.

Прошло уже восемь часов, но пешеходы еще не вернулись в Курейку. Либо нашли действительно платину, либо кружают в тайге, не могут выйти к Курейке.

Уже два часа ночи. Солнце давно потонуло за таежным горизонтом, потемнел порог, затих поселок Курейка. Я иду к домику на пригорке, куда ведут провода от антенны. Здесь — рация Курейки. Так сокращенно называют радиостанцию. Начальник рации Мацкевич в маленькой комнатушке настраивает короткую волну, меняет поворотом сверкающей чернотой полированной ручки емкость конденсатора. Ищет требуемую приемником волну. Свистит в громкоговорителе сирены атмосферных разрядов то затихая, то лопаясь, будто выстрел.

— Сейчас будет Москва! — говорит вдруг Мацкевич.

Откуда он знает, этот кудесник, такой простой обычный человек в замусоленном пиджаке и болотных сапогах.

Громкоговоритель перестал хрипеть и вдруг чисто передает музыку далекой Москвы. Оркестр играет Бетховена. Соната закончена, и музыкальный руководитель дает об'яснения радиослушателям, повторяя отдельные места сонаты на рояле и иногда подпевая. На рации смеются слушатели, внимая этому далекому, но четкому голосу, его подпеваниям и методическим об'яснениям.

В Курейке далеко за полночь. Стрелки показывают уже третий час. Тишину нарушает лишь шум порога. А в Москве сейчас восемь часов вечера, поднимают занавесы в летних театрах, на трамвайных и автобусных остановках толпится народ, накурено в залах заседаний и неизбывная сутолока на вокзалах железных дорог.

— Даю Ленинград! — говорит Мацкевич.

Докладчик из Ленинграда говорит о 513 промышленных предприятиях и 1040 машинно-тракторных станциях.

— Сейчас послушаем Германию!

Поворот полированной ручки и мы перенеслись за границу, в Берлин, и слушаем его концерты и голос немецкого диктора.

— Та-та-та-тата-та, — врывается вдруг в комнату стук какого-то далеко живущего от Курейки коротковолновика.

Радист прислушивается к точкам и тире, вылетающим из громкоговорителя.

— Это какой-то немецкий коротковолновик передает что-то о Париже, — говорит Мацкевич.

— Удивительно быстро работает на ключе! — замечает радист-практикант.

— Он не ключом работает, а на автомате, вставил особую ленту, и аппарат сам выстукивает заданные слова. Поэтому так быстро и получается, — поясняет Мацкевич молодому радисту.

Длинноволновая станция Курейского рудника за полярным кругом мощностью всего лишь в сорок ватт.

Зимой волна Курейки доходит до Дудинки, Усть-Порта и даже станка Подкаменная Тунгуска, за тысячу километров отсюда.

Немца перебивает вдруг наш московский коротковолновик:

— Всем!.. Всем!.. Всем!..

Передает он новый циркуляр ВСНХ.

Я вижу на полу комнаты два свернутых сенника. Радиорубка служит одновременно и каютой двум радистам северной станции.

И снова диктор говорит о расценках. Поворот ручки удаляет его и переводит на музыку Пуччини.

— Та-та, та-та, та-та-та, — трещит снова громкоговоритель. Радист берет карандаш и записывает быстро немногие слова черного громкоговорителя.

— «Игарка. Записка Лаврову. 14 августа. Вручить немедленно.

«Комсеверопуть» снят с мели, идет Красноярск точка Пароход «Райборн» погиб вместе грузом норвежских шхерах точка Сообщите когда будете Игарке.

Палисадов».

На рации Игарки Палисадов передавал сейчас Лаврову последние новости, перехваченные портовой радиостанцией.

Послышалась работа Свердловской радиостанции. Заговорил Урал.

— Зимой мы отлично слышали Варшаву, Кенигсберг, Берлин, Новосибирск, Ташкент, Алма-Ату, Севастополь на длинной волне и летом на короткой принимали Москву, Ленинград и Германию, — говорит Мацкевич. — Мы слышим даже дыхание немецкого диктора. Зимою в трехмесячную ночь, когда день короток и светел, как и наши сумерки, только и слушать радио. Я транслировал передачу в барак горняков, где помещалось сорок человек, и в клуб, который сейчас занят под жилье. В клубе тоже до полусотни народу собралось. Понимаете, слышим мы однажды из Кенигсберга русские романсы на немецком языке: поют «Белые акации», ну до чего хорошо! Так мы всю ночь около громкоговорителя и просидели. Я зимовал два года в Туруханске. Установил там в клубе громадную трубу «Рекорд», какие на площадях устанавливают. И

под московское радио, под музыку, наши туруханские девчата всю ночь танцовали. А до того и не знали даже, что такое есть радио. Это было в двадцать седьмом году, в самом начале.

Радиостанция стоит государству пустяки — около семисот рублей. Каждый станок Енисея должен иметь такую радиостанцию и радиста из своих станков. Радио свяжет разорванные тайгой станки Енисея.

Я иду по сонной Курейке. Почему-то в неурочное время гудит, заливается гудок. Уж не пожар ли? Осматриваюсь по сторонам. Нигде на темном небе не видно алого зарева. А гудок орет, надсаживается, будто силясь догнать в горах свое эхо.

Лавров пришел уже с Рудничной горы. Стаскивает сапоги, отяжелевшие в болотах, и профессор Ключанский. На улице тревожно свистят. Слышны выстрелы.

— У нас пропал Бураковский! — говорит Лавров.— Отбился не то в горах, не то в тайге.

Снова гудит над тайгой гудок. На его призыв должен притти закружавший Бураковский. Снова с пригорка стреляют, сигналят Бураковскому, профсоюзному работнику Курейки, бывшему партизану отряда Катовского на юге Украины.

— Он мог упасть со скалы, или его придавило свалившимся камнем, — начинает тревожиться и Лавров. — Как-то я об этом не подумал там в горах?

И тут же отгоняет свои мысли:

— Он вероятно так устал, что лег спать на скале и спит сейчас без просыпа!

Стучит в двери! Входит вся в слезах жена Бураковского и тихо расспрашивает о пропавшем.

За ним посланы люди в тайгу на розыски. С утра двинется новая партия.

Но утро рассвело, наступает уже полдень, нет Бураковского! Он голодает вторые сутки и никто не знает, есть ли у него даже спички? Перед самой горой он говорил, что сильно устал, давно не ходил и выше в гору не поднимется.

За ним в тайгу с полдня уехали конные с собакой.

— Собака найдет человека! Я сам двое суток кружал по тайге, меня собака нашла и домой привела,— говорит шахтер рудника.

— Если вдруг Бураковский об'явится на руднике, мы будем вам сигналить отбой тремя короткими гудками, повторенными троекратно, — говорит заведующий рудником розыскной партии.

На руднике только и разговору, что о пропавшем человеке. Два дня назад люди в пороге утонули, теперь человек в тайге потерялся.

— Здесь это запросто, в тайге-то, — говорит буровой мастер с девятнадцатой скважины. — Это сколько хотите здесь!

Гудит отрывисто гудок. Уж не нашелся ли Бураковский?

Мы считаем гудки: Раз! Два! Три! Раз! Два! Три!

Бураковский найден.

Мы выходим на улицу. Нас обгоняют мальчишки. Народ бежит вперед, туда, где видна небольшая кучка людей и выделяется маленькая фигура пропавшего человека, едва передвигающего одеревяневшие ноги. За поясом Бураковского болтается штук пять уток.

— Что же вы думали — Бураковский в тайге заблудится? — похваляется пропавший. Как-никак военную тактику проходили, каким ручьем в тайге ни спустишься, всегда на реку выйдешь!

— А как же ты к пристани попал?

— Так меня же стерва-косач попутал, и все шел и шел за ним, пока не сбился! Трава высокая, не видать куда идешь! А косач все отводит. Попал я в болото, потом на какую-то речку. Вьется речка, путает меня. Иду берегом, думаю — выйду к Курейке, ни черта не будет! А лука на берегу дикого до дуры! Наелся я этого лука, воды напился и топаю дальше. Вышел аж к Горелому перекату! Ноги мои не ходят. Подложил под голову камень, развел костер и заснул. Тут остяка встретил одного. И пошли с ним на лодке вверх по реке. Уток подстрелил шесть штук, одну старуху, пять молодых подлеток. Одну схарчил, пять донес, вас покормлю, — говорит Бураковский.

— Сволочь ты, Иоська! — говорит ему заведующий рудником Семенов. Такую из-за тебя полундру подняли! Всех медведей, можно сказать, в тайге раздолбали!

А на радиостанции, склонившись над ключом, радист Мацкевич передавал оперативные телеграммы Лаврова в Игарку.

Вечером после заседания мы должны были пойти на верповальной лодке вниз по Курейке к Енисею в Игарку.

Перед от'ездом я еще раз забежал на рацию послушать нашу планету, ее разговоры и музыку народов.

Цена угля

С. Марков

I. ЗЕМЛЯНОЙ ШАТЕР

Плетки всадников Джакеня Мустафина, вероятно, не зря прошлись по этой худой и сгорбленной сейчас спине. Старик, согнутый как ручка его трости, стоит передо мной; он курит самодельную папиросу. Пальцы его желты и покрыты затвердевшими шишками, как янтарными перстнями.

— Ну, дело простое, — говорит старик спокойно. — Они же верхные и с нагайками. Их трудно взять, хотя некоторых и хватали мы за коленки, чтоб с седла стащить. Они четыре дня на конях к шахтам бежали...

Мартын, как зову я здесь старика, имеет свои счеты с сыном президента Французской республики, К. Э. Карно. Подробно о всем этом будет сказано ниже, а пока мне хочется показать вам жизнь человека, получившего удар свинцовой плети.

Столетний сейчас старик Чухня много лет назад посоветовал молодому крестьянскому парню Мартыну сменить степной труд на крепкую рабочую судьбу.

Чухня сам работал у купцов Рязановых. Они достойны всякого описания, в этом роду богачей и пьяниц, говорят, не было ни одного здорового человека. Когда в Акмолинской области были найдены места, где залегали пласты огненного камня, как называли уголь кочевники, — Рязановы вскоре пришли на урочище Караганды.

Легендарные купцы взяли в свои руки не только угольные копи, но и Спасский медноплавильный завод. Глава рязановского семейства, старый екатеринбургский купец, умер от запоя, оставив жене и трем сыновьям все то, что он смог скопить за время своей беспутной жизни.

Старуха Рязанова жила глубокой раскольничьей стариной, ее окружали бродячие, неузнанные проповедники старой веры и начетчики. Три ее сына боялись старухи, как огня, и в силу темной наследственности тайком от матери пили излюбленную смесь здешних пьяниц — водку с кумысом.

Старуха правила на своем куске богатейшей земли как хотела. Она не признавала расчетов на бумаге и вообще всяких бумаг и ходила по копям, перетянув поясницу кожаным ремнем, на котором, вместе с четками, висели ключи.

Староверка носила свои золото, медь и уголь на себе, не расставаясь ни на минуту с ключами. Она была похожа на шамана, гремящего невиданной железной гроздью. Этот шаманский пояс, как мы увидим сейчас, стоил без малого миллион золотом.

Владелица золотых ключей не могла знать, что в 1894 году на выставке в Лионе итальянский анархист Казерио Санто убил мужа Французской республики и ее президента, господина Сади-Карно. И в самом деле, какое отношение мог иметь к дикой и строгой кержачке один из создателей франко-русского союза?

Однако вышло так, что сын казненного, К. Э. Карно, купил у старухи копи и Успенский рудник. Сам президент не зря был кавалером русского ордена Св. Андрея Первозванного, не случайно устраивал русский заем. В честь его гремели салюты балтийских кораблей.

Когда сын президента смотрел из окна вагона на города Европы, когда в его сознание, как стрела, вошел уральский пограничный столб «Европа-Азия», когда он, наконец, скача на перекладных из Омска на Кокчетав, осознал стремительное бытие первых всадников в ватных халатах, — он еще не знал, что увидит в своих будущих владениях.

Сын президента, конечно, не предвидел, что в это время судьба одного из его рабочих, недавно получившего от десятника свой обычный номер, необычайно усложнилась.

В самом деле, нового углекопа Мартына взяла за горло собственная жизнь. Он жил и

мазанке, выкрашенной лиловой глиной, на окраине большего села вблизи копей. Но в одну полночь Мартын лишился крова — лиловая мазанка сгорела. Углекоп долго не мог опомниться, ибо знал, что в щербатой стене, недалеко от печной трубы, был спрятан заветный клад — несколько розовых кредитных билетов. Ни денег, ни лиловой избы Мартын спасти не мог, потому что в час пожара его не было дома.

Погорельцу нужно было где-то жить и с отчаянием он построил почти около самых шахт свое неправдоподобное жилище, которое у кочевников называется **ч у ч е л о м**.

Оно строится частью из дерна, частью из дымной кошмы; под куполом такой хижины обычно живут пастухи и варильщики мяса у богатых кочевников. Обитатель чучела всегда бывает несчастен и одинок.

Сын президента Сади Карно осматривал свои азиатские владения; его сопровождали почтительные десятники; тушканчики, земляные зайцы, выскакивали из-под ног гостей. Лихорадочный треск кузнечиков, неистовство неизвестных цветов и запах полыни усердствовали в этот день, укрепляя в сыне президента смутную робость перед лицом новой страны.

Наконец, хозяин чужой земли наткнулся на дикое жилище углекопа Мартына. Оно возвышалось над вытоптанной травой, из недр рваного войлока бежал дым переносной печки, на кривых дверях висели домотканные эстонские штаны и шахтерская лампа. Узкое окошко было закрыто большим картонным листом с изображением земного шара, оранжевого солнца и каравана, проходящего пустыню — рекламой степного торгового дома «Матвей Кубрин».

Гражданин Карно изумился. Он попросил доложить, кто живет здесь. Растерянные смотрители зашептались, вошли в двери чучела и вытащили Мартына на свет. Углекоп стоял рядом с хозяином земли, на которой он посмел возвести свое дикое жилище.

Убогая грудь рудокопа была темна, как зола. Карно спросил у Мартына, почему он живет так, но надсмотрщики не дали раскрыть ему рта и объявили новому хозяину, что этот рабочий — пьяница, бездельник и бывший конокрад, которого невозможно приучить к обычному образу жизни.

— Устройте его как хотите и где хотите, — заявил Карно, давя каблуком чертополох. — Я не могу позволить, чтобы мои рабочие жили, как негры в Африке. Странный возврат к жизни предков!

На другой день Мартын получил расчет, а двое выслужившихся рабочих с некоторой жалкой робостью разрушили непрочное логово Мартына и посоветовали ему итти «в киргизы».

И Мартын ушел на Нуру, где получил от богатых кочевников тонкую жердь с петлей для ловли косячных коней. Сделавшись пастухом, падал два раза с жеребца, получив перелом ребер.

Но 7 декабря 1905 года Караганды развернули пока еще неуверенное, кумачное знамя бунта. Первые на этих широтах углекопы, только что отрешившиеся от земледелия, не имели смелости и уменья потомственных бунтарей больших городов. Они подали петицию директору Феллю и отказались от работы.

Наместник сына президента сначала растерялся, но потом схитрил, принял петицию и тайно послал за помощью к управителю кочевой Нельдинской волости, Джакеню Мустафину. Фелль хотел выиграть время и затянуть ответ на петицию до приезда кочевого управителя.

Через четыре дня степь огласилась длинным роем всадников Джакеня Мустафина. Он скакал впереди отряда в желтой шубе, с серебряной цепью на груди. За ним летели аткаменеры с тяжелыми плетками в руках. Стремянные управителя выли, качаясь в седлах; их желудки горели от крепкого кумыса. Свинцовые лепешки, зашитые в нагайках, опускались на головы и плечи бунтарей.

В толпе углекопов был и житель разрушенного земляного шатра; Мартын, узнав о бунте, прибежал на Караганды. Его заметил один из десятников и указал всаднику. Аткаменер в голубой шапке обрушил на Мартына своего коня и несколько раз опустил нагайку.

Бунт был затоптан наездниками, досыта пившими кумыс степного хозяина, а на спине Мартына остались длинные и рваные следы. Он бежал с шахт, прячась в нуринских камышах, и пастухи мазали ему спину бараньим жиром.

Потом на Караганды пришли англичане. Они сидели в степи до дней революции. Говорят, что директор-англичанин еще пробовал в самый час прихода вести о восстании уговорить рабочих спуститься в шахты. Но директора стащили вниз в тот момент, когда, забравшись на днище сорокаведерной бочки, он пытался произнести успокоительную речь на русском и киргизском языках. Англичане бежали через степи, забрав с собой горные планы и разорив рудники.

Потом степь начала трясти пороховая горячка. Через эти урочища в длинном синем автомобиле летел в Китай разбитый атаман Дутов.

Его ждала смерть. Она сидела на пороге китайской мазанки, в Чугучаке, — белом городе провинции Синцзян. Там Дутов в 1921 году, согнув толстые колени, рухнул в узких сенях, подколотый с двух сторон под нижние ребра тонкими кинжалами китайских террористов.

Круг людей, душивших революцию, был рассеян штыками пятой Красной армии и степными волонтерскими экскадронами (имени Стеньки Разина и Жана-Поля Марата), закутанными в красные овчины.

Люди старого мира все были связаны между собой. Ведь в Самаре и Омске Дутов, наклонив апоплексическую шею, сидел рядом с полководцем Жаненом, дравшимся за интересы сына президента Французской республики. Эти два генерала, возглявляя званые обеды, устроенные во взятых городах, своими пушками и клинками отвоевывали для бывших владельцев Белорецкий завод, Магнитную гору, Карсакпай и Караганды.

И в это жестокое время два раза лишавшийся крова углекоп Мартын совершал опасные и твердые дела. Он в 1917 году возмутил солдат скудного акмолинского гарнизона и присоединил к ней часть мелких чинов тюремной стражи.

Мартын прошел с этим отрядом по Акмолинску, от Западного до Восточного выгонов, с флагами и пением новых песен.

Через два года он, в красном полушубке и белой шапке с длинными ушами, летевшими по ветру, гнался за Бакичем и Дутовым до китайской границы. В это время Мартын мстил врагам не только за свой разрушенный войлочный кров.

И вот теперь, только что показав выпуклые рубцы на спине, он стоит передо мной, с пальцами, покрытыми янтарными перстнями.

— Дутов, — говорит Мартын, — правда, хоть и отчаянный был, как военный человек, но все же — кобель. Он трех полюбовниц с собой увез в Китай, а няньку свою в Акмолах бросил на призрение судьбы.

И владелец ненужной ему сейчас лиловой избы рассказал мне попутно историю заката семьи Рязановых.

Последний из сыновей родоначальницы, горький пьяница, еще до революции отрекся от владения богатствами, поселился в унылом приишимском селе и начал заниматься земледелием.

В конце 1930 года в Государственный банк в Акмолинск явился одичавший человек, назвавшийся Алексеем Рязановым, и продал банку крышки золотых часов и бриллианты, украшавшие их. Вскоре после этого он умер.

В его хате была найдена большая шкатулка, таившая раньше кое-какие ценности, пропитые Рязановым за последние годы. Из бумаг узнали, что Алексей Рязанов был еще и наследником большого состояния, оставленным его родственником, погибшим в качестве солдата Канадской армии в одной из европейских битв.

Может быть, чахлый труп бывшего обладателя миллионов был перед похоронами обмыт веселой старухой, вынянчившей уже седого и свирепого в походах атамана?

В Акмолинске нянька Дутова качала чужих детей и обмывала покойников. Во время этих занятий, необходимых одинокой старости, она, теребя пальцами кофейный платок, рассказывала о том, как ей доводилось, вместе с обозами, лазаретами и кашеварами, вступать в занятые города.

2. ЧЕРНЫЕ БРАТЬЯ

Там существовали странные и смешные обычаи. В Бриенне, по местному — Бриене, в Наварине и станице Степной казачьи хозяйки, угощая гостей, говорили:

— Осмеливайтесь, гостенёк. Будьте, как дома, при месте. Получайте.

В домах парижан и берлинцев гостя удивлял вид неожиданных в этих станицах герметических печей с изображением всадника, протянувшего руку. Оренбургские казаки не зря богатели на кочевых восстаниях, внешней войне, пограничной службе и пользовании дешевым башкирским трудом. В Парижах, Фершампенуазах, Кульмах, Берлинах и Варнах, кизячных станицах, названных такими странными именами в годовщины побед русского оружия, издавна мелькали голубые лампасы четырех отделов Оренбургского войска.

Это оренбургские казаки, люди со смешанной кровью, носящие кличку «кошма», во время захвата британцами Трансвааля, пели под граммофон знаменитое — «Трансваль, Трансваль, страна моя».

Вместе с тем казаки самым спокойным образом продавали своих коней уполномоченным британского командования. Дело в том, что британская кавалерия, попав в суровые просторы Оранжевой республики и Трансвааля, первое время была беспомощной и не могла устоять против партизанского войска президента

Крюгера. Бородатые наездники были посажены на выносливых и крепких коней пустыни. Тогда англичане вспомнили о России, ее степях и низкорослых азиатских скакунах.

Дым английских трубок слился с дыханием кизячных костров оренбургских станиц и тургайских аулов. Английские агенты смотрели в зубы степным иноходцам, хлопали их, сгоняли в косяки и гнали через степи к железным дорогам. Русские волонтеры, стрелявшие в Трансваале по английской кавалерии, не подозревали о том, что они снимали рослых всадников со своих же, русских, коней, с азиатским тавром.

Поле бурской войны прошло лет двадцать, и эти казаки, распевая жалобный «Трансваль», пошли вслед за атаманом Дутовым, тогда имевшим только полковничий чин.

«Голубые лампасы» в 1918 году отрезали нос и губы парламентеру Василия Блюхера и распяли посланца на кресте, после чего Блюхер был вынужден открыть пушечный огонь по станице. Но красногвардеец все-таки умер на кресте; перед казнью казаки стащили с него грубые солдатские сапоги, а отрезанный нос и мертвые губы положили у подножья креста на окровавленную башкирскую шапку парламентера.

Василию Блюхеру и братьям-большевикам, бывшим казачьим офицерам Кашириным, выпала на долю честь уничтожения дутовских сотен. Части красной гвардии, разбившись на отдельные группы, двинулись по нескольким направлениям сразу. Рассказывают, что за неимением обычных средств обозы и полевая артиллерия кашириицев смазывали, во время этих переходов, колеса сливочным маслом или даже медом. Все это делалось не из русского озорства, а из необходимости и сознания неизбежности победы.

И вот, одна из групп гвардии успела занять станцию Карталы и ворваться в Париж, тогда как вторая группа, после победы, уже спала на кошмах в крытых железом домах Лейпцига. Лейпциг и Париж были для Дутова маленькими Ватерлоо; разгромленный окончательно, он убежал отсюда в дальние степи.

Париж приютился почти под огромным чугунным боком Магнитостроя, а, в свою очередь не совсем далеко от Парижа, на Троицко-Орском железнодорожном пути стоит Халилово. Ему суждено сделаться братом Магнитостроя и притом — не младшим. В халиловской земле сберегается никак не меньше чем миллиард тонн железной руды, большие запасы меди, никеля, фосфоритов, марганца. Многие из станиц, населенных казаками, тюрками-христианами нагайбаками, тептярями, башкирами и мещеряками, искусными творцами оренбургских платков, тонких настолько, что любой из них можно протащить сквозь перстень, — стоят на крепких грядах бурого железняка.

Одна из таких гряд сейчас найдена и прослежена целиком, как река от истока до устья. Она берет начало около станицы Н. Успенской, проходит к берегу Урала и, в конце концов, поворачивает на юг и как каменная стрела вторгается в соседний Казакстан.

Вторая гряда, как бы обгоняя стремление рельс, идет рядом с линией железной дороги Троицк—Орск. Бурый железняк двух этих гряд дает сорок процентов содержания железа; это уже установлено германскими учеными, с которыми недавно советовался Союз.

Красный железняк лежит в окрестностях станции Блява, на той же дороге из Троицка в Орск. Здешняя руда дает шестьдесят процентов содержания; она уже прошла опытную плавку на одном из заводов нашего треста «Востокосталь».

Поэтому-то Халилово вполне достойно постройки большого завода для выделки чугунов самого высокого качества. Халиловские хромоникелевые чугуны годны, прежде всего, для производства самой лучшей стали, а хромоникелевая сталь весьма и весьма пригодится при постройке аэропланов, тракторов, автомобилей и других помощников человека.

Для всего этого Халилову нужен уголь, а его могут дать только Караганды. Новые казакстанские копи должны будут кормить не только этот новый черный рот, а также Нуринский, Карсакпайский и другие медные заводы пустыни, Туркестано-сибирскую дорогу, Казжелдорстрой и все заново строящиеся дороги Казакстана. Эти равноправные черные братья, которых должны кормить Караганды, стоят на изгибе той самой огромной дуги ценных руд и солей, о которой говорил один академик. Дуга проходит сквозь земли, залитые кровью, через века, сложные массивы человеческих отношений. Но мы перешагнули, мучительно и не сразу, как и весь мир, через древнейшие и прекрасные песни, через вероломные тела первых завоевателей, взяли то, чем когда-то владели русые купцы и, наконец, сын казненного анархистом президента Франции. Стране мешали в ее деле сильные заступники сильных — пушки и клинки Дутова, пики

головорезов, орущих «Трансваль», международные усмирительные отряды.

Поэтому мне кажется, что простые, законные для страны, победившей многое и многих, слова о том, что она каждый год и час, упорно исследуя землю, пропитанную до своего седьмого горизонта кровью, находит и бережет огромные богатства, — должны жить не только на полосах газет.

Чугунные слова не похвальбы, а спокойного и медленного голоса победителей должны и обязаны жить везде на радужном прямоугольнике почтовой марки, путешествующей по всему миру, на плакате, в толстых строчках детских букварей.

И пусть в словаре подвигов, если что-нибудь подобное будет отпечатано на свинцовом станке, Караганды займут одно из почетных мест. Биография степного каменного угля достойна самого большого распространения.

Сейчас карагандский уголь вышел в мир сквозь ворота, открытые для него на север. Строители дорог успели соединить безвестную станцию Нуру с черным кормильцем и вывели его на Великий сибирский путь.

Когда откроются южные и западные ворота, т. е. когда уголь пойдет в Среднюю Азию по дороге, связывающей Караганды с Турксибом, и ветке Акмолинск—Карталы, перед ним откроется грандиозный плацдарм для шествия до Волги на запад, а на юго-восток — до мест, граничащих с Афганистаном и Индией.

Подземные дуги прослежены, как реки, огонь и чугун делают свое дело. Расстояния уничтожаются, тамариск тургайских песков зеленит морды верблюдов из караванов научных экспедиций. Какие-то деловые люди, как об этом писали газеты нескольких держав, торопятся проехать пустыни всего мира, в том числе и нашей Азии, и провести по ним караван огромных гусеничных автомобилей, сознавая, что пустыни с каждым годом орошаются и теряют свою темную славу.

Черные братья переговариваются через пустыни, где-то в Африке ходят табуны коней, предки которых мяли азиатскую полынь. Ничего, — они, вероятно, пригодятся для грядущих инсургентов.

И мы плавим руды, добытые из земли путем огромного труда, за спиной которого стоит невероятная история. Руды и то, что затрачено на овладение ими, — совершенно равноценны. Разве в мужестве распятого на кресте неизвестного парламентера был меньший процент содержания железа?

Этот человек, окруженный кольцом врагов, слышавший запах пота утомленных палачей, смазных сапог и собственной крови, знал, почему он глядел в последний раз на багровое парижское солнце, встающее над проломленной ударом ружейного дула головой.

Дети Тамерлана

Даниил Фибих

Древний желтый лак заката оттенил домики показавшейся наконец на взгорье коммуны. Эти несколько верст от Загустая были бесконечны. Две одноколки, которые по наряду дал нам флегматичный секретарь сомонного совета, обтянутый глиняно-красным халатом, ползли еле-еле. Вяло переставляли трудовые копыта хилые лошаденки. Правившие девушки подгоняли больше по традиции:

— С-сью!

Девушки свистели по-своему, по-забайкальски и повертывали к нам смугло-розовые щеки, прорезанные щелочками глаз.

Моими попутчиками оказались юный, худенький бурят, со старым, толстым портфелем — врач, обследующий коммуны, — и молчаливый, белозубый красавец, полный комсомольского достоинства, русский парень. Райком послал его организовать рыбацкую приозерную молодежь.

Итак, на закате дня равнина утешила нас наконец незатейливой и мирной панорамой коммуны имени Сталина, крупнейшей в восточной Бурятии.

...Степь. Тишина. День все еще горячий и томный. Синеющие зубцы Хамар-Дабана прикрыты овечьим руном низких облаков. Журчит около амбаров триер, где сортируют пахнущее французской зеленью зерно. Позванивают, выстукивают чинящие дисковую сеялку коммунары.

Пустынно. Все в поле. В эти дни, с двадцатого по двадцать пятое мая — ударная посевная пятидневка. Только девчата и мальчата играют перед школой в лапту, мелькая кубовыми халатиками, крича что-то веселое и непонятное. Собаки в своих выросших вокруг поселка будочках вывалили языки, алые, мокрые и горячие.

Через монгольское шоссе перегоняет коммунарскую отару пастух. Он стар. Красная мохнатая кисть прикрыла конус шапки. В зубах черенок длинной трубки, на поясе нож, одетый круглыми деревянными ножнами. Бараны плывут волной жирной гофрированной шерсти, затейливыми завитками рогов, курдюками, обильными салом. Дышат сипло, черные ноздри у них горячие и влажные.

Дикие гуси. Они летят большой стаей, выровнявшись в острый угол. Над самой коммуной начинается спор: куда летят? Краткая, но оживленная дискуссия в воздухе. Потом одна часть тянет к горам, другая свернула на юг, верно к Гусиному озеру, к китайским пагодам Хамбинского дацана. Усталое солнце нехотя мажет суриком их брошки с поджатыми перепончатыми лапками.

Тишина, Буддийская степь.

...Коммуна имени Сталина недавно отметила двухлетие своей жизни. В 29-м году впервые объединилось 58 дворов — около трехсот едоков. Сейчас коммунаров свыше тысячи, сплошь буряты, вчерашние кочевники и полукочевники, только теперь перешедшие на земледелие.

Все эти домики, просторно растянувшиеся прямыми и широкими улицами, выстроены только лишь в течение прошлого года. Еще недавно была здесь голая земля да горы недалекого горизонта. Сейчас, кроме жилых построек, тут школа первой ступени, изба-читальня, где происходят собрания, столовая, пекарня, баня, ясли, детская консультация, родильный дом, врачебная амбулатория. Гараж, амбары, склады, скотный двор, сараи для сел.-хоз. машин. Лавочка Загустайского сельпо и приемочный пункт бурято-монгольского Госторга, собирающий кожи, волос, шерсть, кость.

Две высокие мачты простирают над коммуной антенну.

Тесовая трибуна стоит посреди площади, а поодаль — футбольные ворота. В сумерки

мелькают тут комсомольцы, и мяч, обшитый кожей, взлетает в розовый пепел неба.

Крошечная раковина открытой сцены, перед ней — врытые в землю скамейки.

В этом году коммунары построят и оборудуют масло-сыроваренный завод, перерабатывающий молочную продукцию их скота, образцовый скотный двор на двести голов скота, телятник для двухсот телят, овчарню, которая вместит тысячу овец, свинарник на сотню свиней, чистую, светлую теплую конюшню. Предположена закладка пяти силосных ям и полубашни для квашения силоса.

На окраине поселка еще сохранились зимние юрты — с плоской крышей, с земляным полом, почти лишенные окон, бревенчатые срубы.

Домики стоят на равнине как детские кубики, без загородок, без всяких пристроек.

У дверей, на ветерке — шубы, утварь, расписные сундуки и красные шкафчики, украшенные орнаментом из стилизованных санскритских букв «наичжу — вандан». Эти шкафчики раньше принадлежали ламе или богобоязненному кулаку-зайсану.

Я поселился в домике, где живут женщины и ребятишки. Пазы закопченные мхом. Нары занимают половину избы, на них врастяжку спит семья. Сплю и я, подстелив кошму. Керосина нет — коммуна засыпает и встает вместе с солнцем.

Утром, проснувшись, увидел я сгорбленного, худенького и проворного старичка, сидящего на полу и ласково покрикивавшего на голого младенца, с плачем барахтавшегося в овчинной шубе. Личико у старичка скуластенькое и морщинистое, седая головка наголо острижена, ноги засунуты в широкие порточки.

— Как будто мужик, — подумал я, как Чичиков, впервые увидевший Плюшкина. — Нет, скорее баба.

Старичок шмыгал, посмеивался, глядя на ревущего внучка, прикрикивал как всякая добродушнейшая бабка.

— Конечно, старуха... Нет, не похоже... Не иначе как старик...

«Оно» надело наконец длинный халат, замотало голову платком. Тогда сомнения мои исчезли.

Бабка чесалась, пила чай из деревянной расписной чашечки, по старой кочевнической привычке сидя на полу, и, ласково хихикая, пыталась заговорить со мной. Друг друга мы не понимали.

ПЛУГ И БУКВАРЬ

Когда впервые начали работать, было посевной площади только 180 гектаров.

В нынешнем, 31-м году посевной клин коммуны — 1530 га, а если прибавить огородные культуры, то 1547.

Сел.-хоз. инвентарь: 70 плугов, 35 борон, 11 сеялок, 33 конных граблей, жаток-самоскидок — 13, сноповязалок — 5, локомобиль, 2 молотилки. Есть два трактора — интер и фордзон. Количество, конечно, недостаточное. Коммуна получает еще несколько тракторов.

Сеют пшеницу, овес, рожь, кормовые травы...

Пахотные земли покоились по ту сторону монгольского тракта, около которого растянулась коммуна. День падал глубокой тишиной и душистым зноем, изгородь дальней поскотины переливалась, дрожала в расплавленном воздухе. Впервые за тысячелетия степь обнажила свои каштановые почвы, со всем запасом нетронутых соков.

Был обеденный перерыв, когда я пришел на участок. Пахари отдыхали в холодке, около полуразвалившейся избенки, напоминавшей последний акт оперы «Русалка». Под навесом из неровных, щелястых досок, сидя вокруг лаково-прокопченных котлов, дохлебывали какую-то бурду, видимо дешевый чай, забеленный молоком. Золотые солнечные стрелы полосовали полумрак. Ворочались, хрумкали соломой лошади за изгородью, на их голубые головы огромно наваливались сверкающие кучевые облака. Мальчишки играли в какую-то свою игру, очертив себя по земле кругом и подбрасывая ногой, обутой в гутул, плоский камешек.

Практикант из педтехникума осматривал плуг. Кругом него толпились бронзоволицые, узкоглазые. Отполированный лемех казался осколком солнца. К стене прислонены раздвижные деревянные решетки, из которых складываются стенки кочевой юрты.

Пахари сидели и лежали на земле кучками, облепив грамотея. На его коленях раскрыт русский букварь, грамотей читал громко, медленно, истово:

— Мы ко-сим ма-ши-ной.

— Ма-кар ко-сил ко-сой.

Слушатели, подпирая щеки смуглыми кулаками, повторяли за ним хором. Они учились русскому языку.

Перерыв кончился. Читавший о Макаре бригадир в багровой куртке и черных окулярах,

придававших ему вид слепца, пошел за лошадью, сказав на ходу:

— Ушел мой трактор.

Плоскогрудые девушки, закидывая длинные синие полы халатов, усаживались верхом на смирных лошаденок, шипели:

— С-сью!

Плужки с поднятыми лемехами, бороны зигзаг, зубьями вверх, потянулись под уклон, на каштановые, нарядно расчесанные пашни...

Работающие в поле коммунары разбиты на три бригады — трактористы, пахари и сеяльщики.

Работают круглые сутки, в три смены. Немало среди них ударников, вызывающих друг друга на соревнование.

Трудовая дисциплина в коммуне вполне удовлетворительна, особенно теперь, когда перешли на сдельщину. Сдельно работают все члены коммуны, кроме специалистов и лиц, выбранных на административно-хозяйственные должности: председатель совета коммуны, пред. ревизионной комиссии, счетовод, завхоз, полевод, животновод, кладовщик, руководительница детплощадки, няни из яслей.

То, что отработали коммунары, они получают в конце года в виде одежды, промтоваров и т. д. Есть, конечно, хоть и немногочисленные, случаи лодырничества, прогулов. Прогульщиков позорят занесением на черную доску, лишают причитающихся им выдач. Наиболее злостные исключаются из коммуны.

Заработок растет. В 29-м году коммунар в среднем получал за свой трудовой день 45 коп., в 30-м году — 61 коп., в этом году еще больше. Вступивший в коммуну бедняк материально живет гораздо лучше, чем жил будучи единоличником. Если же прибавить к этому помещенье несравненно лучшее, чем прежняя юрта, ясли, детплощадку и школу для детей, врачебную помощь, общественное питание, культурно-бытовое обслуживание его самого, то не может быть никакого сравнения с прошлой жизнью.

Крепнет, строится, растет коммуна. Растут на глазах, перерождаются, неузнаваемо меняются люди.

Но прежде чем коммуна Сталина стала такой как есть, трудный и сложный надо было пройти путь.

Об этом после.

Сейчас на посевную сюда приехало из Верхнеудинска немало практикантов педтехникума, шефствующих над коммуной. Пареньки и девчата, отцы которых тоже кочевали со стадами, мелькают черными кепками на полях, огородах — проводят весенний сев.

Собрав вокруг себя пахарей, рассказывают им о вредителях из Промпартии, о преимуществах коллективизации, о том, как должен относиться коммунар к единоличнику.

Сами за плугом, за сеялкой. Работают на огородах.

Каждую пятидневку они выпускают стенгазету «Улан-Загустай», «Красный Загустай».

Мы работали вместе над очередным номером, под вечер, в избе-читальне. В будочке безмолвствовал трехламповый радиоприемник, за невысокой перегородкой варил себе картошку сторож в китайских очках, с реденькой черной бороденкой, напоминавший мандарина.

Похожие друг на друга, в одинаковых кепках, девушка и юноша молча писали заметки по-русски, по-бурятски,—монгольской и новой, латинской, транскрипцией.

Юный художник заканчивал акварельный рисунок, которым начиналась газета. Он изобразил кочевника, идущего за сакковским плугом. Выкатывалось солнце, освещая горный хребет и гордое, сухое монгольское лицо.

Крупы лошадей, обращенные к зрителю, были пластичны. Только вскормленный степями мог изобразить коня с такой нежностью и знанием. Штрих был скуп, остер и смел, полон сжатой силы.

Парнишку звали Тудупов.

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА

Отец Ефрема Гыргесова жил в западной Бурятии и слушался шамана. Сам Гыргесов рос обычно. Днем работал, помогая отцу, вечером, обняв приятелей за талию, плясал ехор и хатаргу вокруг костра. Потом парни уволакивали девушек в кустарник и тьму. Изредка видел, как на тайлагане ломает шаман кости жертвенной кобылицы.

Русская грамота была известна Ефрему. Сосланный сюда политический научил его читать и писать.

Война с германцами ощутилась в улусе приказом о мобилизации инородцев на тыловые работы. Гыргесова забрали в Иркутск. Там он строил бараки.

Потом повезли на другой конец империи, в Архангельск. Гыргесов разгружал английские корабли, дерзил начальству и жадно читал потайные листки, которые давал ему знакомый большевик. Был шестнадцатый год.

Гыргесову стало скучно. Он вспомнил родину. Поезда, набитые дезертирами, везли его не-

сколько недель. Он ехал под лавкой, на крыше вагона, на буферах. Кондуктора били и выкидывали на ходу. Все же он доехал до своего улуса. Там он открыто начал говорить против войны, против правительства дворян и фабрикантов. Скоро пришли стражники, избили, увезли в Балаганск. Донес улусный богатей.

Через десять дней Гыргесов убежал из тюрьмы. Жил в землянке, в лесу.

Когда под сугробами на дне оврагов зазвенела вода, пришла революция.

Гыргесов ушел из леса в кооперацию. В большевистские дни был председателем сначала сельского, потом волостного ревкома в селе Молька. Потом Мольку захватили колчаковцы и восставшие кулаки.

Трещала зима. Гыргесов убежал. Он бежал два дня, ничего не евши. Белки прыгали по кедрам, сбрасывая густой иней. Из-за холмов выкатывалась красная луна. Голодный, теряющий силы, он остановился в первом попавшемся селе. Когда съел несколько пельменей, поданных на стол доброй хозяйкой — в дверь просунулись стволы винтовок.

Его отвели в дом главного шамана. Там расположился штаб колчаковского отряда. Шаман прыгал и бил в большой бубен. Духи лесов, духи гор сообщили, что большевиков больше не будет. Поручик, командующий отрядом, глядел на гремящего шамана, скучал и пил водку. Он сказал:

— Что же, Гыргесов? Был ты порядочным человеком, а теперь служишь негодяям и немецким шпионам?

Гыргесов ответил:

— Я остался, как и был, порядочным человеком. А служу я делу крестьян и рабочих.

— Ты в самом деле большевик, — сказал поручик и выпил стакан тарасуна: — Надо тебя расстрелять.

— Позволь, ваше благородие, сначала сказать мне несколько слов народу, — ответил Гыргесов.

Он поднялся на табуретку и заговорил, обращаясь к собравшемуся народу, потому что видел нескольких знакомых бедняков. После первых же слов солдаты сбросили его на пол и стали бить. Сначала он чувствовал, потом ему стало все равно.

Очнулся в темноте. Кровь замерзла на глазах. Он лежал в амбаре, рядом плакала знакомая женщина. Нащупав хозяйский сундук, она вытащила доху. Завернувшись в нее, Гыргесов дождался рассвета, когда его повели обратно в Мольку. Белки прыгали по кедрам, роняя густой иней. Из-за холмов выкатывалась луна. По дороге его хотели расстрелять.

В Мольке били снова, кололи шилом мускулы ног, стягивали бечевой голову до того, что глаза лезли из орбит. Богатые желали сразу же прикончить, те, что победнее, — отговорили.

Вместе с другими большевиками на ночь заперли в сарай. Утром смертникам послышались выстрелы, крики. Сарай открыли партизаны.

С ними и ушел Гыргесов. Он был в 1-м коммунистическом бурятском кавалерийском отряде, под командой Сункуева.

Когда кончилась война и были перебиты отрядом прятавшиеся в падях банды, — работал продкомиссаром, затем председателем аймачного исполкома. Потом уехал в Москву, учиться, в КУТВ. Последняя его должность — заместитель начальника административного управления Бурят-Монгольской республики. Теперь он председатель коммуны им. Сталина.

...Он сидит, упрятав пальцы в рукава легкого пальтишки. Лицо большое и спокойное, точно камень, под носом сипит маленькая трубочка, редкие, черные волоски сбегают по подбородку. Глухая ночь прислонилась к окнам избы-читальни. Тянется по земле, как волосяной чумбур степного воина, глухая монгольская песнь. Ее перебивает трактор, вернувшийся с поля. Он устал и сердит. Стучат в окно:

— Товарищ Гыргесов, где ключи от гаража?

ИСТОРИЯ КОММУНЫ

В Бурятии революция началась после того, как закончилась в остальных частях Советской страны. Русские города и села Сибири гремели боями. Издыхала колчаковщина, надвигалась с запада Красная армия, в лесах и сопках распухали партизанские армии.

Все это не касалось бурят. Если в западной Бурятии, более соприкасающейся с русским населением, чувствовались какие-то сдвиги, если здесь и были, — впрочем, довольно незначительные — национальные партизанские отряды, то в забайкальской, восточной Бурятии иная наблюдалась картина. Желтая отрава буддизма просочилась в кровь народа. Он стоял в стороне от войн, революций, борьбы. В партизанском движении участия не принимал.

— Да, русские купцы и генералы—злые люди. Но зачем противиться злу? И что такое вообще зло?.. Мы лишь гости на этом свете. Истинное счастье — в нирване...

Попрежнему лама и кулак-нойон были хозяевами. Только в 23-й году появились в аймаках восточной Бурятии первые партийные организации.

Революция началась тогда, когда зашумело новое слово:

— Колхоз.

Буряты узнали, что забайкальские казаки, исстари владевшие лучшими землями, покосами и выпасами, пользовавшиеся особыми преимуществами, хозяева края — теперь во всем уравнены с коренным населением. Буряты увидели первые русские коммуны.

Красные партизаны осели в Селенгинском аймаке двумя крупными коммунами. Одна — имени К. Маркса (ныне «Авангард»), другая — имени Ленина (теперешний «Большевик»). Коммуны появились давно, в первые годы нэпа.

Долго присматривались окрестные буряты. Хорошо работали русские, живущие по-новому. Жили дружно. Хозяйство крепло. Появились машины. Хлеба были тучные.

В 26-м году в улусе Саган-Жалге образовалось первое бурятское машинное товарищество. Много сначала было споров и опасений:

— А что, если придет новая власть? Всех нас повесят.

В 28-м году родилось сразу пять артелей. Эти артели, слившись вместе, и стали коммуной Сталина. Главным организатором был Асадоев, учитель, сын бедняка. Помогали ему кузнецы. 3 апреля 1929 года — историческая дата для коммуны. В этот день пятьдесят восемь дворов решили жить и работать сообща.

Большинство коммунаров — беднота. Но немало просочилось сюда и зажиточных хозяев.

Сразу же после возникновения коммуны начались потрясения. Монахи-ламы извне, кулаки внутри перешли в наступление. Неокрепшая коммуна трещала и шаталась под нажимом врага.

1 мая собрались коммунары встретить праздник. Пошли к лошадям. Нет лошадей. Кто-то отвязал их, — разбежались кони по степи.

В богатых юртах хихикали:

— В этом году лошади разбежались, а на следующий год убегут и сами коммунары.

Праздник сорван.

Тайные собрания шли по сомону. Накренившись набок, на бойких и маленьких лошадках мяли полынь гонцы.

— Собирайтесь!

Сидели, поджав ноги, богатые, прихлебывали чай из китайского фарфора, обсуждали, что надо делать. Из углов юрт благословляли их, непонятно улыбаясь, медные божки. Взвизгивали снаружи злые жеребцы.

Началось запугиванье бедняков-коммунаров. Где угрозой, а где лаской старались отговорить их, сманивали выйти. Пошли нехорошие толки про Асадаева, организатора коммуны. Толки росли, разливались. Общественное мнение коммуны становилось враждебным ему. И когда Асадаев вернулся после летнего отпуска, то узнал: общее собрание сняло его с работы, выбрав другого председателя коммуны.

Однако и новый не понравился кулакам. Через полтора месяца убрали и его, поставив своего, более надежного. Недолговечен был и третий председатель. Его сместила уже сама партия за связь с классово чуждым элементом.

В ноябре 29-го года приехал в коммуну Гыргесов.

В местности Зумбие, где сейчас коммуна, стояло среди степи всего пять юрт. Колхозники не знали ни столов ни стульев. Деревянные блюда, дымясь вареной бараниной, возвышались прямо на полу. Ели пальцами, слизывая с них сало и долголетнюю грязь. Мыло не было известно. Бурят носит одежду до тех пор, пока она, истлев, не свалится сама с плеч. Старуха, похожая на смерть, с прогнившим носом, прислуживала Гыргесову. Во всем сомоне было только два кандидата партии.

Эту ночь Гыргесов не спал. Было холодно, он лежал на голых досках в дохе и пимах и думал. Он думал пять часов. Безносая старуха храпела и шлепала губами.

— Нет, нельзя работать в таких условиях,— думал Гыргесов: — Невозможно работать...

Лиловый рассвет нащупал оконце юрты, снаружи заржала иззябшая лошадь.

— Но для чего же тогда существуем мы, большевики? Если у нас опускаются руки, значит нам грош цена...

Утром он созвал общее собрание.

— Вы живете плохо,— сказал Гыргесов.

— Ю,— согласились сидящие на корточках коммунары.

— Вы живете грязно. Так нельзя жить свободному буряту, о котором заботится советская власть. Стыдно так жить.

— Нухур Гыргесов,— сказал почтенный старик в мандаринской шапке, снимая с кадыка крупную вошь: — Твои слова дышат мудростью, ты большой начальник, но мы живем так, как жили отцы. Счастье не в том, грязное или чистое тело у человека. Надо, чтобы душа была чистой. Так учит святой Шакья-Муни.

Спорили долго. Наконец выбрали санитарную комиссию. В трехдневный срок решено было вымыть полы во всех домах. Через три дня Гыргесов осмотрел полы и сказал:

— Плохо вымыли. Надо снова.

Женщины не умели мыть полы. Им показали. Гыргесов осмотрел вторично, похвалил.

— А почему посуда грязная? Надо тоже вымыть.

— Ухей, нухур Гыргесов,— отказались колхозники,— мы не будем мыть. Мы никогда не моем. Зачем это?

Было созвано общее собрание. Прошло несколько ожесточенных часов. Посуду решили мыть. Вымыли. Тогда Гыргесов оглядел засаленные тырлыки собравшихся.

— Надо стирать белье, товарищи. Нельзя больше быть такими, как в старое время... Не хотите? Почему не хотите?

Было созвано общее собрание. Шумело собранье:

— Мы не умеем стирать, — кричали женщины.

— Если мы будем стирать — белье износится скорее. А ты дашь нам новое?

— Чем мы будем мыть белье? Где мыло?

Мыла, действительно, не было.

— Я научу вас, — сказал Гыргесов.

Из золы и пепла он добыл щелок. Щелоком и стирали. Обучал стирке Гыргесов.

Потом он выделил трех столяров. Они сколачивали столы и табуреты для коммуны.

Было это всего только в конце двадцать девятого года.

Получали такие письма:

«Дорогие товарищи! Я хочу быть с вами. Примите меня в коммуну. Я принесу вам большой пай. Я дам вам 750 моих коров, 139 лошадей и более 1000 баранов и коз.

Я вижу, как выгодно быть с вами. Мне не дают мануфактуры в кооперативе, а вам дают. Мне говорят: ты лишен голоса, ступай, покупай у торговца.

Примите меня и Будда наградит вас».

Большим паем не соблазнились.

Первым делом надо было создать партийную ячейку, облепить это ядро активом. Немало стоил это Гыргесову, пока добился. Теперь можно было бороться с кулаками.

Горячие настали дни. Пахло фронтом.

— Вас насильно загнали в коммуну,— уговаривали бедноту лукавые монахи из дацана, перебирая нефритовые четки. —Вы знаете, братья, сам главный начальник коммунистов говорит, что надо выходить из колхозов.

Нойоны и зайсаны созывали тайные собрания:

— Надо сделать в коммуне чистку. Исключить всех активистов — это плохие люди, которые кричат больше всех и работают меньше всех. Это — злобные быки, бросающиеся на всех с рогами.

Коммуна шаталась. Споры, ссоры, нелады. Неблагополучно было и среди самого актива. Один из лучших, казалось бы, активистов, батрак Очиров, оказался ламой, секретарем духовного совета гусино-озерского дацана. Он сознался: монастырь послал его сюда для того, чтобы посеять раздоры и развалить коммуну.

Открытый бой развернулся вокруг внутриселенного передела земель в сомоне.

Кулаки нажали. Масса была ими обработана. Воздух накален. Страсти бушевали.

Собрание решило:

— Передел земли, хоть это и постановление правительства, — не производить. Пусть ламы тоже получат наделы. Только тогда согласны на передел. На выборные должности не допускать ни партийцев, ни комсомольцев, ни колхозников.

Когда заговорили приехавшие на собрание Гыргесов и представитель обкома, их встретили криком, злобными лицами, воем. Толпа, разжигаемая богатеями, притиснула их к стене. Гыргесов и обкомовец вынули револьверы. Отстояла беднота. Она же потом провела земельный передел.

Особенно много было шума в коммуне, когда поставили вопрос об оплате и о неделимых фондах.

Раньше оплата труда производилась пропорционально паям. Зажиточный, отдавший в коммуну сто голов скота, получал сто частей платежной единицы. Понятно, кому это было выгодно. Когда коммуна решила перейти на поденную оплату труда, кулаки заволновались.

Они отстаивали прежнюю систему оплаты.

Они были против отчисления в неделимый фонд коммуны.

Они протестовали против организации общественной столовой.

Но к этому времени в коммуне уже имелось крепкое, надежное ядро из партийцев, активистов, бедноты. Теперь уж можно было дать решительный бой. Поденщина, оплата по семиразрядной тарифной сетке, была все же проведена в жизнь. Скоро сделали социальную чистку. Решительную. За бортом коммуны ока-

залось 13 зажиточных и кулацких хозяйств. Остались: середняцких—84, бедняцких—145, батрацких—12.

Коммуна, наконец, зажила более спокойной и здоровой жизнью.

Сейчас партийная прослойка настолько крепка, что часть членов партии и комсомольцев можно перебросить за пределы коммуны без ущерба для нее.

Так выделены на руководящую работу в Селенгинском аймаке 22 партийца-коммунара: 7 человек на кооперативной работе, 15—во главе вновь созданных колхозов.

Коммуна Сталина руководит шестью сел.-хоз. артелями и двумя тоозами — товарищества по общественной обработке земли.

Загустайский сомон коллективизирован сейчас на 93%. Вместе с соседними русскими коммунами «Авангард» и «Большевик» и бурятской — «Хубисхал» (Революция), коммуна им. Сталина является самым подходящим районом для организации здесь могучей межселенной машинно-тракторной станции.

Новые стальные эскадроны двинутся по степи — сотни интернационалов, джон-диров, катер-пиллеров. Рокот и лязг комбайнов зазвучит над равнинами Тамерлана.

Издательством, кажется, «Крестьянская газета» выпущена достаточно устарелая книжка о коммуне Сталина.

— Это все беллетристика, — сказал Гыргесов, перелистывая ее.

Но кроме «беллетристики», которую председатель коммуны, очевидно, не слишком уважал, в книжке оказалось много путаницы, а то и политически непродуманных сведений. Автор писал о революционной доблести бурят, первыми якобы начавших партизанскую войну против Колчака (!?). Подробно рассказывал, как в часы отдыха скачут коммунары по полю и стреляют в цель из лука. (Почему-то я этой экзотики не наблюдал). Агент контрреволюционного ламства Очиров превратился в сознательного, крепкого активиста, на сто процентов светлую личность.

Соседние русские коммуны, первые давшие коренному населению пример практической коллективизации и помогшие сталинцам, обвинялись автором чуть ли не в великодержавности и шовинизме.

Ничего не сказано о ламстве — злейшем противнике коллективизации.

Все это не только — «беллетристика».

Быт.

Надо было приучать к вилке. К чистой тарелке. Сидеть за столом.

Сейчас в общественной столовой девчата в нарпитовских белых, довольно чистых халатиках разносят алюминиевые миски. В мисках похлебка из серой лапши, картошки и мяса. После похлебки ставятся на стол большие медные чайники с чаем, заранее забеленным молоком. Куски рафинада. Хлеб — кило на день.

Это ежедневное меню. Утром, в обед и вечером.

Похлебка стоит 30 коп., чай — 15.

Овощей и круп в коммуне нет. Мяса маловато. В «Большевике» питаются обильнее и слаще.

Врач-женщина, русская, говорила мне:

— Нельзя найти санитарок, нянь для яслей. Не имеют элементарных понятий о гигиене. Не умеют мыть и стирать.

40—50% венериков. Застарелые формы обычно почти не лечатся — и медикаментов, и времени нет. Только что заболевших отправляют из коммуны в Тамчу и Орангой — там есть больница. Скоро будет работать передвижной вендиспансер.

Из четырнадцати обследованных ребят девять оказались болеющими трахомой.

А вместе с тем — очень мнительны. Живот заболит — идут к врачу. Ежедневно через медпункт проходит до 40—50 человек. С благоговением глотают касторку и порошки...

В яслях до 30-ти ребят, начиная от шестимесячних. Матери отдают детей охотно.

Очень жадно и охотно принимают всякое нововведение. Хотят жить по-новому, по-хорошему. Семена культуры падают на тучную, девственную почву. Живут — дружно, спаянно. Понятие «мое» исчезает, заменяясь словом «наше». Превращаются в одну большую трудовую семью.

Животноводческое хозяйство.

Пока еще обобществленные скотные дворы далеки от требований европейской агрономии. Но если вспомнить, что Забайкалье вообще не знало хлева (скот жил лето и зиму под открытым небом, прячась от буранов за подветренной стороной юрты), то и эти теплые сараи являются большим шагом вперед.

У коммуны 2300 коров и телят, — из них 700 дойных, 312 рабочих лошадей. Овец и коз — 11 000. Производится улучшение местной овцы,

скрещивание ее с мериносами. Из указанного количества — 4500 метисов первой генерации.

Скоро вырастут образцовые скотные дворы.

КОММУНА — СОВЕТСКОМУ ГОСУДАРСТВУ

Задание по хлебозаготовкам на 1930-31 год было выполнено в размере 126% плана. Коммунары дали 1892 центнера зерна. Заданий по мясу на этот год вовсе не было. Однако сами сталинцы, по своему почину, дали 439 голов крупного рогатого скота, 650 овец, 302 козы. Всего на сумму около 20 000 рублей.

Шерсти сдали 53 центнера — 130% задания.

...К трактору прикрепляют две сеялки. Он дожидается, добродушный ворчун, отдуваясь пахучим дымком из выхлопной трубы. Ряды черных дисков, из которых посыплется в борозду зерно, висят у самой земли.

Рты сбежавшихся ребятишек раскрыты. Халатики — сини и коричневы. Лбы блистают бронзой.

Тракторист в комбинезоне ставит рычаг на первую скорость, привычно кладет руки на дужку руля. Окуляры скрыли монгольский разрез глаз. Точно такой же тракторист, как тот, что работает на ферме в штате Иллинойс, и что в совхозе Среднего Поволжья.

Современный интернациональный пролетарий.

Визжа и ухая от восторга, бегут за трактором мальчишки...

Неужели всего в нескольких километрах отсюда монахи в красных мантиях исступленно бьют в барабаны перед позлащенным, сидящим на лотосе идолом?..

Гейнрих Брюнинг

Н. Корнев

Жаркий летний день 1913 г. Улицы в центре Берлина переполнены толпой разряженных бюргеров, мелких буржуа, отставных чиновников и офицеров, разночинцев. Лишь изредка встречаются в этой толпе люди, очевидно, принадлежащие к рабочему классу. Рабочие явно насмешливо и недружелюбно относятся к тому поводу, который вызвал это и для многомиллионного города необычное стечение народа в нескольких кварталах. О необычайности события, привлекшего любопытную и глазеющую толпу, свидетельствуют и усиленные наряды полиции. Речь идет о торжественной встрече последнего русского царя Николая Романова, приехавшего к последнему германскому императору Вильгельму в гости на свадьбу дочери последнего. Правящая императорская клика принимает все меры, чтобы многолюдные толпы бюргеров и чиновников изображали из себя германский народ, приветствующий дружескую встречу двух императоров, Вилли и Никки, но в то же время эта клика опасается, чтобы рабочие, чтобы трудящиеся массы Берлина не выразили своих чувств по адресу русского царя. Поэтому столько полиции на улицах Берлина. Поэтому толстые шуцманы стоят лицом к толпе, из которой они готовы немедленно же извлечь крикуна, который осмелится провозглашать что-либо неприятное по адресу русского царя, или арестовать того, кто, быть может, сделает жест, внушающий подозрение, что готовится покушение на драгоценную жизнь державного «друга» германского императора.

Однако, как известно, все прошло благополучно. Процеженная старательно толпа, изображавшая германский народ, приветствовала положенное число раз русского царя. На следующий день умиленный бюргер мог прочесть в своей газете, что прием русского царя в столице Берлина доказал своей сердечностью, что налицо не только историческая дружба двух императоров, но и двух великих народов. А меньше чем через год между Германией и Россией вспыхнула кровопролитнейшая из войн.

Никто, конечно, не знает, вспоминал ли эти дни встречи двух императоров, из которых один казнен освобожденным народом, другой пребывает спокойно милостью германского верноподданнического социал-фашизма в голландском городке Доорне и стрижет купоны с капитала в полтора миллиарда марок, — никто не может проверить, думал ли об этой любопытной исторической параллели в последние дни сентября 1931 г. берлинский полицей-президент, социал-фашист Гржезинский. По-настоящему он должен был вспомнить об этих днях, ибо мы знаем из сообщения архибуржуазной «Дейтче Альгемейне Цейтунг», что организация охраны двух весьма почетных гостей германского правительства, французского министра-президента Лаваля и его министра иностранных дел Аристида Бриана, пан-европейского миротворца, была целиком списана с планов охраны драгоценной персоны русского царя. Из французских источников мы знаем, что охрана французских министров в пути, пока они находились на германской территории, тоже напоминала охрану царских поездов в дореволюционное время, когда даже мерный стук колес не мог заглушить галлюцинации взрыва бомб, подкладываемых под специальный поезд. Корреспондент руководящего органа английской буржуазии «Таймс» утверждает, что у вокзала в Берлине собрались встречать друзей германского канцлера Брюнинга—Лаваля и Бриана одни полицейские и шпики в штатском, да их родственники и друзья. «Берлинер Тагеблатт» утверждает, что толпа состояла из членов разных пацифистских организаций и известной «республиканской» социал-фашистской организации «Имперского флага» (Рейхсбаннера).

Этот исторический день посещения Берлина французскими министрами вплоть до аудиенции у президента—фельдмаршала Гинденбурга,

которого, как известно, Франция поставила во главе списка «военных преступников», подлежащих выдаче, и посещения опять-таки в сопровождении полицейских в форме и штатских шпиков Штреземана — все это является таким же торжеством политики примирения и соглашения с Францией, которую проводит нынешний канцлер Гейнрих Брюнинг, каким последнему Вильгельму казалось посещение германской столицы последним же русским царем. И кто знает, быть может, председательствуя на совещании французских и германских министров в историческом зале рейхсканцлерского дворца, Гейнрих Брюнинг вспоминал, что один из вожаков социал-фашизма недавно назвал его «лучшим германским канцлером после Бисмарка»: ведь именно в этом зале происходили заседания Берлинского конгресса, на которых председательствовал Бисмарк и этим афишировал великодержавность молодой империалистической Германии!

Уже, во всяком случае, не мог даже потенциально думать о близости Гейнриха Брюнинга к «железному канцлеру» Бисмарку всего только двенадцать лет тому назад известный германский прелат, один из влиятельнейших отцов церкви в Германии — Карл Зонненшейн. Тот сидел, вероятно, летом 1919 г. в своем кабинете, заваленном книгами по богословию и социологии, и думал о том, какого замечательного сотрудника послала ему воля божия, все претворяющая во славу католической апостолической церкви, в лице молодого доктора философии Гейнриха Брюнинга. Наш прелат особенно любовно, вероятно, смотрел при этом на огромную картотеку, составленную Брюнингом и содержащую исчерпывающие данные о представителях различнейших политических и профессиональных организаций Германии, находящихся под прямым или косвенным влиянием и руководством католической церкви. Прелат Зонненштейн не напрасно изучает не только отцов церкви, но и основоположников и комментаторов той еретической науки, которая называется марксизмом и которая учит о классовой борьбе, подменившей в наш греховный век любовь к ближнему. Прелат с умным аскетическим лицом не пропускает ни одного более или менее интересного народного собрания, даже тех, которые созываются безбожниками-социалистами, и учит своего секретаря Брюнинга усердно посещать эти собрания, ибо как ни велик опыт католической церкви в деле управления массами, пути господни неисповедимы и надо учиться и молиться всю жизнь. Конечно, бог построил один из лучших миров, но люди допускают в дальнейшем оформлении этого мира много ошибок, и недаром в 1891 г. с высоты папского престола наместником Христа на земле, Львом XIII, в энциклике «de rerum novarum» (о новых вещах) были провозглашены тезисы о том, как надо с помощью католического вероучения стать церковным средостением между трудом и капиталом, чтобы не дать ниспровергнуть тот, богом установленный порядок, при котором существуют хозяева и работники. Первым советуется не злоупотреблять своим богатством, вторым помнить, что не о хлебе едином жив человек и что им обеспечено царство небесное. Учение о любви к ближнему остается в силе, учение же о классовой борьбе об'являетcя богопротивным и мерзким.

Прелат и ученый доктор философии Зонненштейн потрогал задумчиво четки и вспомнил историю борьбы католической церкви с социалистическим лжеверованием и учением. Он вспомнил все то, что он говорил на этот счет своему молодому ученику и секретарю Гейнриху Брюнингу и с удовлетворением еще раз про себя констатировал, что этот молодой человек, который в свое время так преуспевал в науках, а затем так отличился на войне, подает все надежды стать и в политике добрым солдатом католической церкви. Еще неизвестно, когда именно понадобятся католической церкви и ее партии такие люди, как Брюнинг? Но прелат с удовлетворением подумал, что велик выбор смены в партии центра, благодаря той многовековой традиции, которая через раннее христианство, прозелитизм, набор воинствующего духовенства и монашества, как нерасплесканную чашу, принесла католическая церковь в партию центра. Именно поэтому эта партия и пользуется таким благоволением германского промышленно-финансового капитала, давно сообразившего, какие самые разнообразные социально-политические заказы способна выполнять эта католическая партия центра, достойным членом которой стремится наш прелат сделать Гейнриха Брюнинга.

Карл Зонненшейн, вероятно, еще раз с внутренним удовлетворением посмотрел на составленную молодым Брюнингом картотеку и вспомнил, как партия центра стала одной из крупнейших германских политических партий и как ей пришлось с первого же момента германской республики поставлять на благо всей германской «нации» министров самого разнообразного оттенка. В самый момент революции,

когда пришлось перекраситься в защитный цвет «демократии», центр быстро сдал в архив и политический резерв тех своих реакционных вожаков, которые пытались спасти падавшую в историческое небытие императорскую Германию, и выдвинул на первый план таких политиков, как Эрцбергер, которые представляли «взбунтовавшихся мелких буржуа» и во многих вопросах были куда радикальнее социал-демократов, руководимых Эбертом и ненавидевших не только революцию, но и «демократическую» республику, как грех. Но как только в Германии был отражен первый напор революции, когда было контрреволюционными войсками Носке разбито восстание спартаковцев в Берлине, революционное восстание в Средней Германии, когда белогвардейские генералы, социал-фашистские вожаки и католические попы прошли огнем и мечом карательных экспедиций промышленные районы Германии и наступило упокоение, при котором можно было уже с улыбочкой говорить о «марше социализма», центр выдвинул на первый план более знакомых крупной буржуазии политиков. Членами германского и прусского правительств от партии центра стали политики, сохранившие и восстановившие тесную связь с промышленниками и банкирами. Центр и в годы «штурм унд дранга» германской республики защищал только интересы монополистического промышленно-финансового капитала, но тогда он делал вид, что прислушивается к стенаниям разоренной войной и послевоенными тяготами мелкой буржуазии, крестьянства, что он хочет сохранить или даже поднять жизненный уровень рабочего класса, что он хочет, одним словом, дать демократической германской республике соответствующее социальное содержание. Теперь же, в момент успокоения, центр стал официальным представителем интересов промышленно-финансового капитала. На первый план вышли «благодетели» этой монастырской по психологии и организации партии, промышленные бароны из прирейнских областей, крупнейшие помещики из Силезии и Померании, старые выслужившиеся до чина тайного советника бюрократы вильгельмовских времен. Но как только в истории Германии в связи с нажимом версальских держав, в связи с попыткой германской буржуазии переложить всю тяжесть контрибуции на трудящиеся массы и с одновременной попыткой еще удесятерить под репарационный шум свою сверхприбыль, как только в истории этой многострадальной страны открылась новая глава обостренной классовой борьбы, центр снова спрятал, как в представлении итальянских бродячих комедиантов, своих реакционеров и выдвинул на первый план своих «демократов». Прелат Зонненштейн, любящий делиться с молодым Брюнингом своими беседами в великосветских и банкирских политических салонах, рассказал ему как-то, что греховные люди любят сравнивать центр с картой «джокер» в игре в покер. «Джокер», как известно, заменяет в этой азартной игре любую карту и с остальными картами составляет любую комбинацию. Так и центр вместе с социал-демократами и демократами может составить левую, с националистами и народной партией правую коалицию. Велик выбор политиков на тот и другой случай в партии центра. Как говорится по-немецки: велик зверинец господа бога!

Поэтому любой более или менее способный член партии центра может держать наготове свой портфель, который может превратиться в министерский портфель так же быстро, как во времена Наполеоновских войн в ранце каждого солдата оказывался маршальский жезл. Разве знает бесшумно падающая четка, когда ее сбросят, и разве знает она, какая рука ее направляет? Это сравнение четок с членами партии центра, вероятно, нередко фигурировало в беседах прелата Зонненшейна с молодым Брюнингом. Никто не может знать, когда на нем, смиренном сыне католической церкви и дисциплинированном члене партии центра, остановится указующий перст того коллективного руководства, которое в центре составляется из нескольких прелатов церкви, промышленных баронов прирейнских областей и крупнейших помещиков Силезии. Быть может прелат Зонненшейн имел дар предвидения и мог предугадать, например, какое глупое лицо сделает депутат центра Вирт, когда его вдруг сделают министром финансов? Наверно можно сказать, что эта историческая сценка произвела огромное впечатление на Брюнинга, ибо тогда он понял, как верно утверждение его учителя Зонненшейна, что за католической церковью и партией цетра молитва и покорное усердие не пропадают. Эта сценка так красочно иллюстрирует «естественный» подбор политиков и министров — вождей партии центра, что ее стоит здесь воспроизвести. Дело происходило в 1920 г. во время скандального политического кризиса, вызванного падением министра финансов, одного из самых выдающихся деятелей партии центра того времени Эрцбергера. Авторитет партии центра был сильно потрясен, стоном стоял крик о политической и бытовой коррупции в молодой «демократической» рес-

публике. Между тем, центру не хотелось сознаваться в своем поражении, не хотелось к тому же выпускать из рук «ключевой» позиции в виде министерства финансов. Решено было поэтому поставить во главе этого министерства политика, имя которого звучало бы приемлемо для масс, в происхождении и карьере которого был бы залог незапятнанной репутации. Депутат Иосиф Вирт, только что променявший должность скромного сельского учителя в католическом Бадене на звание депутата рейхстага, не мог и мечтать, что вожди партии центра именно на него наложат послух министра финансов в это тяжелое время. Наоборот, никто не интересовался даже его мнением в разгар политического кризиса, и добродушный здоровяк-южанин решил воспользоваться свободным от заседаний парламента и фракций временем и хорошенько всхрапнуть на одном из весьма располагающих ко сну уютных диванчиков кулуаров германского рейхстага. Здесь он безмятежно почивал, пока его не разбудил один из вождей его партии и, смеясь, вероятно, в душе над сонно-глупым и растерянным видом новоиспеченного имперского министра финансов, сообщил ему о том высоком доверии, которым облекла его назначением на этот высокий пост партия. К сожалению, неизвестно, сделал ли более умное лицо наш Гейнрих Брюнинг, когда девять лет спустя при избрании вождем партии прелата Кааса, последний заявил, что он примет избрание только в том случае, если ему в ближайшие помощники в качестве председателя парламентской фракции партии центра будет дан молодой депутат Гейнрих Брюнинг, о существовании которого знали до этого только специалисты по налоговым вопросам.

Но мы несколько забегаем здесь вперед, ибо в 1919 г., когда Гейнрих Брюнинг служил личным секретарем у прелата Зонненштейна, «выдвиженцами» партии центра были не Вирт и не сам Брюнинг, а политики типа тогдашнего прусского министра народного благосостояния (собеза), затем вождя христианских профсоюзов и нынешнего ближайшего соратника канцлера Брюнинга в качестве министра труда — словом типа Адама Штегервальда.

Адам Штегервальд представляет в центре, этом эклектическом и синтетическом сколке со всех германских буржуазных политических партий (включая, конечно, и социал-фашистскую партию), так называемое рабочее крыло, т. е. политическое представительство католических рабочих, об'единенных в так называемых «германских профсоюзах», составляющих фактически разновидность социал-соглашательских, реформистских «свободных» профсоюзов. Совершенно неслучайно, что в момент очередного обострения классовой борьбы взор прелата Кааса остановился на Брюнинге, ибо нынешний канцлер вышел в конечном счете из этого христианского профессионального движения, вышел из-под профбюрократической полы Штегервальда, как многие социал-фашисты вышли из-под полицейской шинели Носке и Зеверинга. Не надо забывать, что политический аппарат германского монополистического капитала все послевоенное время и составляет этот беспримерный контрреволюционный синтез из знатоков полицейского сыска и охраны, какие имеются в лице перенятого от императорской Германии аппарата полицейского государства, старой контрреволюционной армии (вернее, ее рейхсверовских остатков, сохранившихся для борьбы с внутренним врагом, т. е. революционным движением) и новой контрреволюционной армии из профбюрократов самого разнообразного калибра, искушенных в понимании малейших движений рабочего класса, знающих его желания и настроения и умеющих говорить на понятном рабочим массам языке. Иногда полицейский опыт и опыт профбюрократа дает в одном лице замечательных представителей, олицетворяющих всю государственно-административную систему современной Германии (прусские и вообще германские полицей-президенты из социал-фашистского, вернее, реформистско-профбюрократического лагеря). Тогда, в 1929 г., социал-фашиста Зеверинга в роли прусского министра полиции дополнял католический профбюрократ Штегервальд. На том перевале обостренной классовой борьбы такая спаренная политическая езда социал-полицейского и профбюрократа была уже в Германии политическим бытовым явлением.

Вот этот то Адам Штегервальд и прислал поздним летом 1919 г. одного из своих директоров департаментов Бракта к прелату Зонненшейну с просьбой рекомендовать ему из своей паствы личного секретаря. Прелат несколько поколебался и затем уступил министру своего собственного секретаря Гейнриха Брюнинга. Этим он, несомненно, толкнул своего любимца на путь политической карьеры, а не духовной или философско-филантропической, как думал раньше определить свое жизненное призвание бывший офицер пулеметной команды Брюнинг.

Гейнрих Брюнинг родился в зажиточной торговой, бывшей кулацкой семье в Вестфалии (в 1885 г. в Мюнстере). Там и кулаки какие-то особенные: это даже в германском масштабе настоящие помещики, живущие сытой привольной жизнью. Недаром самой лучшей ветчиной в Германии считается вестфальская ветчина, а ведь Германия — родина колбасы и ветчины. Вестфальцы не очень любят сами трудиться. На их красных здоровых лицах видны не только следы солнечного загара полей и пота, но и огромных количеств выпитого вина и тяжелого вестфальского пива. Их шутки и забавы грубы, — про вестфальцев никто не скажет, что они происходят из народа «поэтов и мыслителей». Они любят примитивные радости жизни: нигде нет в Германии такого количества драк, скандалов, незаконнорожденных детей, нигде попы сами не напоминают так кулаков (все круглые красные лица), как в Вестфалии. И нигде у кулака-помещика нет такой тяги к отходу от земли, к переходу к более легкой торговой наживе, как опять-таки в Вестфалии, откуда вышли целые поколения германских купцов и торговцев. Не по-крестьянски ловкие, поворотливые и сметливые вестфальцы (германские «ярославцы» довоенного времени в России) при первой возможности перестают обрабатывать землю, возделывать виноград и начинают торговать вином. Тем более, что огромные кулацкие деревни в процессе роста расположенной в Вестфалии промышленности органически сливаются в города. Так и отец Гейнриха Брюнинга сравнительно рано бросил свое крестьянство, стал виноторговцем после того, как ему удалось скопить небольшой капиталец в кулацком чулке. Виноторговцем он свой капиталец превратил уже в солидный капитал, пользуясь тем покровительством, которое оказывали богобоязненной семье Брюнингов столь многочисленные в Вестфалии католические монастыри и католические организации.

Брюнинг-отец стал домовладельцем, «отцом города», вообще одним из столпов общества. И умер, обеспечив семью, хотя и сравнительно небольшой, но крепкой пожизненной рентой.

Из нелюбви вестфальских кулаков к земле, из взгляда на землю, как обыкновеннейший предмет эксплоатации, рождается их стремление сыновей при первой возможности освобождать от зависимости от земли. Вестфалец еще больше, чем баварец, мечтает сделать сына попом, адвокатом, на худой конец инженером или врачом. Лучше всего, конечно, сделать сына философом или юристом, ибо это с помощью католической церкви и партии центра открывает дорогу к политической карьере, к разным теплым местечкам не только для удачливого сына, но и для всей семьи и родни. Брюнинг-отец имел двух сыновей: старшего он отдал в духовное училище, и этот брат будущего канцлера стал довольно быстро известным католическим прелатом, распространявшим христову веру в колониях, создававшим связи между германскими и французскими католиками до и после войны, словом, одним из тех воинов-политиков в рясе, которых так много в Германии. Нынешнего же канцлера его отец пустил по юридической части. Гейнрих Брюнинг еще студентом был типичным представителем дегенерирующей в городе крестьянско-кулацкой семьи. Худой, бледный, рано испортивший себе зрение и потому закрывающий утомленные глаза очками, не имеющий собственной воли и не находящий долго себе места в жизни, без особого увлечения изучающий любые науки и старательно откладывающий окончательный выбор призвания или занятия, будущий канцлер Брюнинг, по свидетельству его товарищей по университетским аудиториям, бесшумно передвигался по мрачным коридорам исторических провинциальных университетов Германии. Любопытно, что товарищи Брюнинга уже тогда отмечали в нем, что-то иезуитски-ханжеское. Брюнинг казался им не обыкновенным германским студентом, веселым буршем, а переодетым в штатское послушником монастыря, семинаристом. Все товарищи Брюнинга уже тогда отмечали в нем обыкновенное трудолюбие, терпение, но полное отсутствие оригинальных мыслей, буйных запросов, столь свойственных именно молодым студентам. Брюнинга материальная обеспеченность освобождала от необходимости торопить окончание своего образования, он несколько раз менял университеты и факультеты: в Мюнхене он слушал лекции на юридическом факультете, затем он перешел в Страсбург, где учился философским наукам, побывал в Берлине, где слушал лекции по истории.

Для таких маниловских ростков на некогда крепком, а теперь иссыхающем от перенесения на непривычную другую почву буржуазном дереве типично, что они после долгого раздумия и колебания затем выбирают себе совершенно неожиданные «цели жизни». Молодой Брюнинг долго колебался быть или ему учителем или юристом-чиновником и вдруг решил, что основная цель его жизни, обеспечен-

ной вообще небольшой отцовской рентой, написать биографию малоизвестного английского поэта и философа XIX века Вальтера Горация Патера, несколько напоминающего в романтических исканиях голубого цветка германского поэта Новалиса. Конечно, мир не потерял ничего от того, что Брюнинг биографии Патера так и не написал, хотя и ездил со специальной этой целью в Англию. Впрочем тетушки-сплетницы из семьи Брюнингов, очень недовольные тем, что Генрих никак не мог себе выбрать призвания или ремесла, тогда утверждали, что будущий рейхканцлер уехал на несколько лет в Англию только для того, чтобы не сдавать государственных экзаменов, после которых ему все-таки пришлось бы окончательно самоопределиться. Но в 1911 г. Брюнингу пришлось взять, наконец, аттестат, дававший ему право стать учителем гимназии. Учителем гимназии Брюнинг не стал: он уехал опять за границу, на этот раз во Францию — семья Брюнингов была давно связана дружбой с французской семьей в Нормандии — под предлогом необходимости изучить французский язык.

Гейнрих Брюнинг прожил некоторое время в Нормандии у знакомых, а затем у своего брата, который был в это время французским кюрэ, и вместе с братом переселился он потом в Англию, где он впервые заинтересовался политикой: Брюнинг внимательно наблюдал нравы и обычаи английской «демократии» и мечтал о том, как их пересадить в родную Германию. Он тогда еще не мог, конечно, знать, что к тому времени, когда он станет действительно заниматься политикой, не английские нравы найдут себе место в Германии, а, наоборот, германские в Англии, и не он, Брюнинг, будет подражать английской «демократии», а наоборот, глава английского «национального» правительства — Макдональд будет итти по его, Брюнинга, стопам и издавать на брюнинговский манер чрезвычайные декреты.

Взрыв мировой войны освободил Брюнинга от забот о выборе какого-нибудь занятия. Война поставила на свое место многих таких «брюнингов», имевших небольшую ренту и не находивших в капиталистическом хозяйстве категорического императива для того, чтобы трудиться, чтобы заниматься чем-нибудь общественно полезным. Такие проблематические фигуры, которые хотят, чтобы какая-то высшая сила устанавливала за них регламент и распорядок жизни, давала им раз навсегда наметку и план, обрадовались войне, во время которой полевой устав и распоряжения командования освобождали мозг и сердце от обязанности думать и чувствовать. В той небольшой биографии Брюнинга, которую недавно опубликовал некий Беер[1] и из которой мы и берем, главным образом, все фактические данные жизни канцлера Германии, приводятся письма Брюнинга с фронта. Любопытные письма: из них веет на нас своеобразным спокойствием и удовлетворением. Не то, чтобы человек обрел свое призвание, открыл в себе какие-то особые качества вояки или профессионального солдата. Нет, просто автор этих писем доволен, что он нашел себе место в жизни, что он знает, что можно и чего нельзя, что его мечтания и волнения введены в какие-то реальные рамки. Совсем нет ничего удивительного в том, что слабенький телом и духом, глубоко верующий и католически дисциплинированный в этой вере Брюнинг выбирает себе на фронте ремесло пулеметчика. Здесь он как бы тренируется к своей будущей политической деятельности и одновременно обнаруживает свои основные политические черты: умение ждать и выжидать, умение спокойно смотреть на приближение противника и хладнокровно ударить в последнюю или, вернее, в предпоследнюю минуту.

Биограф Брюнинга приводит отзывы начальников молодого лейтенанта-пулеметчика. Все они в один голос утверждают, что никто не умел так хорошо, как Брюнинг, выбирать засады или прикрытия, из которых можно было бы спокойно наблюдать все движения противника, что никто не умел так хорошо, выдержанно и спокойно ждать, пока штурмующие колонны неприятеля приблизятся на такое близкое расстояние к пулемету, что он, пущенный, наконец, в ход, даст максимальные потери противника. Представьте себе живо эту изможденную ночными бдениями, молитвами и философскими размышлениями о человеке, боге и жизни фигуру с типично иезуитским лицом, усталыми глазами, защищенными очками, посмотрите, как этот человек, притаившись, ждет приближения неприятеля и высчитывает секунды, когда надо пустить в ход пулеметные ленты, и вам станет понятно, что такое Брюнинг и что такое представляет собой его политическая тактика борьбы с революционным движением.

---

[1] Rüdiger Robert Beer, Heinrich Brüning. B. 1931.

Окончание мировой войны на время опять оставило Брюнинга без твердого жизненного плана, на время опять заставило его думать самостоятельно. Брюнинг к этому вообще не привык, а за время мировой войны он отучился от самостоятельной мысли окончательно и поэтому он очень быстро находит себе новое начальство: он поступает на службу к прелату Зонненшейну и с этого момента начинается служба нынешнего канцлера под командованием вождей католической партии центра, начинается его служба по указке монополистического германского капитала на классовом фронте, на фронте борьбы с революционным движением.

Мы видели, как Зонненшейн передал, что называется, Брюнинга Штегервальду. Адам Штегервальд — вождь католических профессиональных союзов, вождь той мощной организации, которая расшатывает рабочий тыл, взрывает единый фронт борьбы рабочих против капитала изнутри.

Католические попы любят еще со времен наисвятейшей испанской инквизиции повторять, что их церковь боится крови (ecclesia sauguinem abhorret). Во времена Филиппа Испанского это, конечно, обозначало, что еретиков и грешников не расстреливали, а сжигали. В наши времена классовой борьбы между трудом и капиталом это обозначает, что католическая партия центра предпочитает брать трудящиеся массы тихой сапой, разбивать их сопротивление все усиливающейся эксплоатацией монополистического капитала, еще до того как массы выходят на улицу и приходится пускать в ход пулеметы. Из того факта, что нынешний канцлер был начальником пулеметной команды, никак не следует заключать, что он любит стрелять из пулемета, из этого только следует, что он умеет из него стрелять и знает, когда нужно пустить в ход пулеметную ленту. Но в его биографии сохранились следы того испуга молодого пулеметчика, когда он 28 октября 1918 г., т. е. в самый канун германской революции, получил из германской ставки секретный приказ, что он, как и другие начальники пулеметных команд, должен держать свою команду в боевой готовности на предмет выполнения в нужный момент плана «Х». В дневнике Гейнриха Брюнинга сохранилась сделанная хотя и не дрогнувшей рукой, но все-таки, очевидно, взволнованная запись-пометка: «План «Х» обозначает внутренние беспорядки».

Стрелять в «бунтовщиков» Брюнингу не пришлось. Наоборот, он, как и многие другие офицеры — выходцы из буржуазных семей, пошел путем примирения с новым режимом, путем приспособления к этому «республиканско-демократическому» режиму, убедившись в том, что итти в ногу с революцией, в особенности в ногу с эбертианцами и носкидами значит спасать ту священную частную собственность, которая так крепко защищается в папской энциклике и во всех творениях отцов церкви и защищать которую повелевает прежде всего оставленная отцом рента, позволяющая все еще откладывать выбор постоянного занятия. Брюнинг до того хорошо приспособился к новому режиму, что сорвавшие с других офицеров погоны солдаты избрали лейтенанта Брюнинга членом совета солдатских депутатов. В качестве уже выбранного начальника Брюнинг довел свою команду до того места на родине, где она демобилизовалась. Только классового чутья рабочих не мог, конечно, обмануть новоиспеченный демократ-пулеметчик, приготовлявшийся выполнять план «Х»: в дневнике Брюнинга отмечено, что за все время войны его нигде, даже в оккупированной Франции, не принимали так плохо, как его и его пулеметную команду приняли в том небольшом промышленном городе, где будущий канцлер окончательно снял офицерскую шинель. В прусской офицерской форме Брюнинг видел наивысший авторитет государства полицейского правопорядка: недаром он с удовольствием вспоминает о тех годах, когда он носил эту форму. Но еще с бо́льшим удовлетворением вспоминает он о тех месяцах, когда с помощью социал-демократов удалось избегнуть применения плана «Х», необходимости уже на фронте обернуть пулеметы против германского тыла. Из этих двух элементов, т. е. веры в непреклонный авторитет армии и ее все сметающую силу и в извечность социал-демократического, соглашательского умения разлагать при этой лобовой атаке армии на рабочий класс тыл трудящихся — из этой веры в рейхсвер и социал-фашизм, как два кита государственно-политической системы Германии, и слагается вся политическая программа Гейнриха Брюнинга. Школа прелата Зонненшейна и затем школа вождя христианских профсоюзов Адама Штегервальда только развернула это политическое миросозерцание Брюнинга, дала теоретическое обоснование и практические выводы тому, что молодой Брюнинг в момент германской революции почувствовал почти инстинктивно.

Особенно хорошую школу прошел Гейнрих Брюнинг именно под руководством Штегервальда сначала в роли его личного секретаря, а затем в качестве секретаря христианских профсоюзов, каковым Брюнинг сделался в 1920 г., в тот момент, когда Штегервальд, покинув прусское министерство, опять стал вождем этих профсоюзов. Здесь Брюнинг научился чрезвычайно важному в Германии искусству фракционных переговоров, умению создавать компромиссы, выводить за скобки связывающие различные политические партии и фракции общие пожелания, и не менее важному искусству доказывать никчемность и маловажность разделяющих эти партии и фракции разногласий и споров. Христианские профсоюзы (Deutscher Cewerkschatfsbund) никогда не были такой однородной по направлению и составу организацией, какой является, например, всегерманское об'единение реформистских (так наз. свободных) союзов. Католические профсоюзы представляют собой не менее пеструю амальгаму, чем и сама партия центра. Если в партии центра представлены все течения буржуазной политической мысли от наилевейшего демократизма до самого черного реакционерства и последовательнейшего представительства интересов монополистического промышленно-финансового капитала, то в христианских профсоюзах в свою очередь представлены все виды профессиональных и культурно-просветительных организаций, которые только знает Германия, все виды представительства интересов самых разнообразных «получателей зарплаты» (Lohnempfänger). Здесь сливаются под сень матери-церкви союзы рабочих, об'единения служащих и ферейны государственных чиновников. Во главе всех этих организаций стоят политики и профбюрократы самых различных оттенков и мастей. Секретарь общего об'единения Брюнинг должен был учиться маневрировать среди этих политиков и профбюрократов, должен был наловчиться брать у каждого вожака и каждой организации только ту крупицу, которую можно было бросить в общий политический котел, в котором варится та эклектическая политическая и социальная программа германского монополистического капитала, пытающегося какнибудь прожить без официальной военно-фашистской диктатуры (sich durchwursteln по непереводимому германскому выражению) до того момента, когда сопротивление трудящихся беспрерывному увеличению нагрузки, вызываемой стремлением этого монополистического капитала сохранить в сохранности всю свою сверхприбыль и при этом взвалить на трудящиеся массы все репарационные тяготы, приведет к такому резкому классовому столкновению, что придется привести в исполнение старый план «X» и пустить в ход пулеметы военно-фашистской диктатуры. Эта работа по профессиональной линии была для Брюнинга замечательной школой по обучению германской политике вообще. Она была для него тем более полезной, что нигде, как в христианских профсоюзах, идущих в предательском удушении стачек и вообще экономически-политического сопротивления рабочего класса гнету монополистического капитала вместе с социал-фашистскими реформистскими профсоюзами, нельзя было так хорошо научиться сотрудничеству с социал-фашизмом вообще. Здесь Брюнинг окончательно убедился в элементарной необходимости перманентного сотрудничества с социал-фашизмом. Недаром он уже впоследствии, в бытность свою канцлером, вероятно, с большим внутренним удовлетворением и даже умилением перед многовековой мудростью католической церкви прочел в новой энциклике нынешнего уже наместника Христа на земле, изданной по поводу сорокалетнего юбилея исторической эклектики «О новых вещах»: «Совершенно иначе (т. е. иначе как к коммунистам. — Н. К.) надо относиться к тому умеренному направлению, которое еще и теперь все еще называет себя социалистическим. Этот социализм не только отказывается от применения грубой силы для достижения своих целей, но он сам все больше приходит к смягчению классовой борьбы и если не к полному отказу от враждебности по отношению к частной собственности, то во всяком случае к сильному смягчению этой враждебности. Этот социализм испугался своих собственных принципов и в особенности того употребления, которые делает из этих принципов коммунизм, и этот социализм обращается теперь обратно к тем учениям, которые всегда проповедывались христианской церковью. Нельзя никак сомневаться в том, что в требованиях этого социализма мы имеем приближение программных социалистических требований к тезисам христианской социальной реформы.

Если этот социализм окончательно откажется от враждебности и ненависти к другим классам, то тогда можно будет вообще лишить ядовитости достойную осуждения классовую борьбу, которая тогда превратится в честную, преисполненную чувства справедливо-

сти дискуссию между классами, которая не будет, конечно, еще тем социальным миром, о котором мы мечтаем, но может быть исходной точкой мирного сотрудничества между разными прослойками общества. Справедливые требования и законные стремления (рабочего класса) отнюдь не заключают в себе ничего такого, что бы противоречило мировоззрению католической церкви, ибо в них нет ничего специфически социалистического. Кто хочет только такого осуществления справедливых требований, тому нет необходимости объявлять себя социалистом».

Эти «законные стремления» рабочих и трудящихся масс Брюнинг понимал так, что в момент так наз. «стабилизации» он в качестве секретаря профсоюзов возражал против повышения ставок, потому что эти ставки потом ведь придется опять снижать!

Германский рейхстаг. Кулуары переполнены депутатами, журналистами, банкирами и промышленниками, различными их ходатаями, просто аферистами и жуликами, пытающимися подработать по политическим и «почти» политическим делам. Воздух полон всяких слухов и комбинаций. Иногда в эти кулуары вместо делегаций промышленных и торговых организаций попадают делегации от рабочих, служащих, совсем редко крестьян, которых все больше разоряет политика правительств «демократической» республики, защищающей исключительно интересы монополистического капитала. Тогда можно наблюдать умилительную картину, как разные «демократические» и в особенности социал-фашистские депутаты прячутся от своих избирателей, о суверенной воле которых они так любят распространяться в речах, произносимых в пленарном зале. В этом пленарном зале, если только продолжительный гудок не возвестил о речи министра или поименном голосовании, за отсутствие при котором «народных представителей» штрафуют в двадцать марок, невыносимо скучно. На трибуне очередной оратор считывает с старательно сложенных стопочкой листочков свою речь, его внимательно слушают только стенографы, да несколько статистов — членов его собственной партии, на скамьях остальных партий сидят исключительно дежурные, на обязанности которых лежит созыв членов своей фракции, если в пленарном зале случится что-нибудь экстраординарное. Но обыкновенно ничего не случается: парламентская машина работает, что называется, без сучка и задоринки, и перемалывает в соответствующие юридические законодательные формулы очередные приказы монополистического капитала. Эти формулы были изобретены в бесчисленных комиссиях и в фракционных комнатах, помещающихся во втором этаже, куда обыкновенно публике вход, в отличие от кулуаров, строго воспрещен. Ливрейные лакеи демократии старательно следят за тем, чтобы люди непосвященные, а в особенности любознательные журналисты не проникнули в эти кухни политики; недаром над входом во второй этаж красуется гордая надпись: «Отечество превыше партий!»

Здесь, в этих комнатах комиссий и фракций жестоко сталкиваются интересы отдельных секций монополистического капитала, отдельных концернов. Почти каждый такой концерн, каждый крупный банк, не говоря уже о различных течениях в лагере монополистического капитала, имеет в различных партиях своих представителей. Эти представители, памятуя о том, что интересы отечества, т. е. монополистического капитала, в целом превыше партий и фракций, кропотливо делят пирог, получающийся от ограбления масс, от выдачи правительственных субсидий, кредитов и других благ, черпаемых из казны. Каждая партия имеет здесь своих специалистов по самым различным вопросам. Эти специалисты, в особенности специалисты по налоговым вопросам, выносят фактически на своих плечах всю тяжесть «законодательной» работы. Работа эта неблагодарна и кропотлива, она редко дает славу, ибо речи, предназначенные для «народа», для печати, произносят затем в пленарном зале вожди, зачастую весьма смутно представляющие себе, о чем собственно идет речь. Это и есть те речи, об одной из которых вождь партии нынешнего канцлера, партии центра Виндхорст сказал как-то, сходя с трибуны: «С божьей помощью я сегодня с вами правдами и неправдами замечательно выпутался из положения!» («Fein habe ich mich heute mit Gottes Hilfe durchgelogen»).

Но бывает, что из тиши этих фракционных и комиссионных комнат неожиданно появляются новые «государственные мужи». Это случается или тогда, когда такой «специалист» своей усидчивой работой набирает слишком много секретного компрометирующего хозяев и вождей знания интимной политики и ему надо дать в виде звания вождя или министерского портфеля кусок правительственного пирога. Так сделал свою карьеру Эрцбер-

гер. Или же это бывает тогда, когда монополистический капитал предпочитает, чтобы во главе правительственной машины стояли люди серенькие и скромненькие, без провоцирующего любовь в одних кругах, ненависть в других имени. Тогда обыкновенно выбирают такого «нового человека», чтобы с его именем не связывали никаких особенных надежд и ожиданий, страхов и опасений. Так получилась кандидатура в канцлеры Гейнриха Брюнинга, когда в 1930 г. после так называемого «разрешения» репарационного вопроса монополистический капитал Германии решил выкинуть социал-фашистов из правительства и заставить их играть менее заметную политическую роль в лакейской оппозиции, для того чтобы они могли хоть несколько, хотя бы обычными для лакеев судачествами на счет господ, восстановить свой потрепанный во время «большой коалиции» Германа Мюллера авторитет в массах.

Поставить во главе правительства какого-нибудь из видных руководителей центра нельзя было. Вожди партии Каас, Вирт, Штегервальд, все это были люди с довольно определенной политической программой. Одно их имя могло мобилизовать массы, возложить на партию и стоявшие за ней руководящие слои германской буржуазии определенные обязательства, могло обязать германскую буржуазию к определенному маршруту как в области внутренней, так и в области внешней политики. Германская же буржуазия считала, что она провела «разрешение» репарационного вопроса в необычайно удачный момент. Она, как известно, никак не хотела согласиться с тем анализом социально-политического положения, который был дан тогда Коммунистическим Интернационалом и который говорил, что полоса так называемой «стабилизации» кончилась, что начинается беспримерный в истории капитализма кризис, который должен привести к обострению классовых и междуимпериалистических противоречий. Но германская буржуазия еще не знала, как ей использовать это наступившее, по ее мнению, успокоение, она собиралась во всех областях производить эксперименты и для таких экспериментов ей казался самым подходящим человеком именно Гейнрих Брюнинг, про которого не только в широких массах, но и в профессионально-политических кругах до того мало было известно, что его весьма скудную биографию можно было найти только в справочнике депутатов рейхстага. Из этого справочника можно было, однако, лишь узнать, что Брюнинг был секретарем христианских профсоюзов, редактировал некоторое время их газету «Дер Дейтче», да еще был на фронте и имеет несколько боевых отличий, о которых каждый уважающий себя германский бюргер не забывает упомянуть в любой анкете. Пришлось выдумывать, и так родилась легенда о «кабинете фронтовиков», об огромных связях Брюнинга с папским престолом, с католическими кругами Франции и других стран, о его особо интимной дружбе с президентом Гинденбургом, который его будто бы помнит еще со времен империалистической войны, хотя где было германскому главнокомандующему знать каждого из десятков тысяч офицеров, подвизавшихся на фронте, а не в ставке! И можно смело сказать, что если бы действительно была осуществлена какая-нибудь, хоть самая плохонькая стабилизация, то Брюнинг скромно выполнил бы поставленное ему социально-политическое задание и оформил бы очередное ограбление масс на почве «разрешения» репарационного вопроса.

Биограф Брюнинга отмечает, что «он отказался от славы диктатора. Он хотел осуществить свою волю, но по возможности в самых непатетических формах. Поэтому он перенял буржуазные остатки правительства Германа Мюллера и заменил только новыми министрами вышедших из состава этого правительства социал-демократов. Биограф канцлера дает неплохую формулировку: Брюнингу было дано задание осуществить фактическую диктатуру монополистического капитала с помощью того, что мы назвали бы агрессией по этапам, т. е. осуществить диктатуру, пользуясь, поелику возможно, с помощью социал-фашизма легальными формами «демократии». Надо было отказаться от «диктаторской славы», ибо в противном случае была бы разбита вдребезги социал-фашистская теория «меньшего зла», была бы ускорена мобилизация масс против фашизации государственной власти. Это не значит, конечно, что Брюнинг в какой-либо мере отвергает фашизм. Он, правда, в своих речах выступал довольно резко против всякого рода фашистских течений, но только потому, что его хозяин, монополистический капитал, еще не решил, в какой форме ему следует использовать фашизм, в форме ли дублирования социал-фашизма по части отвлечения возбужденных и революционизирующихся народных масс от настоящей революционной партии, от партии германского пролетариата, его ком-

мунистической партии, — или же в форме непосредственного привлечения к участию в правительственном аппарате. Брюнинг пошел бы и на такое использование фашизма. Он в роли канцлера чувствует себя, как некогда на фронте: за него думают в кабинетах промышленных баронов и банкиров-королей. Сказал же про него вождь партии центра Каас как-то: «Я систематически выдвигал Брюнинга в первые ряды, потому что у него имеется синтез мысли и действия, который редко встречается у государственных мужей, разве только у античных греков». Можно легко представить себе, как улыбаются короли биржи и капитаны промышленности, когда они слышат, что доброго пулеметчика Брюнинга сравнивают с Периклом и Демосфеном. Был еще один, и к тому же немаловажный аргумент, который удерживал Брюнинга, вернее, пославших его, от привлечения к непосредственному участию в правительственной власти национал-социалистов, сиречь фашистов. Этот аргумент откровенно изложен в статье лейб-журналиста нынешнего канцлера, редактора его органа «Германия» Гагеманна в августовской книжке «Цейтшрифт фюр Политик»: откровенная фашизация германской политической власти была невозможна по внешнеполитическим причинам, ей воспротивились бы версальские державы, в первую очередь Франция.

Известно, что долгожданная «стабилизация» не наступила. Народнохозяйственный аппарат Германии начал давать серьезнейшие перебои. Количество безработных начало расти до астрономических цифр, за время канцлерства Брюнинга в Германии кончает самоубийством в среднем около 50 человек в день. Нагрузка германской промышленности стала падать, внутренний рынок сужаться. Мало того: этот внутригерманский кризис стал давать себя еще более чувствовать по мере роста и углубления мирового общекапиталистического кризиса. Но сначала Брюнинг в этот мировой кризис не верил: ему казалось, что центр тяжести лежит в германском кризисе. Надо, мол, опять (в который раз окончательно?!) договориться с буржуазией стран-победительниц насчет дележа добычи, получаемой от переложения всех репарационных тягот на трудящиеся массы, и тогда германское народное хозяйство пойдет по пути к выздоровлению. Первые революционные зарницы — выборы 14 сентября 1930 г. — Брюнинга не обескуражили: быть может, он даже решил, по германскому образцу, сделать из нужды добродетель и на демонстрации тяжелого положения народных масс опять выторговать еще кусок репарационного пирога для своего собственного монополистического капитала у финансового капитала стран-победительниц. Он совершает поездку по городам и весям Германии, он проходит всю эту страну и изображает из себя Христа, идущего на Голгофу: с истинно христианским наигранным смирением встречает он камни, которые летят в его автомобиль в германских городах. Начинается целая серия «чрезвычайных указов». Говорят, что Гинденбург подарил в эту тяжелую зиму канцлеру теплую шубу с президентского плеча: известно, что с того времени вся германская «демократия» состояла из президентских постановлений, имеющих силу законов, вопреки всем постановлениям Веймарской конституции.

Начинается активизация германской внешней политики, т. е. именно та попытка сделать из нужды добродетель, о которой мы говорили выше. Брюнинг обращается к Америке. По его совету президент республики обращается к Гуверу со слезницей-телеграммой, изображающей в самых черных красках положение Германии, т. е. не широких народных масс, а монополистического капитала, не желающего терять ни крохи из основного капитала (пресловутая «субстанция»!), ни сверхприбыли. Биограф Брюнинга свидетельствует нам, что после решающего разговора с американским послом Брюнинг решил поехать в Лондон. В дороге туда была отныне историческая встреча Брюнинга с французскими министрами Лавалем и Брианом. Мы теперь знаем, о чем шла речь во время этого парижского свидания. Франция, которая почувствовала приближающееся землетрясение общекапиталистического кризиса, тоже решила сделать из нужды добродетель. В ее подвалах накопились горы золота. Это золото не находит себе применения, между тем капитал должен приносить проценты, иначе он мертв, иначе он превращается из радости в несчастие, равного которому нет. Но Франция одновременно чувствует, что беспримерный капиталистический кризис потрясает всю версальскую систему, основоположницей которой и является современная империалистическая Франция. Под эту потрясенную версальскую систему надо подвести золотую базу. Эта база может быть дана, если Германия возьмет французские кредиты на условиях, превращающих ее в сателлита Франции, в составную часть версальской системы. Брюнингу было

предложено в Париже надеть на Германию золотые цепи, но все-таки цепи. Говорят, что когда Брюнинг уехал из Парижа в Лондон и пароход стал приближаться к английскому берегу, германский канцлер при виде английского берега упал на колени и стал горячо молиться. Англия казалась ему той обетованной землей, где он соглашением с английским правительством надеялся отгородиться от похода французского империализма на последние остатки политико-экономической независимости Германии.

Свидание в Чеккерсе Брюнингу ничего не дало: тогда еще не было известно, какие трагические переживания предстоят английской буржуазии, но тогда уже было ясно, что Англия пытается прежде всего помочь самой себе: ей уже тогда было не до оказания помощи Германии. Между тем французский империализм давал удар за ударом чувствовать Брюнингу свою силу: политически — ликвидацией так называемого австро-германского таможенного соглашения, экономически — выкачиванием из Германии краткосрочных кредитов. Как раз в тот момент, когда в самой Германии чувствовались сильнейшие подземные толчки надвигающейся катастрофы, из Англии пришла весть об отмене золотого стандарта, пришла весть об историческом землетрясении в стране, на которую Брюнинг обратил все свои взоры.

Еще большим землетрясением было для Брюнинга знаменитое сообщение, в котором были зафиксированы результаты свидания Лаваля с президентом САСШ Гувером. Лаваль поехал в Вашингтон с максимальной программой французского империализма. Нынешний французский премьер хотел возобновить ту линию французской политики, которая оборвалась в тот момент, когда американский сенат отказался ратифицировать Версальский мирный договор и когда Америка отказалась уплатить по политическим векселям Вильсона, т. е. подписать вместе с Англией договор, гарантирующий Франции ее послеверсальские приобретения и преимущества. То, чего не удалось достигнуть Клемансо и Пуанкаре, должен был достигнуть Лаваль: он хотел получить от Гувера американскую гарантию Версальской системы. Этой гарантии Лаваль не получил в том виде, в каком он хотел и надеялся ее получить, но он все-таки получил косвенное подтверждение Версальской системы со стороны Америки. Если летом 1931 г. Гувер предложил дать Германии репарационную передышку и этим установил, что репарационный вопрос есть вопрос международный, вернее, вопрос, долженствующий интересовать все руководящие капиталистические страны, то официальное сообщение, фиксирующее сговор Лаваля с Гувером, фактически устанавливает, что вопрос репараций есть вопрос, который должен быть разрешен путем непосредственных переговоров между Германией и Францией. Это, если хотите, есть косвенное признание Америкой Версальской системы, гегемоном которой является Франция и которая держится на порабощении Германии. Соглашение Гувера с Лавалем после отмены золотого стандарта в Англии было вторым решающим ударом для Брюнинга. Он был поставлен во главе правительства переходного периода как во внутренней, так и во внешней политике. Глубокий мировой кризис капитализма — ибо соглашение Гувера с Лавалем, вернее, победа Франции над Америкой является прямым последствием глубокого социально-экономического кризиса в САСШ — поставил Брюнинга перед задачами, которые, собственно говоря, история, конечно, предназначала не для него.

Брюнинг представлял себе переговоры с Францией не иначе, как в рамках международных переговоров. Брюнинг надеялся, что на международной конференции его поддержат Англия и Америка. Эта его надежда оказалась необоснованной: будущая международная конференция по репарационному вопросу только ратифицирует франко-германское «соглашение». Отсюда и несколько неожиданный поворот во внутренней политике Брюнинга. Наличность столь мощных — они казались некогда мощными! — секундантов на международной арене, как Америка и Англия, обозначала для Брюнинга возможность проявления новизны в области внутренней. Обрисовывалась возможность привлечения к участию в правительственном и административном аппарате, параллельно с рейхсвером и социал-фашизмом, в особенности параллельно с последним (вспомним слова тов. Сталина о социал-фашизме и национал-социализме, как о двух близнецах, а не антиподах!), национал-социализма. Эклектизм во внутренней политике должен был соответствовать эклектизму в области международных взаимоотношений, ибо только эклектизмом, скрывающим подчинение неогерманского империализма французскому — версальскому — империализму, — должно было быть соглашение между Германией и Францией даже при секундантстве Америки и Англии.

Этот внутренне-политический эклектизм должен был быть проведен под лозунгом известной германской поговорки: «Шоколад вещь хорошая, селедка тоже неплоха; ах, как вкусна должна быть селедка с шоколадом». При этом надо оговориться, что соединение социал-фашизма с национал-фашизмом есть вещь не столь противоречащая нормальным вкусовым ощущениям, как селедка с шоколадом. Но уничтожение «эклектизма» во внешней политике (лицом к лицу с Францией!) привело к необходимости пока оставить эклектизм в области внутренней: французский империализм пока не хочет дать тех уступок Германии, которые могли бы позволить национал-социалистам сохранить свои шовинистические демагогические лозунги (например, увеличение армии Германии и т. д.) и поэтому Брюнинг пока должен изображать разрыв переговоров с национал-социалистами и сохранение государственной системы, зиждущейся на рейхсвере и социал-фашизме. Но кто может теперь, после дружественной «полемики» между печатью партии центра, т. е. Брюнинга, и газетами Гитлера, сомневаться в том, что Брюнинг сознательно готовит откровенно диктаторское и фашистское правительство, которое будет образовано на следующий же день после сговора французским империализмом.

Франция собирается ныне, заручившись согласием САСШ и нейтралитетом Англии, диктовать Германии второй Ольмюц, т. е. такое политико-экономическое соглашение, которое превратило бы Германию окончательно в «неоимпериалистическую» державу, играющую по отношению к современной архиимпериалистической Франции служебную роль. Быть может, Франция собирается заплатить германской буржуазии по нынешним условиям неплохо: говорят об участии германской промышленности в крупных поставках и постройках на иностранных рынках, говорят о допущении германского промышленно-финансового капитала к колониальному строительству, — да мало ли о чем говорят. Любая барыня, когда нанимает прислугу, не скупится на обещания. Ведь Франция, нанимая Германию, идет к осуществлению своей заветной мечты, к осуществлению того, к чему стремились величайшие французские империалисты от Людовика XIV и Наполеона I до Пуанкаре, Клемансо и Фоша. Франция продолжает ныне, тринадцать лет после мировой войны, эту войну мирными средствами, если говорить перевернутой формулой Клаузевица. Во времена наполеоновских войн германские патриоты — барон Штейн и Га[рденберг] пытались мобилизовать против попо[л]зновений французского империализма масс[ы], ибо они были в своем роде якобинцами. Н[о] массы за ними тогда не пошли, их не был[о] в этом деле. Теперь эти массы есть, но ло[]зунг подлинного национально-освободительно[]го движения, лозунг настоящего сопротивле[]ния французскому империализму выбрасывае[т] в Германии одна только коммунистическая па[р]тия. Она выбрасывает этот лозунг, потому чт[о] национальное освобождение неотделимо от со[]циального, и еще потому, что поползновени[я] французского империализма полонить Герм[а]нию экономически и тем подвести тверду[ю] базу германской задолженности под версал[ь]скую систему являются в то же время одни[м] из решающих факторов в деле подготовки еди[]ного антисоветского фронта. Уже говорят [о] том, что одним из условий оказания Германи[и] кредитной помощи является предоставлени[е] Франции контроля над германскими поставка[]ми в СССР. И именно потому, что францу[з]ский империализм прельщает германский нео[]империализм, что в случае осуществлени[я] предлагаемой сделки германская буржуазия н[е] будет будто бы больше наедине с народным[и] массами, Брюнинг не зовет, как Штейн и Гар[]денберг, этих масс. Он боится их, ибо ра[з] вступив в действие, эти массы дадут Германи[и] национальное освобождение вместе с социаль[]ным; освободив Германию от гнета францу[з]ского монополистического капитала, они осво[]бодят ее заодно и от гнета германского про[]мышленно-финансового капитала.

Генрих Брюнинг не якобинец, ему не ве[]лено иметь своих мыслей, ему велено сидет[ь] спокойно у пулемета и ждать, пока предател[ь]ская политика социал-фашизма и фашизма де[]лают свое дело, разлагают фронт и тыл рев[о]люционной борьбы, не дают народным масса[м] итти на революционный штурм. Ему велен[о] пустить пулемет в ход в тот момент, когд[а], несмотря на совершившуюся сделку герман[]ской «неоимпериалистической» буржуазии [с] французским империализмом, массы пойдут н[а] штурм. Брюнинг после окончания мировой вой[]ны, по словам своего биографа, никак не мо[г] усвоить, что все его усилия за время миро[]вой войны пропали даром, что ставка импе[]риалистической императорской Германии в ми[]ровой была бита, что надо было вывешиват[ь] белый флаг, что наступил момент, когда даж[е] наличие пулеметных лент не помогает. Тогд[а] история решила против Германии в грандиоз[]

ной схватке германского с антантовским империализмом. Она решила иначе, как это представлял себе Брюнинг. И теперь она решит иначе, чем думает Брюнинг, этот сторожевой германского монополистического капитала у пулемета. Версальская система обречена на гибель историей. Но эта же история потом скажет, что Версальская система рухнула не потому, что у кормила германского государства стоял Гейнрих Брюнинг, который напрасно падал на колени при виде макдональдовского берега, напрасно надеялся на вмешательство Америки и напрасно пытался пойти на сделку с французским империализмом. В тот день, когда представители французского империализма Лаваль и Бриан еще были в Берлине, один из руководящих органов германской буржуазии «Дейтче Альгемейне Цейтунг» писал: «И Франция не будет пощажена последствиями той революции, которую мы теперь переживаем. Накануне от'езда французских министров в Берлин лопнул в Париже один из крупнейших банков, имеющий около 700 отделений в стране. Потрясение английского фунта, отказ скандинавских стран от золотого стандарта, смутные экономические условия в Италии, прогрессирующий кризис во всей Европе и опасения, которые мы вынуждены питать насчет Соединенных Штатов, — все это нечеловеческие задачи, которые стоят ныне перед государственными людьми и в особенности перед государственными людьми Франции. Неужели они совершенно бессильны перед этими задачами? Неужели они все еще считают, что они могут добиться полного осуществления своих вожделений на господство в Европе? Неужели они не видят тех молний, которые предвещают бурю во всех уголках мира?»

Орган тяжелой промышленности знает, почему он задает эти роковые вопросы. Как раз в тот момент, когда президент германской республики Гинденбург принимал в торжественной аудиенции французских министров Лаваля и Бриана, и когда затем Бриан возлагал венок на могилу своего «друга» Штреземана, место которого занял ныне другой «друг» Франции Брюнинг, во всех столицах мира стало известно, что на выборах в Гамбурге коммунистическая партия одержала блестящую победу. Растет та сила, которая решит спор между французским империализмом и германским неоимпериализмом.

Быть может именно потому Гейнрих Брюнинг любит переговоры только в тиши дипломатических кабинетов и не любит выступать от имени «народа», что он великолепно знает, что народ его уже ни в коем случае не уполномочивал откупаться от революции закабалением страны иностранному империализму?

Быть может Брюнинг знает, что отсутствием на улицах Берлина во время приезда туда Лаваля и Бриана народные массы отнюдь не демонстрировали свою незаинтересованность во франко-германском торге с переторжкой, а лишь демонстрировали, что не ставленники монополистического капитала с их социал-фашистским охвостием определяют время и момент решающего классового боя.

Брюнинг не лучший германский канцлер после Бисмарка, как думают идеологи и практики социал-фашистского «меньшего зла». Вместе с своей десницей — рейхсвером и ошуей — социал фашизмом он лишь является душеприказчиком той империалистической Германии, политическую основу которой создал божок германской буржуазии Бисмарк.

Именно поэтому Брюнингу и не нужны «ореолы диктатуры», ему не нужны никакие ореолы славы и громкие титулы. Он маленький человек неоимпериалистического германского безвременья. В дни великой разрухи и землетрясения, вызванного поражением Германии в мировой войне, лейтенанту пулеметной команды Гейнриху Брюнингу удалось перекраситься в защитный цвет члена совета солдатских депутатов и незаметно нырнуть в серую солдатскую массу. Куда ему удастся нырнуть в дни краха нынешней германской фашистской «демократии»? Или же в самом деле его задача сидеть у пулеметов только до того момента когда надо будет пустить в ход пулеметные ленты и тогда у пулеметов станет другой, более «сильный» ставленник капитала, окруженный нарочито «ореолом диктатуры?»

Строители „Гидроцентрали"

В. Россоловская

... Стоит ли потрудиться для этого, а? Стоит взяться за Мизипгэс, сорвать ветку для будущего куста, не правда ли? (М. Шагинян. „Гидроцентраль").

Роман «Гидроцентраль» включил Мариэтту Шагинян в ряды писателей-союзников.

Шагинян как писатель-союзник складывалась постепенно: каждое новое произведение зарубкой на шкале отмечало ее творческий рост, приближало к овладению пролетарским мировоззрением. Последний роман стал логическим завершением определенного творческого этапа; в нем оформилось, выкристаллизовалось то, что робкими ростками возникло в других, более ранних произведениях. Вместе с тем «Гидроцентраль» еще носит следы того идейно-политического комплекса, который характерен для пройденного «трудного» пути Шагинян.

С этой точки зрения мы рассматриваем «Гидроцентраль» не только как талантливую книгу об одной из новостроек нашей страны. «Гидроцентраль» интересна нам, как новая ступень в творчестве Шагинян, как результат длительной и упорной работы писателя над своим мировоззрением, как картограмма конкретных успехов в деле своего перевоспитания, в деле освобождения от пут идеализма, эклектизма и традиций буржуазно-авантюрного романа.

Начав с рецензий о концертах и лирических стихотворений, впитавших в себя лучшие традиции символизма и акмеизма, Шагинян быстро перешла к публицистическому роману, к реалистической новелле, очерку. Подчеркнутый интерес к общественной тематике, к социальным катастрофам, к борьбе классов, резко определился после Октябрьской революции. Шагинян вошла в послеоктябрьскую литературу, как представительница той части интеллигенции, которая без сожаления расставалась с самодержавной и либеральной Россией, радовалась ее концу, но, переоценивая свое собственное значение для дальнейшего развития страны, не нашла еще своего пути в революции пролетарской, социалистической.

Тот идейный багаж, который принесла Шагинян в послеоктябрьскую литературу, во многом еще сохранил следы двух крупных дооктябрьских произведений. Эти произведения — «Путешествие в Веймар» (1915 г.) и «Своя судьба» (1916).

В «Путешествии» сформулировано политическое и философское кредо Шагинян. Сущность этого кредо — в преклонении перед европейским гуманизмом. Странствования писательницы по Германии превращаются в поиски истины. Шагинян ищет истину в немецком литературно-философском наследстве. «Путешествие» воссоздает образ Гете; как символ немецкого идеализма: символ высокого морального начала, преодолевшего бюргерски-мещанскую Германию, чтобы прославить Германию высокой культуры, высокого «духа». «Путешествие» вырастает почти в декларацию об историческом значении европейской интеллигенции, несущей миру очищение через гетевский гуманизм.

В «Путешествии» интеллигенция осмыслена как внеклассовая категория. Шагинян не видит еще связи между гуманизмом и прогрессивной буржуазной мыслью, «гетеизм», как высокое моральное начало, в представлении Шагинян оторван, изолирован от экономических и политических процессов, протекающих в стране. Искаженная идеалистическим восприятием действительность предстает перед Шагинян одной своей стороной: великолепным архитектурным памятником европейского гуманизма. Так неудачно пыталась спастись Шагинян от русской азиатщины.

«Своя судьба» уводит автора в дебри психологического романа. Опубликованный только в 1923 г., когда уже в основном сложилось отношение интеллигенции к революции, наметились для ее различных групп — неизбежные пути... В романе же «Своя судьба» показана

интеллигенции предреволюционной эпохи, решительно оторванная от общественной жизни. Пациенты доктора Ферстера, жители маленькой горной санатории,—все больные подчеркнутым интересом к себе, к своей психике, к ее вибрации, к ее патологическим вывихам. Восприятие мира через «свою судьбу», сугубый эгоцентризм характерны для того идейного тупика, в котором находилась значительнейшая часть интеллигенции перед Октябрем. Об'ективно «Своя судьба» сжигает всех кумиров «Путешествия», однако, автором это еще не осознано. Автор все еще поклоняется доктору Ферстеру — художественному воплощению «гетеизма». Ферстер — гуманист и непротивленец. Философско-политическая программа Ферстера всепрощающая любовь к Ястребцовым (Ястребцов — отрицательный полюс интеллигентского «духа», циник, релятивист, ставрогинской складки человек), приятие жизни в ее целостном виде, без поправок, приятие «своей судьбы» без протеста. В сущности Ферстер — герой «малых дел», чеховский персонаж, продукт ублюдной эпохи реакции. Образ Ферстера ставит точку на и, доводит до логического конца гуманистические идеи «Путешествия», потому что Ферстер — это резкий отказ от какой бы то ни было борьбы, а следовательно от революции.

Империалистическая война и эпоха пролетарской революции помогли Шагинян избавиться от идеалистических иллюзий «Веймара».

Октябрьская ревлюция, принятая Шагинян, загремела для нее великолепной «Переменой». «Перемена» — это гибель статичного, кандового «эвклидова мира», это всеобщее смещение плоскостей, это гибель паразитических классов и торжество пролетариата. Все эти мотивы отчетливо звучат в романе «Перемена», романе ритмичном, как барабанный бой, в его пафосном, приподнятом стиле.

Русская Вандея на Дону, потрясения 1917—1919 гг., поражения и победы пролетарской революции — создали «Перемену». Шагинян называет роман былью, однако, в действительности это быль, деформированная писателем, идущим к пролетариату. В отдельных своих частях «Перемена» уже укрепила Шагинян на позициях пролетариата. Там, где Шагинян отказывается от своего старого взгляда на историческую роль интеллигенции, где она развенчивает всех Иван Иванычей и Петр Петровичей русского либерализма и меньшевизма, думских, земских, всех проповедников благопристойной революции, «без углубления»; там, где она разрушает глиняных богов европейского гуманизма (слишком сильны впечатления, оставшиеся от прихода интервентов и немецких оккупантов!), там где она приветствует гибель мещанской «эвклидовой» России (в которой «вещи стали устойчивыми по Эвклиду: кратчайшая линия, линия меж двумя точками — это прямая. Дом Степаниды Орловой есть ее собственность. И кто умер, того отпевают»).

Но что же принес свежий ветер пролетарской революции? Что кроме гибели Эвклиду? На этот вопрос ни «Перемена», ни последующие произведения ответа не дают. В этом вопросе еще чувствуется растерянность автора. Приняв революционную действительность в целом, Шагинян не нашла еще в ней нужного, положительного творческого об'екта, акцентируя события, она еще не смогла поставить акцента на человека, на человеческом коллективе—носителе новой философской и политической системы. Образ большевика Васильева в «Перемене», этого горбуна с протабаченными пальцами, дан внешне сухо. На протяжении всего романа зеленая лампа в окне горбуна зажжена. Но что вещает зеленый огонь этой лампы? В чем заключается работа Васильева? Почему он бодрствует? На это нет еще четких ответов. Васильев сух, бесстрастно сделан, носительницей барабана революции Шагинян выбрала гимназистку Кусю. Но разве в действительности Куся была барабанщиком революции?

Революция в произведниях Шагинян еще очистительный огонь для **всего** человечества; и для Куси, и для идеалиста-музыканта Мовшензона. Шагинян четко еще не видит классовых сил революции, их расстановки и взаимодействия. Еще ведущий отряд революции— выходцы из интеллигенции...

Роман «Приключения дамы из общества» в основном продолжает линию «Перемены». Революция переделывает в своем горниле—**всех**. Очищает от эвклидовой скверны представителей всех классов, без исключения. Под влиянием революции перерождается и советская барынька, игрушка мужа и родных. А как представитель победившего пролетариата снова выступает милый интеллигентный образованный юноша-студент. О да! Эмигрант, подпольщик, большевик!

Темпераментная, талантливая книга мало приблизила Шагинян к пролетарской литературе.

Эпоха потребовала от Шагинян иной тематики, иного материала, иных творческих об'ектов, иного метода, более четких формулировок, более определенного отношения к революционному «сегодня».

Эпоха сказала, что больше нельзя оставаться на уровне «советского детектива». Никого не удовлетворяют «приключения», перепетии «Месс-Менд» и «Лори-Лэна», построенные по шаблону буржуазно-авантюрного романа. Форма буржуазного приключенческого романа давит на якобы революционное содержание. Дедективные романы Шагинян выглядят очень сомнительно с их рабочими-магами («королями вещей»), звероподобными фашистами и большевиствующими миллионерами! В творчестве Шагинян назревает кризис... Живая жизнь, волнующая и прекрасная, грозит пройти мимо писательницы стороной. Так появляется «Тревога» (1925 г.). Тревога за писателя, «который болен». (В положении зрителей, холодных созерцателей, склонных к различным видам внутренней эмиграции, очутились многие писатели-попутчики).

Поиски новой тематики и нового метода приводят Шагинян к художественному очерку, к работе репортера социалистической стройки.

Серия очерков Шагинян истоками своими уходит в те годы, когда октябрьские события семнадцатого года заставили ее пересмотреть свой идейный багаж, кое-что переоценить, кое-что и сдать в «утиль». Тогда, как и многие другие «кающиеся интеллигенты», Шагинян писала исповеди, полные раскаянья и полные желанья включиться в поток революции нужной его, неот'емлемой частью. Так возникла исповедь «Как я была инструктором ткацкого дела». Поворот Шагинян к производственному очерку не случаен и ведет свое начало от более раннего знакомства с производством, от осознания места и роли производства в революции.

Произведственный очерк (как преобладающий жанр), с его различными об'ектами социалистического строительства, становится с 1925—26 года в центре творчества Шагинян. «Фабрика Тортон», «Нагорный Карабах», «Прогулки по Армении», «Зангезурская медь», «Роман угля и железа» — вот продукция последнего пятилетия.

Производственный очерк поднял еще на одну ступень творчество Шагинян ближе к пролетарской литературе. Показ наших достижений, показ глубокой реконструкции всей экономики нашей страны, ее отсталых национальных окраин — увлекателен, талантлив. Но в производственных очерках поклонение самому процессу реконструкции, восхищение техницизмом заслоняют главное и основное звено социалистического строительства: класс-энтузиаст, класс-строитель, его творческий под'ем, созданные им в борьбе за социализм большевистские формы и методы труда.

Роман «К и К» внешне еще сохранил дедективизм и приключенческий дух, однако, здесь Шагинян уже делает решительные шаги к овладению пролетарским мировоззрением. «Больная проблема» Шагинян о путях русской интеллигенции в революции уточнилась в «К и К». Роман ставит проблемы попутничества в литературе. От лица коммуниста Львова Шагинян выносит приговор писателям, оставшимся чужими нашей эпохе. Львов-Шагинян выступает с проповедью, обращенной к «далеким» пролетариату писателям внутренней эмиграции.

«Гидроцентраль» возвращает Шагинян к производственной тематике, причем возвращает ее окрепшей, овладевшей новым мировоззрением, близким пролетарскому.

«Гидроцентраль» построена на двух идейных узлах, которые сразу же выделяют роман из всего ранее написанного Мариэттой Шагинян.

Сущность первого узла в своеобразном восприятии самого факта строительства гигантской гидростанции, которая перевернет экономику одной из отсталых республик, поведет эту республику к небывалому расцвету, изменит лицо маленькой хозяйственно-отсталой Армении, включит ее производительные силы в общий план строительства всей страны. В финальной главе («Доклад строителя»), инженер, начальник Мизингэса, так формулирует мысль автора: «...строить связный план целого хозяйства, — такое кустование увлекательно, интересно, совершенно не изучено, таит в себе колоссальные открытия по технической и экономической части и даст нам в руки силу, подобно которой ни у кого в старом мире не было. Стоит потрудиться для этого, а? Стоит взяться за Мизингэс, сорвать ветку для будущего куста, не правда ли?»... (стр. 357).

Эти слова, подготовленные великолепными художественными картинами строительства на протяжении всего романа, строительства со всеми его ошибками и трудностями — звучат настоящим, большим пафосом.

Отсюда то жизнерадостное, то безоговорочное принятие нашей советской действитель-

ности, которое звучит в каждой странице романа, в каждом описанном явлении, в каждой мелочи, будь то биржа труда или экскурсия старой учительницы со своими питомцами на Мизингэс, или клубное торжество на строительстве, или быт лорийцев-сезонников. Прекрасен тот мир, в котором строится Мизингэс! Теневые стороны этого мира существуют потому, что еще есть классы, есть классовая борьба, есть еще враги у Мизингэса, есть то чуждое Мизингэсу «нечто», которое осталось в наследство от времен до-мизингэсовых, до-советских, от до-большевистских времен. В этом, первом философском узле, впервые четко Шагинян сформулировала свое собственное отношение к революционной действительности.

Второй идейный узел родился в результате показа различных социальных групп, осуществляющих строительство гидростанции. В этом случае гидростанция вырастает в некоторую категорию, в критерий, через который идет большая проверка «строителей гидроцентрали» большая «чистка», отбор, срывание масок; здесь неожиданно под серой и ординарной внешностью совслужаки обнаруживается жестокая и циничная маска классового врага, и наоборот выясняется, что подозрительный рыжий доктор философии (он же парикмахер и десятник), предмет сугубого внимания угрозыска — милейший парень, преданнейший Мизингесу человек, хотя и чудаковатый интеллигент.

Борьба за гидроцентраль позволила автору показать различные классы в нашей стране, различные социальные слои и прослойки, их отношение к социалистическому строительству.

Этот второй идейный узел является главным, т. к. центр тяжести романа падает на соотношение различных классовых сил, на взаимоотношения людей, на деятельность их, как строителей Мизингэса.

Строители Мизингэса по своему социальному положению делятся прежде всего на рабочих и интеллигенцию, однако, внутри каждой из этих групп автор находит положительные и отрицательные тенденции, внутри каждой социальной категории есть еще свои подразделения. Их много. Так, например, в интеллигентской группе есть инженер Леон Давыдович,— по идеологии чуждый пролетариату человек, и есть Аннуш Малхазян, учительница, вводящая в своей школьной практике принципы политехнической школы: среди всеобщего недоверия и непонимания в канцелярии Мизингэса работает начканц Захар Петрович Малько, обыватель и скрытый враг, и доктор философии Арно Аревьян (рыжий), бежавший из-за рубежа в СССР.

Так же сильна диференциация и среди рабочих. Отсталые, вороватые армяне-сезонники, жители соседних лорийских деревушек рядом с передовыми рабочими, рядом с комсомольцами Вартаном и Гургеном, водрузившими красную звезду на легендарной горе Кошке (суеверные лорийцы считали гору жилищем дэва, дьявола), рядом с Агабеком, предместкома, совестью Мизингэса, со Степаносом — завклубом, выдвиженцем Фокиным — вузовцем, влюбленным в технику...

Разнообразны по своей идеологической направленности и коммунисты. Ограниченный самовлюбленный Покриков, «безвредный» секретарь ячейки рядом с мягкой, но настойчивой Марджик, умной и энергичной Арусик...

И вот тут-то и выступают на сцену два метода изображения персонажей, два различных приема, глубоко вскрывающих и политические симпатии автора, и его возможности как художника.

Грубо эти два приема можно охарактеризовать, как «внешний» и «внутренний». «Внешним» приемом написаны фигуры Агабека, рабочих: русского плотника Шибко, Сукясянца, воровавшего доски на строительстве, «безвредного» секретаря партячейки, Аветиса и мастера Лаитиса, братьев Самсоновых, комсомольцев Вартана и Гургена, Фокина. Сущность этого внешнего приема состоит в том, что процесс развития каждого из данных персонажей показан как результат наблюдения со стороны, показан путем пересказа разговора, описания поступка, жеста, портрета, костюма, мелочи в костюме. С помощью этого метода автор *доводит* до читателя образ своего героя. Доводит талантливо, выразительно, читатель верит в Агабека, этого горбатого, с зеленоватой кожей человека с «необжитой» комнатой, читатель чувствует, как накапливается в Агабеке ярость против чужаков и классовых врагов, засевших в аппарате Мизингэса, читатель знает, что в нужный момент этот маленький горбатый человечек, обладающий особенной силой и крепостью, пришедший на гидростанцию с кожевенного завода, сумеет двинуть рабочую массу против врагов Мизингэса, но все это остается только талантливым рассказом, наблюдением автора со стороны. Внутренний мир Агабека скрыт от читателя.

По этому же принципу сделан секретарь партячейки, которого называют на строительстве «безвредным» и «подготовленным». «Безвредный» — щеголь. Автор любовно описывает его нарядные штиблеты, клетчатую франтовскую кепку, но что из себя представляет «безвредный» — внутренне? Каким образом происходит с ним перелом в последнем акте драмы, разыгравшейся на Мизингэсе, когда в результате головотяпского руководства начальника строительства, инженера Леона Давыдовича и начканца Захара Петровича, рухнул мост, построенный через Мизинку? Что, какие внутренние причины заставляют «безвредного» неожиданно выступить на общем собрании с обличительнейшей речью против головотяпов и вредителей Гидроцентрали? Это происходит вне романа, автор не показывает этого, ограничиваясь внешним описанием событий и роли в этих событиях «безвредного».

Ленивый плотник Шибко, бородатый, неповоротливый, туго соображающий, веселый и увлекающийся Фокин, Вартам и «его закадыка Гурген», как и «безвредный», малокровный Степанос как и вся армия Агабека, даны великолепными красками, но внешне, без глубокого проникновения в их психику, в их сокровенный внутренний мир, в то время, как вся интеллигентская группа персонажей (о них — дальше) вскрыта изнутри, точно хирургическим ланцетом, во всем своем многообразии, во всем великолепии своего психического богатства.

На этих двух разных методах характеристики и изображения героев сказалась с удивительной яркостью «кривая» развития самой Мариэтты Шагинян, как писателя-союзника, преодолевающего старые ошибки, овладевающего пролетарской тематикой, пролетарским мировоззрением. Агабек и его армия — новый творческий об'ект для Шагинян. В практике ее прошлого (если не считать очерков) рабочая масса, рабочий актив, коммунисты никогда не занимали центрального места.

«Гидроцентраль» вплотную подвел Шагинян к рабочему коллективу, к рабочему-герою. Каждая эпоха, каждый класс выдвигает своего героя. Шагинян слишком талантлива, достаточна чутка и близка по своей идеологии пролетариату, чтобы понять это. Такова причина появления Агабека в «Гидроцентрали». Но Агабек, герой революционной действительности, еще не стал центральной фигурой в творчестве Шагинян. Еще не вполне осознан его образ, он еще не стал плотью и кровью, он еще не выношен до конца. Отсюда внешнее описание Агабека, а не органическое его рождение.

Перед нами группа персонажей, социально-близких автору. Тут кисть художника кладет краски безошибочно и смело. Здесь образы вылеплены со всей их скульптурной четкостью, здесь фигуры живут материальной жизнью, их можно почти осязать, так вкусно и сочно они написаны. Здесь второй метод, метод внутреннего вскрытия человека, метод постепенного выращивания образа из плоти самого художественного произведения развернут во всей своей зрелости.

В этой группе персонажей, интеллигентской по своему социальному положению, автор дает два полюса, две различные системы, две идеологии, две различные политические программы. Каждый из этих полюсов воплощен в конкретном художественном образе и «как магнит притягивает металлические опилки», так притягивает каждый из этих полюсов группу однородных по идеологии персонажей.

Один из полюсов — Арно Аревьян, или рыжий, доктор философии, парикмахер, реэмигрант, архиварнус и десятник на Мизингэсе.

На рыжем еще лежит налет старого шагиняновского «месс-мендизма» и «каикизма». На рыжем веригами висят традиции авантюрного буржуазного романа, по крайней мере, внешний рисунок пути рыжего в «Гидроцентрали», напоминает сильно «Джим-Доллара». Ореол таинственности вокруг рыжего — результат традиции. Однако внутренне рыжий уже свободен от авантюризма. Авантюризм сохранился только на поверхности событий, в самой фабуле: Арно Аревьян нелегально бежал из-за рубежа, нелегально перешел границу, шесть месяцев слонялся по стране и наконец появился на бирже труда одного из городков Армении романтическим оборванцем, в галошах без сапог, джэнтльменом в отрепьях, принцем-нищим. Но с того самого момента, как ноги рыжего ступили на пыльную неустроенную еще советскую землю — авантюрное прошлое его кануло в лету. Автор точно забыл рассказать нам о том времени, когда Аревьян в ослепительном воротничке блистал где-то в Германии и получал свой диплом доктора философии. Аревьян вживается в быт строительства, он с первых же дней находит свое место на гидростанции, как клубный конферансье, архивариус, друг Агабека, Степаноса и Фокина. От прошлого Арно Аревьян сохранил только манеры джентльмена, диплом, тот «высокий вольтаж личности», который позволяет ему изредка го-

ворить великолепные речи, быть вежливым «как старички на пенсии» и распространять вокруг себя особенную атмосферу внутренней моральной чистоплотности.

В романе рыжий не действует активно. Он только... реагирует. На чутких весах «высокого вольтажа своей личности» рыжий взвешивает события, явления, классифицирует людей. Агабек и его армия комсомольцев, выдвиженцев, рабочих-передовиков у рыжего получают положительную оценку, рыжий сближается с ними. Начканц и его армия обывателей вступает с рыжим в противоречие (начканц пишет на рыжего донос), рыжий брезгливо порывает с ними.

Симпатии автора к Арно Аревьяну — очевидны. Рыжий — прекрасен. У него «ноги циркача», гибкое прекрасное тело, «юношеский голос», «череп долихоцефала», «европейская линия затылка», он говорит прекраснейшим языком «Зиммеля и филолога Чемберлена», языком «полным символической крепости, устоявшейся культуры мысли, того высокого дилетантизма, что жестом хозяина пользуется аналогиями, взятыми из багажа точных наук» (стр. 74). А руки рыжего? Легкие, белые великолепные руки, умеющие делать прекрасные вещи, строить крыши, измерять землю, писать историю гидростанции..

Рыжий — армянин, но по своей культуре он интернационален. Через образ рыжего М. Шагинян показывает т у группу интеллигенции в нашей стране, которая обладает всеми предпосылками для того, чтобы выдержать экзамен на годность в реконструктивный период, ту группу, которая может итти и идет на службу делу пролетариата. В рыжем Шагинян старается примирить Ферстера-Гете с пролетарской революцией и заставить их служить ее интересам.

Утверждая целиком личность рыжего (в целом художественно и убежденно написанного), автор совершает ошибку.

Делу рабочего класса нужна та часть интеллигенции, которая сумеет активно, в одной шеренге с пролетариатом, строить и бороться с врагами. Рыжий же — созерцательно-пассивен. Совершенно непонятен уход рыжего в десятники. От козней начканца, от бюрократической нездоровой атмосферы Мизингэса — рыжий уходит «в народ», в толстовское «опрощенство». Он радуется ссадинам и царапинам на своих руках, в то время, как страна задыхается от недостатка культурных работников, педагогов, политпросветчиков, агитаторов и пропагандистов. Рыжий играет в непротивленчество, в то время, когда ему нужно было, вместе с армией Агабека, быть на мосту в момент катастрофы (когда река размыла плохо построенный мост), чтобы разоблачить начканца и его шайку обывателей и чужаков. В утверждении пассивно-созерцательной философии рыжего — существенная ошибка М. Шагинян.

Выше мы отметили, что вокруг рыжего группируются несколько социально близких ему образов, выполняющих так же как и он положительную функцию в сюжете.

Это — учительница Аннуш Малхазян (старуха с шотландским лицом и заманчивой облезлой муфтой, полной различных моделей и макетов для ребят), великолепно написанный образ преданного школе советского педагога, убежденного политехниста, настоящего вождя молодых кадров, сестра Аннуш — Марджана, молодая коммунистка, инструктор по женработе, умная и элегантная судья Арусяк и эпизодические фигуры: инженер-грузин Целадзе, увлекающийся монументальными и прочными постройками, геолог Лазутин, лефовец Гкуни (очень интересная и яркая фигура, художник, переоценивающий ценности, ищущий новых форм в искусстве, форм, отвечающих величайшему содержанию эпохи).

Вторым полюсом, об'единяющим вокруг себя группу служащих обывателей и вредителей, группу, враждебную двум первым — является Захар Петрович Малько, личность совершенно замечательная по своей выразительности, прекрасно разоблаченная автором.

Путь начканца в романе знаменателен. Начканц Малько «верил в среднюю линию миропорядка». Безалаберщина на строительстве, бесхозяйственность, постройка ненужного, нелепого деревянного моста через своенравную и напористую Мизинку — находили свое утверждение в начканце, для которого в «службизме» было основным: «чтоб все шло гладко», и «делать дело без шума». Истина — «каждый начальник хорош» — замыкала эту стройную систему обывательского тупоумия, помноженного на карьеризм и кретинизм мелкого кулачка, рвача. «Впрочем он любил дело, — тонко иронизирует автор, — и дело любило его, сложное дело черной лестницы, двойной бухгалтерии, параллельных отчетностей, будки администратора, своевременных умолчаний» (стр. 127). Начканца очень правильно определил «безвредный», превратившийся в прокурора в финальной сцене романа: «Начканца Захара Петрови-

ча я называю тем, что он есть, старым, дореволюционным, царского, барского времени службистом... Такой человек есть враг революции...» (стр. 343).

Начканц вел на участке хищническую политику, политику зажима, грубого окрика, а там где нужно, — сладкой лести; это он уволил активных рабочих Аветиса и Лайтиса, которые выступили на общем собрании с разоблачительными речами против руководства Мизингэса, это он написал клеветнический донос на рыжего, когда почувствовал, что РКИ близко и на участке «такое закручивается», что нужно скорее уносить ноги.

Выкормыш и ученик начканца, Володя-конторщик, «меринос» (у Володи кудри на лбу завиты, подобно рогам мериноса) — в момент острой борьбы, когда рухнул мост и в воздухе запахло сменой руководства, превратился в активнейшую силу, помогающую Малько запутать РКИ и общественность. Дело в том, что у Володи были старые счеты с рыжим. Рыжий затмил в канцелярии и клубе «мериноса», занял его место конферансье, овладел вниманием дам.

Появление рыжего убило Володю. «Завидуют,— думал Меринос. — Армяне всегда завидуют своему брату! Выдвинулся, пою, играю, образованный все-таки (это «все-таки» — восхитительно!). Имею наружность, нет, надо тебе ножку подставить...» (стр. 133).

Фигура Володи, написанная в остро-сатирическом плане, прекрасно разоблачает франтоватых хлыщей, самодовольных циников, увы нередких в советских учреждениях, из которых впоследствии вырастают фрукты типа Малько.

Группу Малько-Володи дополняют: ограниченная телефонистка Макарьян, сплетница и дура, от которой пахнет псиной и подмышечным потом, и красивая, пустая, развратная Клавочка, жена начканца, его плоть и кровь, самка, мелкий хищник, разрушительная сила на участке, женщина, подобно одной из героинь Бокаччио, обновлявшая губы поцелуями.

Близко к группе начканца стоят два персонажа, осуществляющие руководство строительством. Коммунист Покриков, бывший муж Марджаны, променявший ее на пустую, хорошенькую куколку-жену, полуграмотный, самодовольный бюрократ, типичный оппортунист, очень удачно сравненный автором с жирным клопом на бархате дивана, и инженер Леон Давыдович, со своей сухопарой и чопорной бельгийкой-женой («мадам»), представитель той группы технической интеллигенции, которая осталась внутренне чужой и революции и социалистическому строительству, представитель формалистов, бездушных «человеков с портфелями», мечтающих о Западе, о «культуре» крупного капиталистического города. Леон Давыдович — типичный «герой» из процесса «Промпартии», хотя в романе и нет прямого указания на то, что он вредитель.

Тем не менее мост, построенный Леоном Давыдовичем, по меткому выражению рабочих, «стоял, но не работал», и в итоге был смыт паводком...

Через этих двух персонажей автор раскрывает самую сердцевину тех ошибок, которые мешают строительству. Люди внутренне чужие революции, люди не понявшие большого смысла гидростанции — не могут и руководить ее стройкой. Еще в начале романа, в главе «Железная дорога», автор в уста рыжего вкладывает определение сущности социалистического строительства. «Европа делает вещи, а мы делаем вовсе не вещи,—говорит рыжий,—мы делаем п л а н о в у ю вещь». «На каждой фабрике, на каждом строительстве... выделывается или обрабатывается или строится вещь плюс новое общество, плюс профсоюз, плюс броня подростков, их клубная работа, плюс производственное совещание, плюс контроль, плюс учет, плюс план... Увлекательный мир...» (стр. 75).

Автор осознал то, что по его мнению не могут осознать бюрократ-оппортунист и инженер-чужак, разрушающие, вместо того чтобы строить, т. к. формально строить — в нашей стране нельзя...

Через две очень ярко написанные эпизодические фигуры Шагинян показывает нам и западную интеллигенцию и ее отношение к социалистическому строительству.

Это — немецкий писатель (сильно потрепанный) и представитель какой-то иностранной фирмы, которая хочет пожертвовать Армении миллион.

Первый, с его мешочками под глазами, запахом дешевой берлинской сигары, с театральными восторгами перед СССР и второй, в котелке, с тростью, с фальшивым бриллиантом в галстухе, сам какой-то фальшивый, не настоящий в советской действительности — талантливая сатира на буржуазную интеллигенцию, для которой наша страна — экзотический мир, «черный пояс», мир нищеты и сильных ощущений. Сквозь дешевые восторги немецкого писателя неожиданно прорывается его глубокое

непонимание советской действительности, и даже раздражение (беспорядок, хаос, дурное качество вещей). Агент в котелке со своим миллионом, который у него не хотят принять — карикатура, почти символ оскорбленной буржуазной благотворительности.

Таковы основные силы, которые сталкиваются на Мизингэсе и рождают конфликт, борьбу, причем Агабек и его армия и группа рыжего выходят из этой борьбы победителями, как носители новой, настоящей системы, единственно правильной в условиях социалистического строительства.

Новые творческие об'екты не только не снизили художественного качества произведения, наоборот «Гидроцентраль» открыл новую страницу в творчестве Шагинян. Материалистически воспринятый мир, мир где все «вкусно», выпукло, рельефно, где горные породы лежат аппетитными «ломтями», «бутербродами» и только ждут, чтобы пришел человек, владеющий техникой, машиной (человек, движимый не жаждой наживы, а новой, большевистской правдой, желанием «сорвать ветку для будущего куста», расцветающего только на советской почве), и извлек из земли ее богатства; этот мир «плановых» вещей, заманчивый мир, где рождение вещей происходит вместе с рождением нового общества, новых взаимоотношений, новой политической системы, своеобразно оплодотворил Шагинян, открыл перед ней неизмеримое богатство новых образов, понятий, красок, ситуаций.

Новое мировоззрение как бы усилило и углубило изобразительные средства художника. Барак сезонников, с его своеобразным запахом, пейзаж, собрание в клубе, портреты героев, политехнический урок Аннуш Малхазян с ее незабываемой муфтой, армянская толпа на улице (хетинские носы, «страшный» румянец армянок, «точно надраенный кирпичом», запах пота), широкие юбки лорийских крестьянок, пахнущие кислым молоком и дымом очага, скульптурно-тяжелые, лоснящиеся, — все это написано вещно, материально и выпукло, ярко, без интеллигентской гримасы («это неэстетично!»).

Острая наблюдательность писательницы, ее философские обобщения, неожиданно меткие сравнения, — свидетельствуют о большой творческой зрелости и о высоком мастерстве.

Стиль «Гидроцентрали» сохранил всю «устоявшуюся культуру» автора, всю сложную гамму образов, взятых из мифологии, из сокровищ мировой литературы, из естествознания, философии, математики, из национального словаря. Язык обогатился новой терминологией (технические и экономические термины) и новой лексикой (речи рабочих).

Этим богатым и своеобразным языком Шагинян владеет в совершенстве, варьируя его в соответствии с психоидеологическим обликом говорящего героя. Оставив себе язык рыжего, Аннуш Малхазян, инженера-строителя (нового начальника новостройки), автор там, где говорят пустая Клавочка, Володя-меринос, употребляет синтаксически неверную речь, дешевый уличный словарь («к ним пришли в гости дама, а они!» или «...дуся, брось пожалуйста волноваться. Я тебе помнишь говорила — вместе ехали, Мишей звать, молодой такой в шерстяном свитре!..»). Очень тонко подмечен умышленно неграмотный, «народный» говорок начканца («нуте-ка послухаем», «паря», «цидулка» и т. д.), вскрывающий его фальшь, приспособленчество, желание надуть окружающих.

Упреки в излишнем поклонении техницизму, брошенные по адресу Шагинян некоторыми товарищами, несправедливы. То, что было характерно для производственных очерков — уже преодолено в романе. Сущность перестройки Шагинян, сущность ее нового мировоззрения именно в том, что она видит вещь не как самоцель, а как средство для новых человеческих взаимоотношений. Под этим углом зрения понятно, почему «технический инвентарь» — в представлении писательницы — «подобен пригоршне драгоценных камней, которые перебираешь, не в силах насладиться досыта».

Больше того, в наши дни, когда «техника решает все», восторг перед техникой, перед машиной, служащей делу пролетариата, — ничего общего не имеет с мелкобуржуазным конструктивистским преклонением перед «голым техницизмом».

Более справедливым нам кажется другой упрек: несколько неральное изображение партийно-комсомольского коллектива на строительстве. «Безвредный», секретарь ячейки, пассивные коммунисты, отсутствие какой бы то ни было партработы. В действительности мы знаем, что партколлективы являются мозгом, главным нервом новостроек, ведущим началом, организатором социалистических форм труда. Совершенно выпали из поля зрения автора эти самые социалистические формы труда, возникающие независимо от руководства из недр рабочей массы, из ее творческой инициативы. Непонятно, почему партколлектив Мизингэса ни разу не поднял вопроса о производственных

совещаниях (точно производственные совещания созываются только по воле начальника строительства!). Партколлектив Мизингэса по-детски радуется красной звезде, водруженной на легендарной горе Кошке, и совершенно не занимается хозяйственными вопросами строительства. Даже Агабек как-то мало активен, в нем чувствуется сила в потенции, реализуется эта сила только в конце романа, да и то вся работа Агабека протекает вне поля зрения читателя, читатель видит только результаты этой работы.

Несмотря на все ошибки, на «все трудности роста», «Гидроцентраль — значительнейшее произведение современной «союзнической» литературы, произведение, в большей своей части, о советской интеллигенции и ее пути в революции.

Последнее политической значимости произведения не снижает, однако, несколько отодвигает роман от передовой линии борьбы за пролетарскую литературу, за большое искусство большевизма.

То качество, которое отделяет последний роман Шагинян от пролетарской литературы, кроется в остатках «просветительства» и «гетеизма», сказавшихся прежде всего на образе рыжего и в творческом методе писательницы, еще не ставшим диалектико-материалистическим, хотя впитавшим в себя отдельные моменты и диалектики и материализма.

Строительство на Мизинке, его победы и поражения даны через рыжего, сквозь его восприятие. Рыжий видит гибель системы начканца, Клавочки, рыжий видит «весь этот мир даже отходящий в прошлое механики». Наконец, он рыжий, приподнимает дымную, закоптелую завесу нашего «сегодня» с его сутолокой стройки, вязким бездорожьем и показывает восхитительные перспективы социалистического будущего. Рыжий мечтает, едучи на строительство, о той поре, когда «люди изобретут новые двигатели — без шуму, свиста, копоти, пару». О! тогда «раскинется небо протертое, как стекло на пасху и контуры вещей, краски их обозначатся с невиданной ясностью и яркостью».

Рыжий м е ч т а е т о социализме, а Агабек и его армия с т р о я т социализм, но автор делает человеком будущего, носителем новой системы не тех, кто творит, а все того же рыжего, сложившегося в недрах старого шагиняновского «европеизма», в недрах немецкого идеализма.

Для Агабека и его армии Шагинян не нашла еще нужного метода показа. Она сама сознается, что не все двери раскрыты перед ней, часто ей, художнику, приходится сидеть «перед закрытой дверью», размазывая краски на палитре...

М. Шагинян сможет войти в ряды пролетарских писателей, когда центром ее произведений станет не рыжий, а Агабек, когда она научится в отношении «Агабеков» применять метод изображения рыжего.

О наследстве и отрекающихся наследниках

М. Чарный

I

Человек ходит по комнатам и аллеям своей усадьбы, ездит в гости, гостей принимает, беседует и... страдает. Это собственно его основное занятие. «Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди». «Ничего не делаю и ни о чем не думаю, а устал телом и душой. День и ночь болит моя совесть, я чувствую, что глубоко виноват, но в чем собственно моя вина, не понимаю». Это чеховский Иванов о себе.

Если издавать Чехова или многочисленные произведения русской литературы о т. н. лишних людях сейчас, то им неизбежно и необходимо будет предпослать подробное предисловие, которое об'ясняло бы исторический характер целых общественных групп русской интеллигенции, которые вырастили целые табуны философствующих, кающихся и паразитирующих лишних людей. Современному комсомольцу будут просто смешны и противны все трагедии Николая Иванова. Смешон этот человек, которому в мире «деваться положительно некуда», который сто раз умирает от стыда, а в общем вполне собою доволен («Шура, честное слово, я порядочный человек»), — смешон и противен, потому что этот здоровый, сильный человек, философствующий помещик, не занимаясь никаким трудом («душа скована какой-то ленью»), делает самые недвусмысленные подлости (отношение к больной жене, например).

Характер таких господ выяснен в достаточной степени. Острый талант Чехова подал нам одного из них со скульптурной выпуклостью, оставил в галлерее типов классической литературы фигуру, историко-познавательное значение которой несомненно. Тем интереснее вспомнить отношение самого Чехова к созданному им герою. Иванов, — писал Чехов в письме Суворину,— натура легко возбуждающаяся, горячая, сильно склонная к увлечениям, честная и прямая, как большинство образованных дворян». Мало того, возбужденный толками вокруг пьесы, вызванный на откровенность Чехов решительно заключает: «если публика выйдет из театра с сознанием, что Ивановы — подлецы, а доктора Львовы—великие люди, то мне придется подать в отставку и забросить к чорту свое перо». Таким образом, разоблачитель Ивановых, писатель-интеллигент, когда речь идет о выборе, когда надо четко заявить свое мнение, сам оказывается в лагере Ивановых. Иванову беспрерывные покаяния и уверения в своем ничтожестве не мешают верить в свою высокую и окончательную порядочность. Автор, разоблачая всю мерзость своего героя, ужасается при мысли, что этого героя зачтут в подлецы.

Про героя одного из своих рассказов Алексей Толстой говорит: «по профессии он был негодяй». Николай Иванов по профессии был кающийся грешник. И герою и его интеллигентскому автору эта профессия казалась чрезвычайно благородной. Все это приобретает сегодня подновленный интерес, потому что через сорок с лишним лет после появления чеховского «Иванова», после мировых потрясений войны, кризисов и революций, на 14-м году диктатуры пролетариата другой писатель-интеллигент вызвал тень давно похороненного Иванова и представил советскому читателю его прямого потомка и наследника. («Наследник» — роман Льва Славина, изд. ГИХЛа).

Имеет ли право советский писатель на подобную тему? Имеет ли право писатель, претендующий на общественное значение в стране строящегося социализма, занимать свои силы и внимание читателей проблемами чеховских Ивановых, хотя и представших в образе своих наследников? Но вопрос было бы правильнее поставить несколько по-иному: оставил ли действительно Николай Иванов наследников? Неужели они бродят среди нас в Советском союзе, во времена Коминтерна и Маг-

нитостроя, и 112 тысяч тракторов, перепахивающих старые российские степи?

Было бы нелепостью отвечать, что Ивановых нет, что они кончились в историческую ночь 25 октября семнадцатого года. За последние два десятка лет миллионные массы нашей страны изменились так, как не изменились до того за 200 лет. Кошмары войны империалистической, две революции, величайшее напряжение войны гражданской, колоссальнейший опыт 14-ти лет советской власти, встряхнувшие миллионные человеческие пласты, совершенно изменили облик бывшего «рассийского», ныне советского человека. Это относится, прежде всего, к огромным массам бедняцко-середняцкого крестьянства, к пролетариям городов. Немалой переделке подверглась и интеллигентская порода.

Но люди новые не изготовляются в ретортах химических лабораторий. Нельзя забывать напоминания Ленина, что мы строим новый мир, стоя по колена в грязи старого общества. Новое еще очень часто переплетается со старым в самых виртуозных комбинациях. Старое еще является иногда в новом и по-новому и именно потому, что оно предстает измененным, не всегда легко распознается.

А. П. Чехов не наделил Николая Иванова и Сарру Абрамсон потомством, которое в его творческие задачи не входило. Это упущение задним числом подправляет Лев Славин и делает сие абсолютно закономерно, ибо чеховский Иванов несомненно имеет наследников. Смешно сравнивать их роль в нашем общественном движения с ролью их «предков» в свое время. В имении Иванова Николая давно колхоз, но Иванов Сергей, дети Иванова с котомками духовного наследства, не из'ятого и не конфискованного, хотя и значительно трансформированного, бродят по советской земле, попадают иногда и на Магнитострой. Ими заняться можно, даже следует.

II

Лев Славин настигает Сергея Иванова к началу империалистической войны. Этот молодой человек, сын Иванова-помещика и купеческой дочки Абрамсон, ко времени своего призыва в армию успел поглотить уйму книг, полюбить латынь и культуру августовского века, изощрить вкус на тонкостях французской литературы, слышать кое-что о философии Маха. Но молодой человек ничего не умел д е л а т ь. Молодой человек жизнь примерял по прочитанным книгам. Опасности казались ему заманчивыми «как географический атлас», будущее представлялось «странной главой под названием...», а когда надо было дать взятку дворнику, он мучительно сожалел, что нет под рукой Салтыкова-Щедрина или «Итальянских хроник» Стендаля, которые могли бы послужить косвенным руководством.

Действительность обрушивает на голову Сергея такие события, которые, несмотря на все обилие прочитанных книг, оказываются совершенно... непредусмотренными. Война, социал-демократический студенческий кружок, банда буржуазных сынков, почетных завсегдатаев и шефов биллиардных и притонов. Пойти на войну или не пойти? Шататься по притонам с увлекательным шелопаем Гуревичем, или направиться к социал-демократическому студенту Кипарисову? Быть оборонцем, или быть пораженцем? Сергей ничего твердо не знает. Деклассированный, по существу, интеллигент, он унаследовал от отца-дворянина может быть неосознанную даже уверенность в своей особости, жесточайшее тщеславие; от матери — безволие и бесхарактерность интеллигентки и постоянный страх унижения.

Дедушки Иванова — купец Абрамсон и граф Шабельский — принимают меры к тому, чтобы внучек не попал на фронт, где возможны всякие неприятности. Сергей перед призывом «оттягивается», т. е. истощает себя в кутежах и бессонице. Сергей в компании Гуревича. Гуревич — этот атаман шайки шелопаев — ловок и умен, остроумен и красноречив. Его ловкость — ловкость шулера, ум — циника (Уайльд в одесском масштабе), остроты — стиля «мужских» анекдотов.

«Гуревич обещал мне, что я похудею:

— Через неделю ты себя не узнаешь, Сережа. Люди будут думать, что ты сделан не мужчиной и женщиной, а циркулем и линейкой».

На книжной полке у Гуревича стоят Ницше, Оскар Уайльд, Макс Штирнер. Он исповедует эпикурейство и проповедует своей шпане: «Смысл жизни в красоте. В красоте и наслаждении. Все остальное — ерунда с маслом. Кипарисовский социализм — это слюнявчик для младенцев».

Иванов подавлен величием Гуревича. Его ловкостью и находчивостью, свободным жестом и властностью. Он старается ему подражать и «...мало-по-малу я стал верить, что галстук и носки должны быть одного цвета, что политическая экономия — это умственный онанизм, что в театр по билетам ходят толь-

ко дураки, что величайший поэт современности — Игорь Северянин, что водку нужно пить залпом, что любовь — это глупость, спорт — тоже глупость, и революция — глупость...»

Но о революции Иванов слышит не только от Гуревича. Иванов встречается со студентом Кипарисовым, социал-демократом, который рекомендует ему другие книги и другие вкусы. Кипарисов солиден, выдержан и привлекателен большой идеей, которая освещает все его мысли, все его существование. Сергей введен Кипарисовым в социал-демократический студенческий кружок и сразу поглощается новым миром интересов, вещей и привязанностей.

Иванов неустойчив как биллиардный шар, который готов, кажется, лететь по одному взгляду Мишуреса, участника компании Гуревича, биллиардного арапа, который специализируется на обработке «пижонов». Иванов оглядывает эту компанию и видит, что попал в зловонное болото. «У обоих Клячко низкие лбы и убегающие подбородки. Они похожи друг на друга животным сходством, как кролики, как мыши. Уже между собак сходства не бывает. Я смотрю на других, на всех, кто здесь, в биллиардной. Я вижу узкие лбы дегенератов, носы, разъеденные кокаином, плеши, похожие на гниение. Глаза мои делаются страшно зоркими. Рожи! Рожи кругом!»

Но вырваться из этой среды Иванов может только под влиянием обратного толчка извне. Пусть самого небольшого, самого незначительного. Толчки он получает с обеих сторон — Гуревича и Кипарисова — Стамати (школьного товарища, тоже члена кружка), причем эти толчки сопровождаются с обеих же сторон откровенной характеристикой.

«Ты тряпка, Сережа! — говорит Гуревич.— Я окончательно в этом убедился. Ты слабоволен. Ты всегда чья-нибудь собственность. То Кипарисова. То моя. У тебя никогда не будет силы сделать решительный поступок».

Стамати подносит Сергею не менее горькую правду: «ты слишком много говоришь, Сергей... Из тебя выработался порядочный болтун... Довольно тебе носиться с собой».

Из орбиты Гуревича с балами, проститутками и ницшеанской философией, разбавленной обыкновенным хамством, Сергей, после тяжелой ночи, попадает к Стамати и сразу устанавливает «причинную линию от Катиной неверности к индустриальному перепроизводству Великобритании». Сергей не видел и не знает ни производства, ни перепроизводства ни в Великобритании, ни где бы то ни было. Его кругозор любителя изящной французской литературы и августовского века расширен только за счет одесской биллиардной, фокусов Мишуреса, подлости поручика Третьякова, который увлекает любимую Сергеем Катю. Он слышит от Стамати о капитализме и, раздавленный впечатлениями прошедшей ночи, радостно восклицает: «Я увидел врага в лицо... капиталистический строй! Как бы мне не забыть этого...» Сергей сам знает, что очень легко может забыть. Но только потому, что немного он знает самого себя, а не потому, чтоб ему внушил сомнение этот вывод о капитализме только на основании знакомства с подлостями Третьякова и нечистоплотностью Гуревича.

III

Иванов попадает в царскую казарму и получает новый ледяной душ впечатлений от капиталистической действительности. Вместе с ним в казарме Стамати, который пытается наладить солдатский революционный кружок. Иванов тоже привлечен к работе. Эти новые впечатления и интересы завладевают им. Он думает о революции и... мести поручику Третьякову. Трудно сказать, что больше всего прельщает его в революции. Пожалуй, именно это последнее, хотя влияние большевика Стамати заставляет его подавлять в себе желание унизить Третьякова во имя возможностей революционной работы.

Иванов начитан и культурен и не лишен как будто чувства исторической перспективы и фантазии, хотя революцию он представляет по... Дюма, а настоящее он «уже видел как прошлое, как картинки в журнале «Былое». Но не в этом, оказывается, центр тяжести. Иванов видит и мечтает о будущем не потому, что действительно умеет мыслить большими историческими масштабами и связывать текущий день с величием истории, а потому, что «все-таки я в центре удивительных событий» и «мои будущие мемуары занимают центральное место».

Это огромное честолюбие интеллигента, находящееся в трагическом противоречии со всеми об'ективными данными, сопровождает его на каждом шагу и пронизывает каждую мысль и каждое действие. «Старинная моя страсть превзойти всех». Митинг на фронте. Первые известия о революции, потрясающие события, которые ломают жизнь, привычки, столетия, крушат мир. В эти исключительные минуты Иванов ясно ощущает, что «хочется извлекать из толпы обожание». Даже в октябрьском бою в Москве, когда решаются судьбы социальной

революции, Иванов не может освободиться от этого чувства обязательно «превзойти всех». «Я быстро ухожу, я бегу — и не только от тянульщика (рабочий, красногвардеец, фактически руководящий отрядом, в котором находится Сергей), но и от моего желания унизить его, свернуть тянульщика с его пьедестала спокойствия, самоуверенности. Я чувствую в себе противное желание видеть тянульщика растерянным, без его деловитости, без чувства превосходства над другими. Я ничего не имею против того, чтобы другие превосходили меня. Но для этого они должны быть не моими сверстниками — по крайней мере лет на десять старше меня. Этот срок — десять лет — я считал вполне достаточным, чтоб превзойти кого угодно». И одновременно — жалкая беспомощность, постоянная необходимость на кого-нибудь опереться. Когда Стамати арестовали (казарменный период), Иванов совершенно теряется — «мне кажется, что кто-то должен притти и вновь овладеть мной».

Характернейший эпизод происходит во время порки дезертира на дворе царской казармы. Всеобщее напряжение и озлобленность прорываются солдатским стихийным протестом, который вот-вот перейдет в бунт. Шум, крики, хаос. Иванов с наслаждением присоединился к общему крику: «я плыл в нем, меня охватило чувство слитности со всеми, чувство огромной силы, никогда еще не испытанной мной». Стамати тут же. Он жадно следит за происходящим и мучительно думает: «ах, если бы их организовать!» У Стамати вырабатываются черты настоящего большевика. Иванов плывет и растворяется в стихии.

После казармы фронт, Февральская революция, бои за Октябрь в Москве. Славин проводит своего героя через все эти этапы с его колоссальной диспропорцией честолюбия и практических возможностей, с этой вечной погоней за самим собой, за своим лицом, чувством, мыслью. Иванов ведет среди солдат революционную пропаганду (не всегда большевистскую, часто путая и поправляясь под влиянием Стамати), братается с австрийцами на фронте и сражается на московских баррикадах, но над всей его революционностью непрерывно ощущается парус случайности. Роман заканчивается на том, что Иванов записывается в отряд для борьбы с белыми, вносит свое имя в список добровольцев «угловатыми буквами и с жирным взлетающим росчерком, который я выработал с прошлого года, прочитав в книге по графологии, что такой росчерк обозначает характер твердый, стальной и предвещающий славу». Но у читателя нет никакой уверенности насчет того, как будет действовать Иванов дальше. Хорошо, что с ним едет вместе Володя Стамати...

Еще за пару дней до того Иванов, стоя на посту в Петровском парке, встретил Гуревича в обычной компании гуляк и женщин, весь вид которых говорил о неограниченной благосклонности.

«Мы едем в один чудный погребок, — говорит Гуревич Иванову, — серьезно, садись к нам. Что, разве большевики — монахи?».

Иванов поражен аргументами Саши Гуревича, совсем как год-два тому назад, в одесской биллиардной. «Я проникался прелестной легкостью той жизни, которую вел Гуревич, всей ее обольстительностью, против которой тем труднее мне было бороться, что, что же в сущности противостояло ей? Обобществление орудий производства? восьминедельный отпуск беременным?»

Обобществление орудий производства — это весит так мало в сознании и чувстве «революционера», для которого эти три слова никогда не были больше, чем случайная формула на пути к тому, чтоб «превзойти всех».

IV

Кто же он, Сергей Иванов, со всеми его переживаниями и самокопанием, революционной работой и ошибками, колебаниями между «обольстительной легкостью» жизни Гуревича и революцией? Герой или человек, стоящий на грани предательства, большевик или чужак?

В «Литературной газете» напечатана статья М. Серебрянского, которая очень серьезно и очень сердито рассматривает Иванова, как поданный Славиным образец большевика. «С нескрываемой и явной насмешкой, не над Сергеем, конечно, а над всем процессом формирования профессионального революционера, рассказывает автор (устами героя), о возвращении Сергея Иванова к большевикам...» — пишет тов. Серебрянский. Нужно чрезвычайно торопливо читать роман Л. Славина, чтобы, при отсутствии злонамеренности, притти к тем выводам которые сделал Серебрянский. Помимо бездоказательных обвинений в пошлости, Серебрянский утверждает, что природа творчества метода Славина «означает нежелание писателя идеологически перестроиться, перевооружиться, драться за подлинное и большое искусство большевизма и заставляет итти по линии при

«пособленчества». Чудовищное обвинение, если оно серьезно не обосновано.

Об ошибках этого романа следует говорить и мы будем об этом говорить, но они лежат совсем в иной плоскости.

Славин разоблачает Сергея Иванова почти на каждой странице. Его тщеславие, его мелкое самолюбие, несамостоятельность, неустойчивость даны чрезвычайно выпукло. Этому наследнику Иванова Николая, случайно попавшему в ряды революции, противопоставлены как настоящие революционеры Кипарисов и Стамати. Они противопоставлены мало, очень недостаточно, об этом следует говорить особо. Иванов Сергей предстает перед читателем как выходец из чуждой пролетариату среды, как деклассированный интеллигент, действительно несущий в себе порочное наследство, которого он не преодолевает, даже попав в ряды большевиков.

Сергей Иванов сам сознает свое жалкое и опасное бессилие: «Я всегда мучусь, когда мне надо выбирать. Я не имею мнений... Если бы мне влить в жилы такой физиологический раствор...» «Я не знаю сравнительной ценности вещей. У меня нет мировоззрения. Кровь с бесполезным шумом бежит по моим жилам». Но это сознание своего ничтожества не может быть началом перелома, под'ема, исправления, потому что втайне Сергей Иванов... любуется своим собственным ничтожеством. Внимательный читатель не может этого не заметить. «Никто не знает моего настоящего характера, даже я сам (разве Гуревич?). Я улыбнулся, мысль о сложности моего характера доставила мне удовольствие» (стр. 78). «О, товарищ Левин, если бы я вам рассказал мою жизнь...»

Иванов уже понимает, что иной квалификации «моей жизни» кроме как «История мелкобуржуазного характера» он получить не может, но никакого реального содержания за этим определением он не знает и не чувствует. Он усвоил новую терминологию, новые формулы, живет и работает в условиях мировых катаклизмов, но, по существу, воспроизводит того же Иванова Николая, своего отца. «Моя жизнь» со всем его психологическим ковырянием кажется ему сложной и полной интереса. Сергей замечает родство между тремя совершенно как будто различными людьми — между Духовным, эсэром, корреспондентом буржуазных газет, Нафталинцевым, считающим себя анархистом и предоставляющим своим подчиненным офицерам зверски расправляться с солдатами, и патентованным мошенником Гуревичем. Общее у них — «черта юродивости, черта скольжения по краю пропастей, которые, впрочем, оказываются не более чем выгребными ямами». Это замечание делает честь наблюдательности Сергея и говорит о некоторых здоровых инстинктах. Но интеллигентскую юродивость Сергей замечает только тогда, когда она проявляется в более грубой форме (цинизм Гуревича, «благородное» предательство Нафталинцева, убожество Духовного). Сергей не совсем понимает и не видит достаточно четко, что глубина и качество его собственных «ужасных» психологических «пропастей» очень недалеки все от той же малоароматной ямы.

Может быть, тут вина не только героя, но и автора? Может, автор сам, занимаясь разоблачением своего героя, хоть немножечко остается на позиции своего «предшественника» Чехова, на позиции сочувствия разоблачаемому? Нужно сказать прямо, что в книге проскальзывает иногда этот тон сочувствия и симпатии. Мы сейчас попытаемся разобрать, что производит такое впечатление и в чем ошибки т. Славина.

Славин разоблачает своего Иванова. Это несомненно. В наиболее трагических с точки зрения героя обстоятельствах автор находит способы убедительно показать, насколько фальшиво это трагическое, насколько в образе трагедии выступает часто фарс. Вот, например, эпизод самоубийства. Разочарованный герой после неудачной ночи на балу хочет кончить самоубийством. Он решает использовать в качестве орудия смерти подтяжки. После долгих часов раздумья о своей смерти и тех эффектах, которые она принесет, герой остается благополучно жить и, оправдываясь перед самим собой, рассуждает: «...Я в сущности не мог воспользоваться подтяжками... Становясь орудием смерти, подтяжки перестали исполнять свое прямое назначение, и штаны скатились бы по ногам, обнажая на потеху зевакам самые стыдные части тела...» Арк. Глаголев видит в этом эпизоде подтверждение особой физиологичности, натурализма, чувственного, что он считает характерным для романа Славина («Новый мир», № 2). В погоне за ярлыком, за каким-нибудь обобщающим определением, за «измом» Глаголев упустил, не понял основного. Вся эта история с подтяжками, все построение и описание эпизода самоубийства (ряд замечательных деталей) есть беспощадное издевательское разоблачение несерьезности, пустяшности, фарсовости самого события. Если бы этого разоблаче-

ния не было, если бы не было разоблачения героя на всем протяжении романа, то «Наследник» был бы апологией интеллигентского психоложества и никчемности и иначе как вредной эту книгу нельзя было бы признать.

Но автор не отвечает за недопонимание Глаголева, так же и за наскоки М. Серебрянского.

Ошибка Славина в другом. Славин недооценивает классового значения наследства чеховского Иванова. Он думает, что от этого наследства легко избавиться и поэтому в отношении к наследству у Славина больше иронии, иногда издевательства, чем злости и ненависти. Сергей Иванов прочитывает «Иванова» у Чехова, историю своего отца и строчит: «Да, я сын ему. Но я ему не наследник. Я отрекаюсь от наследства. Пусть они лежат бесхозяйными—все это благородные страсти интеллигента — меланхолия, ennui de vivre, гуманность, метанья от преферанса к богоискательству, боязнь шаблона, вечное чувство виноватости, хождение в народ, ирония во что бы то ни стало, поза одиночества, интересничание, чувство превосходства, постоянная страсть быть в оппозиции и все ее стадии — от брюзжания до бомбометания». И дальше: «я об'являю характер Иванова выморочным. Справка из свода законов: «выморочное имущество — это имущество лица, не оставившего после себя наследников».

Это итог, заключительный аккорд, который находится, по всем данным, в полном созвучии с мнением самого автора. Но это же совершенно неверно. Что значит «имущество лица, не оставившего после себя наследников?» Так бывает с отдельными людьми, со шкафами, стульями и лотерейными билетами. Но так не бывает с классами, с целыми общественными группами, с идеологией этих групп и классов. Сам роман «Наследник» свидетельствует об этом достаточно убедительно.

Из-под буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции вырвана экономическая и социальная база, которая питала все эти милые качества, благородные страсти, с такой силой описанные в кратком письме Иванова. Но каждый отдельный представитель этой старой интеллигенции, вошедший в новый мир с солидным запасом старого наследства, может его изжить только в результате большой и сложной новой практики. Это путь не быстрый и не легкий, но несомненно обеспечивающий благоприятный результат. Теория Переверзева, как известно, пытается доказать классовую обреченность художника («заколдованный круг образов»). Но эти теории уже разоблачены как в отношении художника, так и нехудожника.

Социальную практику своего героя в обстановке революции и борьбы на стороне пролетариата Славин показывает в довольно значительных размерах (кружки, казарма, фронт, Февраль, Октябрьская революция). Но сам герой проходит через эти исторические этапы почти неизменным. Его декларация с отречением от наследства внушает к нему доверия не много больше, чем заявление в начале романа о внезапно обнаруженной им в себе любви «к «Искре», к явкам и маевкам, и минскому с'езду 1898 года». Сергей Иванов поступает, примерно, в стиле наших многочисленных газетных об'явлений: «настоящим об'являю, что с сего числа ничего общего с родителями не имею и живу на самостоятельный заработок». Это убедительно для домоуправления, но для художественной литературы недостаточно. Славиным не показано изменение Иванова в процессе его общественно-революционной практики. Показ диалектики этого изменения, динамики его заменены декларацией об отречении. Это и есть основной недостаток книги.

V

Тема «Наследника» не нова. Она обильно трактовалась в старой литературе (по-своему) и в советской попутнической литературе (Федин, Малышкин и др.). Почему же так много внимания книге Л. Славина? Потому что эта книга талантлива, что она, несмотря на неоригинальность темы, оказалась свежей, что молодой автор обнаружил острый глаз художника, который на старом месте может показать читателю новые углы, интересные детали, пусть иногда знакомые вещи, но в новой и своеобразной комбинации.

Славин располагает большой силой изображения. «У Рувима Пика не доставало правой ноги. От нее осталась едва ли восьмая часть—толстый кусок, аккуратно заколотый английской булавкой. Сабельный удар пересекал его лицо от подбородка к виску с такой силой, что глаз и ухо сдвинулись с положенных мест и шли куда попало». Отдельных удачных зарисовок, неожиданных и метких образов у Славина очень много, хотя образ у него преимущественно книжный, взятый из интеллигентской среды.

Помимо основной фигуры — Иванова — в «Наследнике» дан ряд тонко схваченных и

остроумно поданных фигур, немало трудно забываемых эпизодов. Хорошо изображена атмосфера студенческого кружка (меньшевик Адамов, «интернационалист» Рымша, племянник генерала Епифанова), среда Гуревича, некоторые эпизоды в казарме, сцена братания с австрийцами, обстрела в лесу и др. Славину легко удаются типы интеллигентов разных видов; гораздо хуже дело обстоит, когда он переходит к революционерам, к фронту. Здесь слабее, бледнее, схематичнее. Этим об'ясняется в частности и то, что противопоставление Иванову Стамати и Кипарисова получилось недостаточное. Революционное подполье на фронте фактически смазано вовсе. Есть и досадные провалы. К таким надо отнести, например, странные, совершенно не вяжущиеся со всей фигурой Кипарисова рассуждения о социализме, которые вкладывает ему в уста автор. Славин иногда увлекается своей иронической манерой и переигрывает.

В целом — роман «Наследник» обнаруживает в авторе талантливого писателя, попутчика, который несомненно имеет данные для того, чтобы стать союзником пролетариата. О его близости к пролетариату свидетельствует его желание преодолеть старое наследство, желание бороться за «земное счастье для бедняков». Его попутничество на сегодняшний день определяют еще непреодоленное наследство — самый выбор темы отчасти говорит об этом (интерес к людям, в которых еще слишком много старого и которые отнюдь не являются основными фигурами нашей жизни и борьбы), — некоторая метафизичность методологии, интеллигентская образность.

Книга полезна, потому что более или менее близкие наследники Иванова Николая, близкие или дальние родственники Иванова Сергея разгуливают среди нас и по сей день. Они не только разгуливают, но, как уже сказано, попадают и на Магнитострой, и в советское учреждение, иногда располагают даже партийным билетом.

Книга полезна потому, что она помогает разоблачению наследников, помогает самим наследникам обнаруживать в себе частицы наследства, которое тем легче изживается, чем лучше его видишь.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Иосиф Шнейдер—За красным зверем. ГИХЛ. 1931. Стр. 130. Ц. 1 р. 20 к.

За последнее время на книжном рынке стали появляться произведения иностранных товарищей-коммунистов, проживающих в настоящее время в СССР. Эти книги знакомят русских рабочих с теми условиями, в которых приходится вести революционную работу их заграничным товарищам.

На-днях ГИХЛ выпустил книжку немецкого коммуниста Иосифа Шнейдера «За красным зверем». Ее автор прошел суровую школу жизни в качестве матроса различных торговых и военных судов, активно участвовал в революционном движении Германии. Сейчас т. Шнейдер проживает в СССР. В своей книге он решил поделиться опытом революционной работы в капиталистических странах.

Книга написана местами довольно хорошо. Например, эпизод «о том, что гипсовый боженька с судейского стола видел и слышал». В нем автор, с тонкой иронией, свойственной ему, бичует всю лживую подоплеку ритуала буржуазного судопроизводства, которое совершает суд быстрый, но не совсем справедливый, в угоду своему хозяину-капиталисту.

Книга хотя и называется романом, но она не имеет единого сюжетного стержня, логического развития фабулы и нарастания действия, свойственных литературной форме-роману. Книга представляет собой разрозненную хронику борьбы немецкого пролетариата со своей буржуазией, духовенством и социал-фашистами. Но беда в том, что эпизоды борьбы, об'единенные в книге, различны по качеству. В одних, где автор с достаточным вниманием и большим знанием революционного опыта ставит вопросы классовой борьбы, звучит крепкая уверенность в своей исторической правоте и грядущей победе пролетариата во всем мире, но в некоторых эпизодах т. Шнейдер попадает под влияние бульварщины, сильно дискредитирующей книгу.

Она теряет в своей значимости благодаря одному эпизоду, неумеренно пропитанному пошлятиной, компрометирующей всю книгу. Автор хотел показать: «как работают шпионы и провокаторы», как они в достижении своей цели не считаются со средствами, жертвуя даже своим телом, уподобляясь проститутке, и слишком увлекся передачей сцены обольщения партсекретаря Моллера провокаторшей Шредер-Манке. Эротичность этого эпизода перевесила всю сцену в сторону пошлейшей бульварщины.

Гихловские редактора не обратили на это никакого внимания. Не обратили они также своего внимания и на качество перевода, несмотря на то, что везде проводится борьба за качество. Переводчик, схалтурив, решил скрыть свою фамилию, вопреки традиции переводчиков. Приводить примеры безграмотности нет смысла: их слишком много.

Эпизоды, собранные в книге и отображающие разносторонние характеры революционной работы германских пролетариев, несомненно, представляют большой интерес для русского читателя, но из-за небрежной работы редакторов ГИХЛа и переводчика значимость книги значительно снижается.

В. Борахвостов

Вит. Федорович. — Конец пустыни. «Федерация». 1931 г. Стр. 214. Ц. 2 р. 10 к.

«Конец пустыни» — книга очерков о Турксибе. Недостатки очерков Федоровича—это недостатки многих очерков: увлечение деталями, за которыми авторы не видят самого существенного, общего, поверхностная подача исторических событий, без вскрывания их социальной сущности, и стороннее, наблюдательное отношение к описываемому.

Почему-то очеркисты считают, что их путь до того места, которое они должны описать, тоже входит в «программу» очерков. И большая часть очерков начинается с «вагонных разговоров», т. е. способа уже достаточно избитого и опошленного еще до XX века. Очерки же Федоровича, правда, начинаются не с «вагонных» разговоров, а с «аэропланных», но это только оттого, что автор хочет шагать в ногу со временем. Но в дальнейшем, а именно в очерке «Люди и хироманты» Федорович не избег и «вагонной» участи.

Уделяя большое внимание людям, с которыми автору приходилось встречаться во время дороги, раз'ездов по постройке Турксиба, он не останавливается подолгу на ком-нибудь одном, а скачет с одного типа строителя на другого. В результате получается довольно пестрый калейдоскоп человеческих лиц, и ни один из них не остается в памяти.

Героев пятилетки нужно давать не мелкими штрихами или парой ничего не говорящих слов, а нужно точно, шаг за шагом, проследить его деятельность в социалистическом строительстве. Показать, какое место занимает герой пятилетки среди советской общественности, среди своих товарищей по работе и в своем повседневном быту, чтобы фигура героя пятилетки выступала перед читателями не маленькой, серенькой личностью, а ярким убедительным образом.

У Федоровича наиболее «длительный» герой (по количеству страниц)—это молодой инженер Штанге. Подавая его, как положительного героя своих очерков, автор восторгается всем, что к нему относится — даже его качествами летуна. Федорович говорит про него:

«Прокладывал рельсы на Джульфе. А на Джульфе — злая малярия, голод и безводие. Но поставил он будки на станциях, затосковал,

бросил хорошее место (начальником дистанции был) и ахнул искать нового головоломства».

Выходит, что «ахнуть искать нового головоломства» — положительная черта, а все люди в Советском союзе думают несколько иначе по этому поводу и даже открывают борьбу с «искателями нового головоломства».

Книга рисует грандиозное строительство Турксиба в несколько легковесном тоне. Если и говорится о трудностях, с которыми приходилось бороться рабочим на Турксибе, то эти трудности опять подаются в несколько ослабленном, завуалированном состоянии. Это, мол, не так уж трудно, как кажется на самом деле. Конечно, если стоять в стороне и только наблюдать эти трудности, а не испытывать их самому, то вполне ясно, они покажутся чрезвычайно легкими.

Показ героической стройки накладывает большие обязательства на автора, взявшегося за это дело. Но эти обязательства Федорович не выполнил.

В. Борахвостов

П. Чацкий. — Лешегоны. Роман. Серия «Новинки пролетарско-колхозной литературы». М. Л. 1931. Стр. 259. Тираж 5000. Ц. 2 р. 25 к.

С издавна враждуют две половины села Роменья. Богатая старообрядческая — лешегоны, и бедная, еле перебивающаяся — голодаевцы. И чем ближе к войне, тем больше раскалывается село. Лешегоны заводят машины, строят пятистенки, а голодаевцы идут на большую дорогу собирать милостыню на прожитье. Только после революции начинается уравнивание обеих частей села. На земле помещика устраивается совхоз. Организуется коллективное хозяйство. Идет раскулачивание лешегонов.

Крепкая лешегоновская семья Веотневых стоит в центре романа. Автор рисует историю четырех ее поколений и старается показать, что ни крепость ее, ни устойчивость, ни хитреца, приобретенные долгим опытом и сноровкой, не могут предотвратить ее неминуемой гибели и победы голодаевцев, организующихся и наступающих.

Такова внешняя устремленность романа. Но более глубокий и внимательный анализ обнаруживает проскальзывание весьма любопытных, может быть, бессознательных тенденций идеализации кулака.

Центральным является образ главы семьи Вертневых — сначала Петр, потом Никон (они мало отличаются друг от друга) — крепкий зажимистый ... и честный мужик, который привязан только к земле, только в ней видит свое прошлое, настоящее и будущее, которому противен обман, торговля, но который, однако, богат. На его стороне все симпатии автора. На его обрисовку автор тратит самые яркие краски (описание постройки нового дома, свадьба одного из сыновей и т. д.).

Наиболее показательным является явно символический эпизод состязания на ипподроме лошадей кулака Кобозева и представителя колхозной артели — Платона Довбни. Победа Платона натянута, случайна,— все первоначальные данные за победу Кобозева.

Автор наводняет роман обилием персонажей, но, за исключением колоритной фигуры Харлампия Долина, все коммунисты даны с отрицательной стороны. Подробно развит образ вечно пьяного, глупого председсовета Клушина, покладисто соглашающегося с доводами кулака о том, что зажиточный—это тот, кто работает, а бедняк — значит лодырь. «Отчасти ты верно говоришь, но только поделать ничего нельзя. По-ихнему выполнять не будешь, к ответу потянут. Рад не рад, а служи». Так же дан разложившийся партиец Дудов, о котором кулаки говорят: «Хоть коммунист, а человек правильный. Все, говорит, крестьяне и баста!» Исключение их обоих из партии не подготовлено, не закономерно, их оппортунизм не разоблачен автором.

Представители власти изображены тоже в сплошь отрицательных тонах. Особенно показательны сцены в земотделе, который дается автором с точки зрения пришедших туда жаловаться кулаков. И, несмотря на явно кулацкие претензии просителей, отпор, данный им казенно из-за вороха бумаг, настраивает читателя в их сторону. И это в книге не случайно. Многие эпизоды даются глазами кулаков без всякой поправки на мнение автора (характеристики животновода, землемера, сцены собраний и т. д.).

Расслоение деревни обрисовано слабо. Автор не вскрыл, каким образом в конце концов произошло размежевание на лешегонов и голодаевцев. Если согласиться с ним, что лешегоны просто работящие мужики, без всякого обмана (только мельком упоминается, что три деревни исполу косили сено у Вертневых), то ироническое замечание, что, мол, на лешегонью сторону солнце чаще светит, является единственным об'яснением.

Все это говорит об опасных тенденциях творчества Чацкого, об его идеологической неустойчивости. Хотя он и пытается выправлять самого себя (конец состязания, конец романа), нечеткость все же проскальзывает.

Большинство образов очерчены очень бледно. Автор не нашел красок и силы для обрисовки каждого, и они сливаются в представлении читателя в одно лицо с разными именами.

Необходимо также подчеркнуть композиционную рыхлость произведения. Большое количество персонажей, эпизодов загромождает роман, делая его тяжелым, тем более, что фабула очень проста, статична и развертывается только хронологически. Обработка материала слишком экстенсивна, и автор не всегда сводит концы с концами. Например, история Петра и Густи начинается слишком подробно и размашисто, обрываясь внезапно и неоправданно. Таких моментов, подобных «невыстрелившему ружью», в романе много.

Некоторые эпизоды хороши в отдельности, вне связи с основной линией романа, например, история вредителя-агронома Локтева, ставшего «кормчим» хлыстовского скита, жизнь и умирание четы помещиков Тарутиных и др.

Автору необходимо много поработать над четкостью своих газетных установок, над большей стройностью и четкостью композиции, над типизацией и индивидуализацией образов.

Е. Таратута

Николай Шкляр.— Заповедное место. Повести и рассказы. Изд. «Федерация». М. 1931 г. Стр. 166. Ц. 1 р. 25 к.

Прежде всего, в сюжетике рассказов Н. Шкляра нет колорита заповедности. Точнее будет сказать, что на книжке лежит печать некоторой запоздалости и даже старинки,— и не в том смысле, что главный герой повести, Роман Менушкин, бывший красноармеец и пленный, по возвращении домой сразу и как бы по щучьему веленью переворачивает быт на новый лад (не так давно это было постоянным предметом изображения в советской литературе),— а в том, что герой повести похож на стародавнего богатыря, на молодца-удальца, которому все нипочем. Повесть «Заповедное место» в этом отношении может послужить примером олитературивания действительности. Между тем, автору нельзя отказать в знании деревенской жизни и социальных перемен, в ней происходящих. И язык крестьянский у него (словарно) точный и живой, но уж очень ласкательный, с большим налетом авторского умиления перед мужичками,— олитературенный язык.

Давно забытый в литературе народолюбческий тон приятного удивления перед пейзажами портит повесть Н. Шкляра, посвященную суровым явлениям жизни. «Клейно, файно, стройно!» — это не плохо, если бы выговаривалось Менушкиным не очень часто и если бы эти словечки не были эпиграфичны ко всей книге. Соответственно всему этому, классовая борьба в деревне вовсе не неожиданно получила в книге очень разговорчивый и условный характер.

В рассказе «Растел» резче расставлены люди, слова, действия. Приятность тона сглажена, а местами и совсем вытравлена. Да и сюжет в этом рассказе свежий, хотя и несколько привередный: «колхозного коня и вор не берет». В «Растеле», однако, тоже есть старинка: вор не просто вор, а в некотором роде благородный разбойник.

О другом рассказе — «Весенний вечер» — можно сказать, что он очень традиционный, вплоть до концовки, апофеоза.

Первые литературные выступления Н. Шкляра относятся к дореволюционным годам. В советские годы выступал этот писатель очень редко, и нам кажется малое участие его в литературе последних лет является одной из причин большой отсталости Н. Шкляра перед лицом современных литературных и идеологических требований. Только в этом смысле, если хотите, книжка его может быть названа так как она названа — «Заповедное место».

Н. Седов

Бела Иллеш — Избранные рассказы. ГИХЛ. 1931 г. Стр. 151. Ц. 1 р. 30 к.

Рассказы, собранные в книжке, носят автобиографический характер. Они повествуют о скитаниях политических эмигрантов. В некоторых рассказах автор старается показать настроение рабочих, ожидающих с часу на час социальную революцию у себя на родине. К таким рассказам относится большая часть. В них автор всическими путями старается решить проблему участия эмигрантов в революционном рабочем движении.

Типы, данные им в рассказах, представляют собой уже опытных революционеров, которые, находясь в ссылке, все-таки не отходят от революционного движения и не теряют живой связи со своими товарищами, работающими в подпольи.

С одной стороны, оторванность их от революционного движения своей страны и наблюдение за ними местной полиции влияют в сторону упадка революционной энергии, и, с другой,— нежелание оставлять революционную деятельность заставляет всеми силами рваться в подпольную работу.

Бела Иллеш хорошо знает быт политэмигранта и его душевную борьбу от сознания собственного бессилия дает с перевесом в сторону жизнерадостности и надежды на скорую социальную революцию.

Рассказы Иллеш отличаются тонким наблюдением мельчайших подробностей человеческой психики и умением автора по-своему определять каждое движение человеческого характера.

Рассказы, собранные в книге, написаны со свойственной Иллеш тонкой иронией и представляют зарисовки повседневной жизни политэмигранта. Среди этих зарисовок попадаются различные люди, которых автор противопоставляет друг другу, выявляя социальные корни разнообразных классовых идеологий.

Рассказы Б. Иллеша проникнуты партийным революционным подходом к изображаемой среде и служат задачам политического воспитания и большевистской закалки кадров мировой революции.

Борис Агеев

Глеб Алексеев. — Золотая канарейка. «Недра». Стр. 282. Ц. 2 р. в переплете.

Глеб Алексеев воскрешает мещанствующего интеллигентика, занимающегося личным душеустройством. Он вынул его из архива жизни, поставил перед собой, любуется им и жалеет: «Вот, мо, как тебя изуродовали пятилетки и вообще эти так называемые третьи, решающие».

Эту мысль почти буквально Глеб Алексеев выражает в своей «прелюдии» к «Золотой канарейке»: «Раза три я заходил к ней (к знакомой студентке. — В. Б., не заставал ее дома. с грустью стал думать о том, что еще одна девичья душа, звеневшая беззаботно-шаловливым смехом на Патриаршьем пруду, истаяла в заседаниях, в собраниях, в комиссиях,— неизбежном плену нового советского интеллигента»...

«Золотая канарейка» построена на письмах вузовки, ради замужества бросившей институт. Образ этой вузовки далек от современности— это героиня романа шестидесятых годов прошлого столетия, выходящая по ночам за околицу и смотрящая вдаль, не идет ли предмет ее ночных мечтаний. Эта девушка выходит замуж за своего героя. Она восторгается:

«...мы пьем чай вдвоем,— это наше время, в это время (самое прекрасное для меня) во всем мире существуем мы двое, а все прочие вещи

потухают, — мы разговариваем, читаем, целуемся»...

Весь рассказ «Золотая канарейка» кроме своей вредной философии полон «семейной» эротики, поданной под видом решения проблемы семейных отношений.

В рассказе «Птичий веер» описывается девушка Маня Волоскова «с черными, напряженными до страстности и от страстности не только видящими, но как бы и слышащими глазами».

Эта девушка — типичный подросток, второступенка, еще только начинающая жить самостоятельной жизнью, и «поступила бы в своей жизни, очевидно, так же как поступило бы большинство ее подруг: то есть, вышла бы замуж, если б неудачная любовь, к которой потянулась она с восторгом ожадневшего к полету птенца, не бросила ее на широкую, всем ветрам открытую дорогу. Тот, кого любила она с молитвенной страстностью семнадцати своих лет, сказал ей просто, будто переломил баранку: «Ты мне физически больше не подходишь: у тебя некрасивая спина. А товарищей мне хватит и без тебя».

Что же делается с девушкой?

«Комсомольская организация устроила ее «деворганизатором» (организатором девушек) в одном из фабричных районов Москвы, и с тех пор подвижную, как маятник, точную фигуру товарища Волосковой года три подряд можно было видеть на фабричных конференциях, на собраниях девушек-работниц и домашних хозяек. Она проводила доклады по вопросам общественной работы и гигиены, помогала организовывать ясли и детские комнаты при домах-коммунах».

По Глебу Алексееву выходит, что люди и углубляются в общественную работу только тогда, когда уже больше нет никакой иной цели в жизни человека, что общественная работа — это самое последнее дело. На нее может человек пойти только после какой-нибудь трагедии в личной жизни. Общественная работа рассматривается, как какой-то отрыв от жизни вообще.

В рассказах Глеба Алексеева выражена идеология мещанствующей интеллигенции, которая, обладая своими традиционными пороками, старается приписать их другим людям, строящим социализм.

В. Борахвостов

Новинки иностранной революционной литературы. Ахмед Ходададэ. Крестьянская доля. Повесть о персидской деревне. Перевод с персидского В. Гардова. Государственное издательство художественной литературы. Москва—Ленинград. 1931 г. Стр. 232. Цена 1 р. 80 к.

Можно вполне приветствовать включение в серию «Новинки иностранной революционной литературы» перевода беллетристического произведения восточного автора. Художественной литературе Востока (особенно литературе Ближнего Востока) у нас определенно не везет, до сих пор весьма любопытное и примечательное творчество современных персидских, турецких и арабских писателей остается вне поля зрения советского читателя. А, между тем, тут есть с чем ознакомиться. Повесть персидского писателя Ходададэ «Крестьянская доля» может служить лучшим доказательством.

Ахмед Ходададэ в своей вещи задался целью изобразить подлинную жизнь персидского крестьянина. Автор прекрасно знает конкретный материал и его широкое привлечение, облеченное в художественную форму, носит характер документации. Горемычная доля персидского крестьянина, бесправного, забитого, нещадно эксплоатируемого помещиками, всякого рода чиновничеством, алчным духовенством и т. д. красноречиво изображена в книге Ходададэ. Повесть охватывает период приблизительно в сорок лет; и за все это время, несмотря на всякие трансформации Персии, ее «европеизацию» и даже введение конституционного строя, экономическое и политическое положение крестьянства остается чрезвычайно тяжелым. Книга Ходададэ чуть не на каждой странице повествует о тех возмутительных измывательствах, которые на всяком своем шагу терпит персидский трудящийся, о тех лишениях, которые ему приходится переносить. Герой повести Бахтиар с детских лет видит только нужду и горе; это его постоянные спутники на всем его жизненном пути. Дикие сцены расправ, учиняемых помещиками, канами, губернаторами и их присными, сменяются картинами полунищенского деревенского прозябания в условиях полнейшего невежества и необеспеченности. Жалкий бедняк, беспощадно обираемый присосавшимися к нему паразитами всякого чина и звания, совершенно беспомощен и в борьбе с стихийными бедствиями, различными эпидемиями и т. п. Жутью веет, например, от описания «коровьей смерти», поразившей и быков, принадлежащих семье Бахтиара: «Оба наши быка заболели и свалились на землю в своем стойле. Я помню, как стонали, охали и плакали отец с матерью. Мы с сестрой, понятно, плакали еще громче. Мать взяла руки сестренки, обвила их вокруг шеи быка и сама обняла его. Отец прижимался к его морде и говорил: «Не умирай! Живи! Пусть лучше я умру. Ведь в тебе хлеб моей семьи, ты вся наша надежда и жизнь» (стр. 28). Герою романа приходится претерпевать всевозможные трудности, переходить с места на место в поисках более сносных условий существования и на каждом новом месте подвергаться новым видам и формам вымогательства. Он бежит от земли в город, становится мелким торговцем, но и тут не легче. Едва трудолюбивый Бахтиар становится на ноги, как всяческие повинности и поборы в пух его разоряют. Не отстают от помещиков и чиновничьей своры представители духовенства: муллы, дервиши и т. д.

Чрезвычайно красочно описано у Ходададэ путешествие к «святым местам». С тонкой иронией повествует автор о всех разновидностях религиозного обмана и способах вытягивания денег, которые успешно практикуются благочестивыми охранителями «святых мест». Одураченные паломники возвращаются во-свояси, чуть ли не дочиста ограбленными.

Ходададэ ведет свой рассказ, недостаточно выявляя исторический фон. Лишь бегло и вскользь говорится об освободительном движении в Персии, о выступлении контрреволю-

ционных сил, наконец о мировой войне, когда персидскому крестьянину приходилось туго от оперировавших на его территории иностранных захватчиков, будь ли то русские или турки. Герой романа, непосредственно наблюдая смену событий, не видит ничего положительного. Конституция, парламент, громко декларированные «свободы», о которых так много говорилось, никак не облегчили положения крестьянина. Вот как расценивается это устами нашего героя: «Сказать между нами, это были только слова: на деле же не было ничего похожего на свободу. Актеры только переменили костюмы, но продолжали играть ту же самую комедию... Только теперь они назывались «либералами», слугами народа и друзьями Персии. Стремясь пробраться в депутаты или добиться министерского поста, они шумели, разводили демагогию и создавали партии, наперерыв обманывая простой народ. Несчастных, безграмотных жителей деревень и городов сгоняли на выборы, как баранов, и они брали листки и подавали голоса за людей, которых не знали, не видали и о которых даже никогда не слыхали» (стр. 158).

Блестяще охарактеризован и персидский парламент (меджлис): «И что же я увидел? Меджлис битком был набит теми же людьми, такими же сеидами, ахундами и муллами, такими же богачами, такими же прихвостнями старого режима. Там сидели те же люди, что вот уже тысячи лет, как пиявки, сосут кровь персидского народа и жиреют, богатеют, упиваясь этой кровью. Ученые, которые держат народ в скотстве, невежестве и варварстве, законодатели, ни в грош не ставящие закон, хранители персидской народности, мешающие персам покончить с собачьей арабщиной, народные заступники, от которых стонет вся страна, строители Персии, которые только и делают, что ее разрушают, борцы за справедливость, живущие насилием, красноречивые ораторы, в действительности красноречивые льстецы, распинающиеся перед иностранцами во имя личных выгод». (Стр. 185).

Мрачно и безнадежно звучит концовка мыкающего повесть стихотворения:

«Сожги, разгроми, истреби беспримерно
Всех хищных чудовищ, вождей лицемерных.
Но полно, мечтатель безумный, Ахмед.
Крестьянам Ирана спасения нет».

Тут автор все же не договаривает до логического конца и не учитывает современной социально-политической кон'юнктуры Персии. Он ни слова не говорит о все прогрессирующем росте персидских рабочих, что нужно признать чрезвычайно важным фактором. Из неверия автора во всякого рода «либералов» и их «конституцию» должен следовать естественный вывод, что освобождение трудящихся в Персии является делом самих трудящихся.

В чисто художественном отношении повесть Ходададэ выгодно отличается от ряда других персидских беллетристических произведений, находящихся под сильным влиянием французской литературы (и притом литературы не всегда первосортной). «Крестьянская доля», выдержанная в точах художественного реализма, лишена всякой надуманности и мелодраматизма. Нельзя лишь не отметить, что изобилие побочных подробностей в некоторых случаях замедляет темп повествования и излишне дробит внимание.

И. Бороздин

М. и Э. Гальдеман-Джулиус. — Насилие. Роман. Авториз. перевод с английского Охрименко. ГИХЛ. 1931 г. Стр. 338. Ц. 2 р. 75 к.

Убийца-негр и убийца белый пастор в условиях буржуазной действительности — вот коллизия, которая для писателя с заостренным социальным зрением должна служить мощным разоблачительным критерием, ареной для широких обобщений.

Диапазон Гальдемана-Джулиуса, американского писателя, которого русский читатель знает по роману «Пыль», оказался значительно уже. Идеологические силы писателя недостаточны для полного и многогранного раскрытия капиталистической системы, правильной и четкой расстановки классовых сил. Но автор обнаружил могущественный фетиш, управляющий сложным механизмом капиталистической системы — насилие.

«Вера в насилие, которая спасла его (пастора—Т. Н.) от наказания, безжалостно толкала этого юношу (негра—Т. Н.) на казнь».

Шаг за шагом обнажает писатель ужасающую лживость буржуазного правосудия, которое при помощи своих «испытанных» средств, оправдывает представителя церкви и сажает на электрический стул негра. Гальдеман-Джулиус направляет острие своего критического оружия против церкви и религии, этой цитадели, которую начали штурмовать даже буржуазные писатели. Синклер Льюис дал «Эльмера Гантри», пастора афериста, мошенника и совратителя. Те качества, которыми наделяет своего пастора Гальдеман-Джулиус, разрушают до основания гипноз религиозных верований. Пастор Филемон Джордан — «монументальный обманщик», лицемер, расчетливый актер, втихомолку обделывающий свои любовные делишки, пользующийся кафедрой проповедника для сведения личных счетов, противник негров, способный на убийство безоружного человека, ставшего на его пути.

Писатель подвергает жесткой критике этические нормы рокворского общества (штат Техларкана Южная Америка). Срывает маску внешней благопристойности, обнажая предрассудки, рутину, зверскую тупость средневековья (линчевание негра), подлинный обскурантизм, характеризующие социальное поведение рокворских граждан. В атмосфере этого «общества» задыхается всякая свежая мысль.

Довольно жалкую роль автор заставил играть «авангард» буржуазной интеллигенции. Свободные «прогрессисты», ведущие человечество «по пути цивилизации и прогресса», — бессильно и трусливо отступают перед первым серьезным испытанием (защита негра).

Социальная критика Гальдемана-Джулиуса наметила верную цель. Разоблачительные тенденции писателя помогают нам вскрыть прогнившую сердцевину буржуазной «цивилизации».

Но что противопоставляет автор разрушаемому буржуазному Карфагену? Где источник зарождения новых форм социального бытия, долженствующих притти на смену прогнившему буржуазному укладу?

Исчерпав до конца свою силу отрицания и разоблачения, этого козыря большинства буржуазных писателей, автор начинает претерпевать ряд серьезных поражений. Пытаясь утвердить свои взгляды и идеи, наметить пути разрешения волнующих его проблем (не только расовых, но и проблем семьи, пола, воспитания) сквозь призму мироощущения жены пастора Мэри, свидетельствует о неправильной социальной ориентировке. Мэри — единственный положительный типаж в романе. Мэри — это компас авторских настроений и умозаключений. Мэри — это антитезис, противопоставляемый обществу, погрязшему в пороках и рутине.

Но идеалы Мэри попахивают откровенным мелкобуржуазным гуманистическим душком, причем сам Гальдеман-Джулиус оперирует весьма туманными «общечеловеческими» понятиями, давно уже утратившими для нас свой реальный смысл. «Духовная честность», милосердие, стремление к «истине» и свободной мысли, справедливость и т. п. — вот этот аксессуар гуманистической мелкобуржуазной философии, который во всяком случае не может служить ни созидающим началом, ни прогрессивной силой.

Приходится признать, что идеи Гальдемана-Джулиуса не идут дальше просветительных идей французского материализма XVIII века, нашедших свое общественное видоизменение в соответствующих среде и условиях XX века. Но если эти идеи могут играть революционную роль с точки зрения буржуазного социолога, то для нас реакционное значение их очевидно.

Осталась неразрешенной и расовая проблема. Ярко обнажая расовый антагонизм, писатель был бессилен придать ему характер глубокого социального конфликта с правильным распределением классовых взаимоотношений. Клеймя ненависть и презрение к неграм, автор не идет дальше барского сочувствия к этим своеобразным «нацменьшинствам». Негры не подняты на высоту общественной группы, сознающей свое место в обществе, необходимость отстаивать свои права. Не выдерживают никакой критики попытки автора квалифицировать север Соединенных Штатов, как положительный фактор в постановке вопроса о расовой проблеме. Последняя гораздо шире и серьезнее, чем это представляется писателю.

В конце концов, разоблачения Гальдемана-Джулиуса не выходят за пределы буржуазной самокритики. Насилие не трактуется, как органическое выражение капиталистической системы, а как одно из ее отрицательных проявлений.

Т. Николаева

Ваан Тотовенц. — Жизнь на древне-римской дороге. ГИХЛ. 1931. Стр. 110. Ц. 90 к.

Рассматриваемая нами книга принадлежит молодому армянскому прозаику Ваану Тотовенцу. Во всех его произведениях довольно выпукло намечаются две линии, две совершенно различных части, из которых сложилась национальная культура Армении.

Одна из этих частей ведет начало от западно-армянской, возникшей и получившей свое развитие за пределами теперешней Армении, в так называемой Турецкой Армении. А вторая часть национальной культуры, восточно-армянская, идет непосредственно от Армении, находившейся под железным сапогом царской России.

Обе эти культуры сочетаются в произведениях Ваана Тотовенца своими литературными наречиями, выросшими и получившими развитие в специфических социально-бытовых условиях народности, угнетаемой с одной стороны режимом царской России, с другой — не менее жестокой политикой турецкого султана.

В рассматриваемой книге помещены две вещи. По имени первой названа книга, а другая носит название — «Нью-Йорк». Эти вещи диаметрально противоположны по своему характеру, но об'единены одной сущностью: они описывают жизнь армян здесь, на родине, и в Америке, где им приходится заниматься торговлей старинными вещами, человеческой совестью и своим телом.

«Жизнь на древне-римской дороге» описывает жизнь армян в их родной обстановке дореволюционной Армении. Особенностью этой вещи Ваана Тотовенца является не решение каких-либо социальных проблем, поставленных перед его народом, не зарисовка острых общественно-значимых моментов армянской жизни, а чрезмерное увлечение колоритностью и живописностью жизненного уклада. Это увлечение подчас настолько сильно, что вещь местами принимает «локальную» окраску. В отношении своих персонажей, действующих в «Жизни на древне-римской дороге», он посторонний, нейтральный наблюдатель, не старающийся вмешиваться в жизнь спокойных, мирных и несколько юмористичных обитателей армянского селения.

Ваан Тотовенц как хороший натуралист дает зарисовки быта и нравов уже уходящих в прошлое под влиянием нового, свежего, принесенного самоопределением нации и советской властью. Автор разворачивает перед читателями большое полотно армянской жизни в условиях царского режима, тщательно поощрявшего все уродливые явления жизни, порожденные дикими нравами и обычаями; неуклонное подчинение всей семьи отцу, стоявшему во главе ее, как древний начальник патриархального строя, право мужа иметь на стороне любовницу и полное бесправие закрепощенной женщины. Во второй вещи — «Нью-Йорк» — показаны армяне, стоящие на другом полюсе условий жизни. Но и их Ваан Тотовенц видит не как писатель, обладающий резко выраженной пролетарской устремленностью в своем творчестве, а как интеллигент, бродяжничающий по «демократическому раю» Америки. Армяне, об'единившиеся в мощные пролетарские организации, почти совсем отсутствуют в вещи. В ней только показаны тяжелые условия труда в такой «стране техники», как Америка. «Жизнь на

древне-римской дороге», как ее рисует автор, так и осталась такой же седой, заплесневшей и древней, как и находилась во времена римского права — нет никаких сдвигов в сторону новой культуры, неуклонно развивающейся благодаря советской власти, давшей возможность всем национальностям развивать свой язык, литературу и хозяйство. Ничего этого в книге не показано. Автору пора глубоко задуматься над своими творческими путями, ведущими не вперед, по дороге пролетарской литературы к показу новых форм социалистического труда и оздоровленного быта, а назад по древне-римской дороге.

В. Борахвостов

Новые книги, поступившие в редакцию для отзыва

ГИХЛ

Авербах Л. За гегемонию пролетарской литературы, стр. 109, ц. 40 к.

Лукницкий Павел. Переход. Стихотворения 1928—1930, стр. 62, ц. 90 к., пер. 20 к.

Леонов Л. Соть. Роман, стр. 351, ц. 60 к., пер. 20 к.

Альманах «Земля и Фабрика» № 12, стр. 298, ц. 2 р. 50 к.

Очерки по истории русской критики. Редакция Луначарского А. и Полянского Вал. Том второй, стр. 309, ц. 3 р., пер. 35 к.

Левин Б. Жили два товарища. Стр. 175, ц. 1 р. 50 к., пер. 35 к.

Альманах литгруппы ЛАПП № 1. Северо-Запад, стр. 375, ц. 3 р., пер. 25 к.

Гальдеман-Джулиус М. и Э. Насилие. Роман, авторизованный перевод с английского Охрименко П., стр. 338, ц. 2 р. 75 к.

Наумов И. К. Политотдельщик. Стр. 312, ц. 2 р. 60 к.

Кирова Е. И. 40 лет в театре. Повесть рядовой актрисы, памятник театрального быта. Стр. 84, ц. 90 к.

Богданов Н. Вызов. Стр. 214, ц. 1 р. 80 к., пер. 35 к.

Гюго Виктор. Последний день смертника. Казнь Клода Ге, редакция и предисловие Виноградова А. К. Стр. 148, ц. 30 к.

Луначарский А. Виктор Гюго. Творческий путь писателя. Стр. 63, ц. 35 к.

Гидаш Анатоль. Венгрия ликует. Стр. 88, ц. 35 к.

Голубев И. М. От стачек к восстанию, восстание рабочего большевика (1896—1907). Стр. 169, ц. 1 р. 40 к.

Рабочий призыв. 2-й сборник произведений рабочих-ударников. Стр. 157, ц. 1 р. 15 к., пер. 40 к.

Тофан С. Дикий колхоз. Стр. 151, ц. 1 р. 30 к.

Чацкий Павел. Лешегоны. Роман. стр. 258, ц. 1 р. 85 к.

Иллеш Бела. Избранные рассказы. Стр. 151, ц. 1 р. 30 к.

Юбермон Пьер. В забое № 6. Стр. 111, ц. 1 р.

Никифоров Г. Седые дни (1905 г.). Стр. 159, ц. 30 к.

«ФЕДЕРАЦИЯ»

Анов Николай. Награда. Рассказы. Стр. 256, ц. 2 р. 10 к., переп. 40 к.

Федорович Вит. Конец пустыни. Очерки. Стр. 214, ц. 75 к., пер. 35 к.

Коптелов А. Форпосты социализма. Очерки. Стр. 176, ц. 90 к.

Сверчков Дм. Бывший. Роман. Стр. 218, ц. 1 р. 60 к., пер. 35 к.

Буданцев Сергей. Повесть о страданиях ума. Повести. Стр. 236, ц. 1 р. 75 к.

Вячеславов Павел. Уровень. Первая книга стихов. Стр. 90, ц. 1 р.

Романович А. Мост. Пьеса в 4-х действ. и 9 картинах. Стр. 65, ц. 70 к.

Дальний. Ручьи. Роман. Стр. 165, ц. 1 р. 10 к.

Утевский Л. С. Жизнь Гончарова. Стр. 267, ц. 2 р. 60 к., пер. 30 к.

Лапин Борис. Набег на Гарм. Хроника. Стр. 104, ц. 75 к.

Серафимович А. Город в степи. Редакция, предисловие и комментарии Нерадова П. Стр. 309, ц. 2 р. 40 к., пер. 45 к.

Зорич А. Советская Канада. Очерки. Стр. 285, ц. 1 р. 60 к., пер. 35 к.

Цыкунов В. и Чертова Н. Огненная земля. Стр. 235, ц. 1 р. 70 к., пер. 45 к.

Тайгин И. Японские силуэты. Стр. 197, ц. 1 р. 25 к.

Залка Матэ. Первый-второй-третий. Стр. 254, ц. 1 р. 60 к.

Доронин Иван. Тракторный пахарь. Поэма. Стр. 126, ц. 1 р. 75 к.

Гумилевский Л. Головорезы. Роман. Стр. 308, ц. 1 р. 70 к., пер. 35 к.

Фишелев М. От Харьковской голубятни до Ангарской ссылки. Стр. 249, ц. 1 р. 16 к., пер. 35 к.

Батрак Ив. Фабричная труба. Басни. Стр. 133, ц. 1 р. 70 к.

Берестенский М. и Фибих Д. Звонкий ключ. Драма в 5 действиях и 8 картинах. Стр. 96, ц. 70 к.

Мугуев Хаджи-Мурат. Ингушетия. Очерки. Стр. 141, ц. 85 к.

Эренбург Илья. Англия. Очерки. Стр. 61, ц. 50 к.

Чачиков А. Далекие сестры. Рассказы. Стр. 115, ц. 75 к.

Лукьянов М. Ситцевый край. Очерки Ивановской промышл. области. Стр. 246, ц. 1 р. 25 к.

Бухов А. Черное кольцо. Роман-хроника. Стр. 223, ц. 1 р. 90 к.

Коптелов А. Форпосты социализма. Очерки. Стр. 174, ц. 90 к.

Губер Б. Неспящие. Повесть о Борисовском зерносовхозе. Стр. 295, ц. 1 р. 70 к., пер. 45 к.

Батрак Ив. К вопросу о платформе ВОКП. Стр. 29, ц. 30 к.

Виленский-Сибиряков Вл. Царство Колчака. Сибирская быль. Стр. 268, ц. 2 р. 80 к., пер. 40 к.

ГНТИ

Лио-Уральский Г. Н. — Курс паровых турбин, стр. 428, ц. 3 р. 50 к.,

Хедер Герман. — Конструирование и расчеты, т. I, стр. 624, ц. 4 р.

Аранович И. С. — редакция. Аппаратура распределительных устройств высокого напряжения, стр. 163, ц. 1 р. 45 к., пер. 30 к.

Инж. Степель Г. и инж. Павлов Н. — Математика на автотранспорте, стр. 408, ц. 2 р. 20 к.

Падуров Н. Н. — Кристаллохимический анализ и методы геометрической кристаллографии, стр. 272, ц. 4 р. 65 к.

Тимошенко С. П. — Теория колебания в инженерном деле, стр. 343, ц. 3 р. 10 к., пер. 60 к.

Данилов С., Залкинд Ю. С., Тайпале К. А. — редакция, сборник рефератов по химии, выпуск первый, органическая химия за 1-й квартал 1930 г., стр. 312, ц. 3 р.

Сборник статей по методологии, истории и методике математических наук. — На борьбу за математическую диалектику в математике, стр. 342 ц. 3 р.

Зимин В. В. и Рождественский А. Л. — Лесной комбинат Черноморья, стр. 62., ц. 50 к.

Инж. Комар Е. Г. Турбинные генераторы, конструкция и производство, стр. 89, ц. 85 к.

Мишин В. П. и Потрянов И. В. — Активный уголь, стр. 35, ц. 25 к.

Бронштейн Я. И. — Что нужно знать шлифовальщику, стр. 36, ц. 40 к.

Глазунова О. А. — Английская техн. хрестоматия, машиноведение, стр. 155, ц. 2 р. 50 к.

Наше строительство — редакция, Сборные ревянные дома, стр. 212, ц. 3 р.

СОЦЭКГИЗ

Кугель В. Р. Очерки издательского и полиграфического дела, газета и типография, предисловие Вольфсона М. В., стр. 284, ц. 2 р. 75 к., пер. 30 к.

Эрве Густав. — Соглашение или война? Германия и Франция, послесловие Эйневьева Р., стр. 142, ц. 1 р. 50 к.

Смит Адам — Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 550, ц. 5 р. 25 к.

Шамурин Е. И. — составил. Ежегодник центральной книжной палаты РСФСР с приложением статьи Куфаева М. Н., Книговедение в 1929 г., стр. 795, ц. 15 к.

Светлов В. — Происхождение капиталистической Японии, стр. 125, ц. 1 р. 30 к., стр. 125.

Шнейдер Иосиф — Борьба Мансфельда, перевод с немецкого Разумовой Р., стр. 110, ц. 1 р.

Пальмбах А., Бескровный А., Холодович А., Доброгаев С. М., Державин Н. С. — Языковедение и материализм, стр. 192, ц. 2 р. 20 к.

Лафарг Поль. Памфлеты, стр. 147, ц. 1 р.

СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Лаговиер Н. — Районная прокуратура (практическое пособие), редакция пом. прокурора республики Рогинского Г., стр. 217, ц. 2 р.

Славин И. — Вредительство на фронте советского уголовного права, стр. 112, ц. 2 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Лундберг Евгений — Кремень и кость, повесть, стр. 200, ц. 1 р. 40 к.

Бархашев Борис — В подполье, стр. 96, ц. 60 к.

Дружинин В. — Университет у станка, стр. 76, ц. 30 к.

Апаркина А., Ислантьева Н., Тетерина М. — редакция. В боях за хлопок, стр. 46, ц. 20 к.

Афанасьева А. и Туберовский М. — Самая скорая газета, фотомонтаж Каплана И., стр. 164, ц. 75 к.

Петров В. — История одного лагеря, стр. 107, ц. 1 р. 20 к., пер. 20 к.

Бывалов Е. — (Зюд-Вест). Добытчики моря, стр. 110, ц. 40 к.

Ессяк П. — В боях за Урало-Кузбасс, доклад на втором пленуме ЦК ВЛКСМ, стр. 62, ц. 22 к.

Кулябко Ю. — составил. В наступление на методическом фронте, стр. 96, ц. 40 к.

Бершадский Руд. — Дорога берется боя, стр. 143, ц. 1 р. 20 к., пер. 30 к.

Савин С. Испания, стр. 92, ц. 40 к.

Носков П. А. — Практика водного туризма, стр. 138, ц. 45 к.

Смоленский М. Водолазы, стр. 62, ц. 40 к.

Дрожжин О. (Н. Кондратенко). Разумные машины, стр. 127, ц. 95 к.

Бражин Илья Их пятеро, повесть, стр. 79, ц. 1 р.

Выгодская Э. — Алжирский пленник, рисунки Бруни Л., стр. 143, ц. 85 к.

Заяицкий С. Псы господни, повесть о Джордано Бруно, стр. 200, ц. 2 р.

Леонов Н. — Север зовет молодых, рисунки Гибиля В., стр. 142, ц. 95 к.

Смирнов Н. Г. — Приключения Пинчика Котмана, повесть, в 2-х частях, стр. 94, ц. 75 к.

Пшеничный Федор Записки рабкора Ижевского завода, рапорт потомкам, стр. 109, ц. 65 к.

Дрожжин . (Н. Кондратенко). Век авто, стр. 70, ц. 70 к.

Абрамова-Калицкая. — Миллион глаз, рисунки и обложка Кобелева В., стр. 165, ц. 95 к. пер. 25 к.

Югов Алексей. Аяхта (Записки раз'ездного врача), стр. 88, ц. 55 к.

Д' Эрвильи Приключения доисторического мальчика, перевод с французского Мезиер А., научная редакция приват-доцента Дмитриева П. А., стр. 102, ц. 70 к.

Библиографический указатель „Красной нови“ за 1931 г.

(Цифры озн т номера журнала).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

СТИХИ

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, МЕМУАРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

ЗА РУБЕЖОМ

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Издатель: Государственное издательство художественной литературы

Адрес редакции: Москва, Центр, Старопанский пер., д. 7. Тел. 5-63-12.

Цена 1 р. 10 к.